

НАЦИОНАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМАГОЛОГИЯ И КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

Научно-практический журнал

2017

№ 8

**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА»**

В.С. Киселев (Томск) – отв. редактор

О.Б. Лебедева (Томск) – зам. отв.

редактора

Н.В. Хомук (Томск) – отв.

секретарь

А.А. Казаков (Томск)

Н.Е. Никонова (Томск)

Е.Н. Пенская (Москва)

В.В. Абашев (Пермь)

К.В. Анисимов (Красноярск)

Л.А. Ходанен (Кемерово)

Р.Ю. Данилевский (Санкт-Петербург)

И.Ю. Виницкий (Калифорния, США)

В.Г. Щукин (Краков, Польша)

Сузи Франк (Берлин, Германия)

Рита Джулиани (Рим, Италия)

Антонелла д'Амелиа (Салерно,
Италия)

Тимур Гузаиров (Тарту, Эстония)

**EDITORIAL BOARD OF
THE JOURNAL
“IMAGOLGY AND
COMPARATIVE STUDIES”**

Vitaliy S. Kiselev (Tomsk) – Chairper-
son

Olga B. Lebedeva (Tomsk) – Deputy
Chairperson

Nikolay V. Khomuk (Tomsk) –
Executivt Editor

Alexey A. Kazakov (Tomsk)

Natalia Ye. Nikonova (Tomsk)

Elena N. Penskaya (Moscow)

Vladimir V. Abashev (Perm)

Kirill V. Anisimov (Krasnoyarsk)

Lyudmila A. Hodanen (Kemerovo)

Rostislav Yu. Danilevsky (St. Peters-
burg)

Иya Yu. Vinitsky (California, USA)

Vasily G. Shchukin (Cracow, Poland)

Susi K. Frank (Berlin, Germany)

Rita Giuliani (Rome, Italy)

Antonella d'Amelia (Salerno, Italy)

Timur Guzairov (Tartu, Estonia)

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПАРАТИВИСТИКА

Филиппо М. ди. К истории отношений между Неаполитанским королевством и Российской империей	5
Клюшеникова Т.А. Концепт «дом» в рассказах Эрнеста Хемингуэя и Юрия Казакова: к постановке проблемы	24

ИМАГОЛОГИЯ

Киселев В.С. Томск в русской литературе: проблемы и перспективы изучения	36
Гузайров Т. Сценарий и непредсказуемость. Впечатления и размышления участников путешествия по России 1837 г.	62
Поплавская И.А. Сибирь в рецепции лицеистов пушкинского выпуска	84
Козлов А.Е. «Десять дней на Босфоре»: травелог «Русского вестника» как социальный и идеологический проект	107
Жилякова Э.М. Кавказский сюжет Л.Н. Толстого	124
Сарбаш Л.Н. Инонациональное в русской литературе и публицистике XIX в.: рецепция полиэтноконфессионального Поволжья в творчестве русских писателей	142
Франк С. Соловецкий текст. Часть 2	158
Чхайдзе Е.К. Советские осколки: национальный дискурс и его роль в постсоветской «деколонизации»	190

РЕЦЕНЗИИ

Васильева Т.А. В поисках национальных констант (рецензия на книгу: Комаров С.А., Лагунова О.К. Литература Сибири: миссия, этничность, аксиология. Тюмень, 2016. 200 с.)	214
--	-----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Алексеев П.В. Русско-французский коллоквиум «Сибирь как поле межкультурных взаимодействий: литература, антропология, историография, этнология» («La Sibérie comme champ de transferts culturels: Littérature, anthropologie, historiographie, ethnologie»)	221
Сведения об авторах	229

CONTENTS

COMPARATIVE STUDIES

Filippo M. di. On the history of relations between the Kingdom of Naples and the Russian Empire.....	5
Kliushenkova T.A. The concept of home in the stories by Ernest Hemingway and Yuri Kazakov: Problem formulation	24

IMAGIOLOGY

Kiselev V.S. Tomsk in Russian literature: problems and prospects of research	36
Guzairov T. Scenario and unpredictability. Impressions and reflections of the participants of the journey around Russia in 1837.....	62
Poplavskaya I.A. Siberia as perceived by Tsarskoye Selo Lyceum graduates of the Pushkin's era	84
Kozlov A.E. “Ten Days on Bosphorus”: Travelogues of <i>Russkiy vestnik</i> as a social and ideological project	107
Zhilyakova E.M. The Caucasian plot of Leo Tolstoy	124
Sarbash L.N. The foreign in Russian literature and journalism of the 19th century: perception of the polyethnoconfessional Volga region in the works of Russian writers.....	142
Frank S. The Solovki text. Part 2	158
Chkhaidze E.K. Soviet splinters: national discourse and its role in post-soviet “decolonization”	190

REVIEWS

Vasilyeva T.A. In search of national constants (Book Review: Komarov, S.A. & Lagunova, O.K. (2016) <i>Literatura Sibiri: missiya, etnichnost', aksiologiya</i> [Literature of Siberia: mission, ethnicity, axiology].).....	214
--	-----

ACADEMIC LIFE

Alekseev P.V. Russian-French colloquium “La Sibérie comme champ de transferts culturels: Littérature, anthropologie, historiographie, ethnologie” [Siberia as a field of intercultural interactions: literature, anthropology, historiography, ethnology]	221
Information about the authors	229

КОМПАРАТИВИСТИКА

УДК 930.85+82.091

DOI: 10.17223/24099554/8/1

Марина ди Филиппо

К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НЕАПОЛИТАНСКИМ КОРОЛЕВСТВОМ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ¹

Статья посвящается документированному восстановлению истории политических, дипломатических и культурных отношений между Неаполитанским королевством и Российской империей с 1777 г., официальной даты установления дипломатических связей, до 1822 г., года смерти герцога Серракаприола, виднейшего представителя Бурбонской семьи при российском дворе в периоды правления Екатерины II, Павла I и Александра I. В исследовании использованы рукописные документы, хранящиеся в Государственном архиве г. Неаполя, в фондах Министерства иностранных дел и семьи Мареска ди Серракаприола. В сведениях и данных об исторических отношениях между двумя государствами рассматриваются жизнь и деятельность первых двух полномочных послов: Муцио да Газта, герцога Сан-Никола, и Антонино Мареска, герцога Серракаприола.

Ключевые слова: XVIII век, Государственный архив г. Неаполя, дипломатическая переписка, герцог Сан-Никола, герцог Серракаприола, Екатерина II.

Официальное начало дипломатических отношений между Неаполитанским королевством и Россией относится к 1777 г., времени царствования Фердинандо IV и Екатерины II. До этого периода в ар-

¹ Данная статья является пересмотренной, дополненной и переведенной версией публикации, появившейся в 2005 г. в журнале «Русско-итальянский архив» [1. С. 243–295]. За последние годы в этой области исследования – поиске свидетельств, доказывающих связь между Италией и Россией, – очень много было сделано, особенно в области русской культурной эмиграции в Италии. Но исследователям еще предстоит очертить «обратную» историю итальянцев в России, более или менее известных, на основе архивных источников. Цель настоящей статьи – заново представить положение дел о неаполитанско-русских отношениях в XVIII в., предлагая ее большому кругу русских ученых. Мой вклад в данное исследование заключается в восстановлении документированной истории первых двух неаполитанских министров в России и в составлении каталога документов, имеющих отношение к России и хранящихся в Государственном архиве г. Неаполя.

хивах Неаполя существует очень мало документов, имеющих отношение к России. Все они приурочены приблизительно к началу XVIII в. Эти источники оповещают не о четко определенных взаимоотношениях, а о спорадических контактах между двумя королевскими дворами¹.

После своего образования в 1734 г. Неаполитанское королевство не сразу разработало независимую внешнюю политику: несколько десятилетий оно оставалось в состоянии вассальной зависимости от Карла III, короля Испании и отца Фердинандо IV. В европейском контексте защита неаполитанских интересов была возложена на дипломатических представителей династии Бурбонов при главных иностранных дворах, среди которых числился и петербургский двор, где Неаполитанское королевство, не имея своих послов, пользовалось услугами мадридской дипломатии. В фонде Министерства иностранных дел (*Fondo Affari Esteri*) Государственного архива г. Неаполя (далее в тексте НГА, МИД) хранятся многочисленные письма испанских представителей при дворе Екатерины II, виконта ла Эррерия (*vizconde de la Herrería*, письма от 1763–1767; 1769–1771 гг.), Хосе дель Рио (*Joseph/José Del Rio*, письма от 1768–1769 гг.), Мануеля Делитала, маркиза де Манка (*Manuel Delitala Marqués de Manca* 1771–1772 гг.) и Франсиско Антонио, графа де Лейси (*Francisco Antonio Conde de Lacy*, 1772–1780 гг.)², которые свидетельствуют об их дипломатической деятельности в качестве представителей Королевства обеих Сицилий. Это в основном короткие информативные депеши, которые были высланы ими маркизу Тануччи, начальнику секретариата Министерства иностранных дел.

Изначально отношения между двумя государствами складывались не очень успешно.

¹ См., в частности, папку № 4513 в фонде Министерства иностранных дел Государственного архива г. Неаполя, содержащую проект письма-извещения о восхождении на престол короля Карла Бурбона 5 апреля 1738 г., а также ответ императрицы Анны Ивановны от 3 июня 1738 г. с *répresentation* барона Кайзерлинга, полномочного русского министра в Дрездене, т.е. формуляра, используемого неаполитанским королем в письменном обращении к императрице.

² НГА, МИД, папка № 1668. Речь идёт о виконте А. де ла Эррерия, посланнике Испании в Петербурге с 1763 по 1771 г., о Хосе дель Рио, временном поверенном в делах Испании в России с августа 1768 г. по октябрь 1770 г. на время отъезда в Испанию виконта де ла Эррерия, о Мануэле Делитала, временном поверенном в делах Испании в России с августа 1772 до 1776 г., о графе де Лейси, полномочном министре в России.

Оживленный обмен письмами состоялся сразу же после вступления в брак Марии Каролины Австрийской с Фердинандо IV: из Неаполя императрице Екатерине II было направлено официальное свадебное приглашение, но латинский текст слишком сэкономил на эпитете «Императорское» по отношению к монархине, и она приостановила ответ в ожидании корректировки в обращении, где должно было прозвучать «Ваше Императорское Величество». Исправленное приглашение прибыло с опозданием из-за невнимательности тогдашнего испанского министра Хосе дел Рио, и по этому случаю Никита Панин не преминул отметить, что «la Corte de Russia non tenia Persona alguna incarcada de sus negocios en la de Napoles», и что «el modo de pensar de S. M. Siciliana se hallaria sempre conforme al de la Corte de España <...>»¹, с ясным намеком на позицию вассалитета Королевства по отношению к королю Карлу. Произошедшее, к лучшему или худшему, вызвало интерес у обеих сторон и закончилось отправкой Фердинандо нового приглашения императрице в связи с рождением его дочери Катерины. Данное приглашение, насыщенное эпитетами, было прочитано испанским министром де Лейси во время частной императорской аудиенции².

Руководящие принципы новой внешней политики – независимой и соответствующей различным властным отношениям – были намечены Марией Каролиной Австрийской, сестрой императора Иосифа II и женой короля Фердинандо IV с 1768 г. Новая «де-факто» правительница Неаполитанского королевства с самого начала приняла участие в работе правительства³, отстранив от должности Бернардо Тануччи – верного эмиссара Карла III. Падение Тануччи (1776 г.) и растущее напряжение в отношениях между отцом и сыном, которое подпитывала Мария Каролина, изменили курс неаполитанской политики: от происпанской к новой «прогабсбургской» ориентации в сторону Англии и Австрии [3. Vol. 1. P. 195; 4. P. 45]. Именно в этом контексте должно быть истолковано сближение Неаполитанского королевства и России, а также заключение новых дипломатических соглашений.

¹ НГА, МИД, папка № 1668: письмо Джозефа дель Рио маркизу Тануччи, Санкт-Петербург, 12 июня / 01 июля 1768 г.

² НГА, МИД, папка № 1668: письмо де Ласи маркизу Тануччи, Санкт-Петербург, 30 июля / 19 августа 1773 г.

³ Мария Каролина вошла в Государственный совет «не по закону или обычаю монархии, а в соответствии с главами брачного соглашения» («non per legge o usanza della monarchia, ma per patto fermato ne' capitoli del matrimonio») [2. T. 1. C. 198].

Что касается Екатерины II, то, как известно, в 60-х и 70-х гг. она поощряла внешнюю политику, основанную на коалиции государств, названной «Северная система» и представляющей своего рода союз с Пруссией и Англией, направленный на борьбу с империализмом Бурбонов во Франции и Испании. В то же время императрица положила начало политике расширения торговли, направленной на завоевание территорий и черноморских портов, борясь, таким образом, с турецкой монополией. На самом деле среди ее приоритетов была война против Турции, а политика объединения с Королевством обеих Сицилий была направлена на приобретение хорошего союзника и безопасной военно-морской базы для российского флота.

В 1777 г. в результате консолидации и официального открытия дипломатических отношений между дворами Неаполя и Санкт-Петербурга были назначены два полномочных министра: Муцио да Гаэта, герцог Сан-Никола – посол Неаполитанского королевства при царском дворе Санкт-Петербурга, и Андрей Кириллович Разумовский – посол России в Неаполе. В Государственном архиве г. Неаполя хранятся краткая дипломатическая переписка и некоторые документы, освещающие деятельность в России вышеназванного министра.

Муцио да Гаэта, герцог Сан-Никола (1779–1783)

Как явствует из собранных документов, герцог Сан-Никола, который жил в российской столице с 26 августа 1779 г. по 10 сентября 1783 г., справился со своей задачей с честью, заслужив при этом благосклонность Екатерины. 22 января 1784 г., после отъезда из петербургской столицы, герцогу Сан-Никола было присвоено звание «кавалер ордена Святого Александра Невского» за усердие в работе по сближению двух королевских дворов.

Уже во время своей первой аудиенции Муцио да Гаэта привлек к себе императорскую благосклонность, цитируя надлежащим образом на русском языке строки «самого известного русского поэта» в честь великого князя¹. Герцог Сан-Никола, будучи человеком высокой культуры и знатоком «всех европейских языков» (*dotto le*

¹ НГА, МИД, папка № 1670. Письмо герцога Сан-Никола к маркизу Самбука, Санкт-Петербург, 10.09.1779. Очевидно, речь идет о некоторых стихотворных строках М.В. Ломоносова.

lingue dell'Europa tutta)¹, начал учить русский язык еще до переезда в Петербург. В 1778 г., перед отъездом из Неаполя, вышел его «Сборник русских слов» [5], где, по выбору автора, дается перечень наиболее употребительных слов и словосочетаний в алфавитном порядке, иногда в фонетической транскрипции, и с переводом на французский язык. Николай Петрович Лихачев в 1897 г. оповещает о данном лексиконе [6]², считая, что это самостоятельное произведение, написанное на основе «Российской грамматики» Ломоносова и некоторых печатных книг. Он полагает, что герцогу Сан-Никола были неизвестны русско-французский Лексикон, опубликованный в Санкт-Петербурге в 1762 г., и другие словари, увидевшие свет до публикации сборника. Из-за незнания русского книжного рынка сам автор написал в заглавии своей книги, что она была предназначена «для собственного употребления, в ожидании Словаря того же языка» (*pour son propre usage, en attendant un Dictionnaire de la même langue*).

Екатерина в одном из своих писем барону Гримму упоминает о нем как о человеке высокой культуры и квалифицированном переводчике с редкой лингвистической способностью «qui parle russe comme un Russe». В том же источнике, т.е. в письме, адресованном барону Ф.М. Гримму от 8 декабря 1782 г., императрица упоминает тесные отношения между герцогом Сан-Никола и своим фаворитом Александром Ланским, который до того дорожил ученым неаполитанцем, что закрывал его в собственной библиотеке, чтобы при возвращении домой снова найти его:

Je serai très fâchée de voir partir le duc de St. Nicolas. Il est devenu l'ami intime du g-l Lanskoï; quand il sort, il l'enferme sous clef dans sa bibliothèque pour le retrouver quand il rentre; S.t Nicolas parle russe comme un Russe, et il a traduit du russe en italien la bibliothèque Alexandrine; je voudrais que la cour de Naples le laissât ici. Je ne crois pas qu'on puisse traduire du russe en français et que cela fût exact; la construction est trop différente [7. P. 262].

¹ Цитата из «Гимна к Солнцу» (Inno al sole), написанном аббатом Коратца в 1778 г. и посвященном отцу Аурелио де Жиорджи Бертола, который должен был сопровождать герцога Сан-Никола в Россию. Гимн содержит отчетливые ссылки на герцога Сан-Никола и его миссию.

² В начале статьи [6. С. 3] Лихачев пишет, что обладает этим лексиконом, поэтому мы предполагаем, что он его приобрел в одной из частых поездок в Италию, в том числе в Неаполь.

Удивительная способность к языку герцога Сан-Никола проявилась еще и в том, что он перевел на свой родной язык так называемую «Александрейскую библиотеку» (*la bibliothèque Alexandrine*), т.е. собрание разных сказок и нравоучительных сочинений, принадлежащих перу Екатерины II и специально написанных для воспитания ее внуков Александра и Константина Павловичей.

Помимо этого, герцог Сан-Никола блестяще перевел на итальянский язык и, вероятно, издал стихотворный перевод *Россияды* М.М. Хераскова, став при этом одним из первых переводчиков поэта. Вторым итальянским переводчиком был Антонио Мареска, герцог Серракаприола, речь о котором пойдет ниже. В письме Пикара от 15 апреля 1782 г., адресованном князю А.Б. Куракину, описывается его мастерство: «Знатоки, в одинаковой степени усвоившие себе оба языка, уверяют, что этот перевод отличается как изяществом, так и точностью» [8. С. 57]. В результате Екатерина II поручила купить для герцога Сан-Никола «лучшие русские книги» и подарить их ему.

Дипломатическая переписка герцога Сан-Никола, сохраненная в Государственном архиве г. Неаполя, к сожалению, не дает никакой информации, которая могла бы помочь восстановить полностью его литературную деятельность в Санкт-Петербурге. Помимо предоставления отчетов в соответствии с правилами написания дипломатических депеш, новости частного порядка были редкими и ограничивались подробными сообщениями о неприветливости российского климата и о собственном здоровье, которое из-за череды простуд и болей в суставах, ограничивало его в ведении дипломатических дел и в исполнении своих обязанностей. Он настолько был напуган суровым петербургским климатом, что, по его собственному признанию, всю зиму пролежал с герцогиней в постели, не вылезая из-под одеяла¹.

Тем не менее герцог Сан-Никола хорошо справился с возложенной на него миссией: отношения между двумя правительствами укрепились, и в результате Неаполитанское королевство присоединилось к «вооруженному нейтралитету», предложенному Екатериной II в области защиты морской торговли², что послужило началом для консультаций по договору о торговле.

¹ НГА, МИД, папка № 1670.

² «Декларация о вооруженном морском нейтралитете», которая впоследствии была признана большинством европейских государств, провозглашена Екатериной 28 февраля 1780 г. Неаполитанское королевство присоединилось к лиге вооруженного нейтралитета с соглашением, подписанным в Санкт-Петербурге герцогом Сан-Никола 10 февраля 1783 г.

В 1782 г. Россия пошла на еще более активное сближение с неаполитанским королевским двором, когда в столицу прибыли с неофициальным визитом великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Федоровна, завершавшие в Неаполе свое путешествие по Европе. Они путешествовали инкогнито под псевдонимом «граф и графиня Северные» (Conti del Nord) и посещали, по специальному поручению императрицы, только союзников России, в том числе и Неаполитанское государство¹. Путешественников встретили со всеми почестями (con tutti gli onori²), организовали для них фейерверки и маскарады и возили осматривать археологические раскопки Помпей, Геркуланума и Поццуоли. Слабое физическое здоровье и склонность к занятиям литературой, а не к профессии дипломата заставили герцога Сан-Никола просить освобождения от должности. Его просьба была удовлетворена благодаря дружбе Ланского и Екатерины. Согласно другой версии он был отозван в Неаполь королем Фердинандо под давлением Антонино Мареска, герцога Серракаприола, который впоследствии стал его преемником. Служба в Санкт-Петербурге и покровительство Екатерины положительно повлияли на его карьеру, на следующий год герцог Серракаприола приветствовал своего короля: «...учитывая рекомендации для герцога Сан-Никола, Ваше Величество повысили его в звании и обеспечили ему блестящую карьеру в регентском совете»³.

Антонино Мареска, герцог Серракаприола (1784–1822)

В отличие от герцога Сан-Никола, Антонино Мареска не обладал репутацией литератора и человека высокой культуры, однако он принадлежал к знатному соррентийскому роду влиятельных сановников королевского двора. Его назначение на должность полномочного министра в России в июле 1782 г. совпало, как уже было сказа-

(НГА, МИД, папка № 4426 «Трактаты», а также в статье 17 Соглашения о торговле между Неаполем и Россией).

¹ По графику путешествия, разработанному С.И. Плещеевым [9. С. 7–8], граф и графиня Северные прибыли в Неаполь 28 января 1782 г. и уехали оттуда 8 февраля. Они ночевали во дворце, принадлежащем Паскуале Мария Д'Алессандро, герцогу ди Песколанчиано D'Alessandro duca di Pescolanciano («в доме дюка Бискуланчало» [sic!]).

² НГА, МИД, папка № 1669.

³ НГА, МИД, папка № 1670. Письмо герцога Серракаприола маркизу Самбука, Санкт-Петербург, 06.07.1784.

но, с благоприятной политической обстановкой для Королевства обеих Сицилий, поскольку Россия искала поддержку в Средиземном море, перед тем как вступить в прямой конфликт с Турцией. Его первая миссия состояла в проведении переговоров с советником Фердинандо Галиани, касающихся торгового договора между Россией и Неаполем, который был ратифицирован в 1787 г.¹ Данное соглашение, подписанное для того, чтобы развивать торговлю на Востоке (*nel Levante*), подразумевало одно секретное условие в пользу неаполитанских судов, для которых были уменьшены пошлины при пересечении Черного моря. Помимо коммерческих интересов, объединяющих Неаполитанское королевство и Россию, последняя при помощи данного договора, по сути, намеревалась открыть новую главу политических отношений. Герцогу Серракаприола была предназначена деликатная миссия позаботиться о том, чтобы проявления дружбы не привели к согласованию союза против Турции. Инструкции герцогу диктовали осторожное поведение, которое ни в коем случае не должно было скомпрометировать неаполитанский нейтралитет: дружба с Турцией и Россией служила в равной степени для того, чтобы получить свободный коммерческий транзит в Черное море. Кроме того, слишком сложными для того, чтобы подвергнуть риску уход собственной внешней политики от линии равноудаленности, оказались следующие факторы: военная слабость Королевства обеих Сицилий, катастрофическое состояние его финансов, бездарность его государя и особенно уязвимость его береговой линии. Этот вопрос освещался в жестких докладах А.К. Разумовского, а вслед за ним П.М. Скавронского, касавшихся социально-экономических условий Неаполя и Сицилии и особенно главных героев его политики². Что касается герцога Серракаприола, то его письма с 1783 до 1787 г. всегда содержали настойчивые ходатайства о заключении договора о торговле и подробные отчеты о «восточной» политике Екатерины.

Эта миссия принесла ему репутацию настолько умелого переговорщика и верного союзника императорского двора, что через него императрица прибегла к неаполитанскому посредничеству в мирных

¹ НГА, МИД, папки № 4217, № 6772. О лидирующей роли аббата Галиани в переговорах, *rimandiamo ai saggi*, см. [10, 11]. Коммерческие отношения между Неаполем и Россией были предметом тщательного анализа Винченцо Джуры [12].

² Переписка Разумовского, сохраненная в Министерстве иностранных дел России, была частично изучена М.Л. Кавальканти [13], но только с точки зрения торговых отношений между двумя странами.

переговорах с Турцией. Тем не менее данное посредничество потерпело крах, как описывает Нино Кортезе в своем очерке [14].

Даже в круг дипломатов, которые входили в высший свет столицы, Серракаприола в своем звании влился с непринужденностью и элегантностью и сразу установил хорошие отношения с самыми влиятельными людьми императорского двора, начиная с екатерининских фаворитов. После смерти жены Марии Аделаиды дель Карретто он женился во второй раз в 1788 г. на Анне Александровне Вяземской, второй дочери Елены Никитичны Трубецкой и князя Александра Вяземского – генерал-прокурора Сената, фактически министра финансов, юстиции и внутренних дел, а также члена Совета при Высочайшем дворе. Его союз с одной из самых благородных и влиятельных российских семей был одобрен Екатериной, но принят с некоторым сомнением со стороны Фердинандо, несмотря на положительную перспективу в облегчении дипломатической работы. Хотя герцог Серракаприола получил разрешение на вступление в брак со стороны Римской церкви и королевское согласие, в конфиденциальных письмах от неаполитанского двора содержалась просьба дать пояснения касательно религии, исповедуемой будущей невестой, и призывами задуматься над тем, что слуга короля вступает в смешанный брак¹. Брак, принесший ему в дар родство с древними и знатными русскими семьями, восемьдесят тысяч рублей наличными и усадьбу Мурзинку, находящуюся в нескольких верстах от Санкт-Петербурга и от усадьбы Вяземских.

Contrarrò fra giorni i sponsali con la Principessa Anna Wesemskj, figlia del Procuratore Generale, Primo Ministro di Finanze e Cancelliere del Gran Consiglio, principe Wesemskj. Infinite qualità concorrono in un partito simile sia per la cospicua Nobiltà, come per augea delle Cariche, e confidenza che gode il Padre, ed altresì dei beni di fortuna, ma quelle che hanno formato in me la maggiore sensazione sono le qualità più interne, che esserne della graziosa Damina, come le principali a rendere il mio animo tranquillo, e felice, quali due attributi sono da me desiderati con tutta l'ardenza per poter continuare a deliziare il mio fisico, e morale al Real Servizio e rendermi con le mie azzioni sempre più grato alla M. dé miei Sovrani².

¹ НГА, МИД, папка № 1673, письма от 20.07.1788, 29.07.1788 и 07.10.1788.

² «<...> осталось несколько дней до бракосочетания с княгиней Анной Вяземской, дочерью генерального прокурора, премьер-министра финансов и канцлера Великого Совета князя Вяземского. Бесконечные качества совмещаются в данной партии, такие как: дворянский титул, должности и доверие, которыми располагает её отец; и ко всему про-

Герцогу Серракаприола была нужна невеста с хорошим приданым, так как затраты дипломатической службы и высокий уровень жизни при императорском дворе Екатерины намного превосходили его финансовые возможности. В письмах герцог Серракаприола часто обращается к своему адресату с просьбой об увеличении жалованья, что, очевидно, осуществлялось редко. От этого счастливого брака родилось в Санкт-Петербурге двое детей: Никола и Елена. У первенца крестной матерью была сама Екатерина II в лице вице-канцлера А.И. Остермана, и Никола был крещен и воспитан в религии Священной Римской церкви. А дочь Елена была крещена в русском православном обряде (*con rito greco-ruteno*) теткой Екатериной Александровной, графиней Толстой. Елена вышла замуж за графа Степана Федоровича Апраксина, полевого адъютанта Александра I и Николая I, и жила в России до самой смерти¹, а Никола, по следам отца, пошел вверх по карьерной лестнице и занимал высокие должности как в качестве придворного, посла, министра иностранных дел Королевства, так и в качестве председателя общего Совета Королевства обеих Сицилий².

Породнившись с русской аристократией, герцог Серракаприола пытался укрепить партнерские отношения между двумя государями, предлагая для этого соединить в брачном союзе одну из дочерей

чему счастливое благополучие. Однако те качества, которые сформировали во мне самое большое чувство по отношению к этой изящной даме, это её внутренние качества, которые способны сделать мою душу мирной и счастливой. Это два атрибута, которые я пылко для себя желаю для того, чтобы продолжать радовать своим физическим и нравственным состоянием королевскую службу и посредством своих поступков сделать себя более признательным для Их Королевского Величества» (НГА, МИД, папка № 1693. Письмо герцога Серракаприола кавалеру Актон, Санкт-Петербург, 15.08.1788).

¹ Елена, герцогиня Серракаприола, преждевременно скончалась в Санкт-Петербурге (14.07.1793–25.11.1820). Степан Апраксин (30.07.1792–17.05.1862) занимал важные военные посты с 1808 г.; в 1816 г. он был награжден Священным военным Константиновским орденом Святого Георгия; в 1825 г. он участвовал в подавлении военного мятежа декабристов и был повышен до звания генерал-майора армии Николая I. В 1843 г. Апраксин был назначен генералом кавалерии, и в 1860 г. он был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. (Примечания взяты из известной генеалогии Н. Иконникова [15. С. 20], выдержки из которой находятся в НГА, архиве Мареска, герцога Серракаприола (далее: НГА, МС), папка №104/11, вкл. 9 / VI.).

² В НГА, МС, папка № 108, вкл. 2/7. От брака Николая (25.08.1790–17.11.1870) с Маргеритой ди Сангро родилась в 1823 г. дочь Алессандра, которую крестил сам Александр I. Этот эпизод был увековечен в акварели Николой Мареска, который увлекался живописью и оставил интересные *gouaches* Санкт-Петербурга и дома герцога Серракаприола на Фонтанке. Некоторые из них были представлены на выставке «Воспоминания об Италии», состоявшейся в Русском музее в 2003 г., и в одноименном каталоге [16].

Фердинандо с русским великим князем. Целью данного проекта было объединение двух императорских семей и сближение двух религий: католической и православной, что было поддержано как Екатериной, так и Каролиной. Но когда в 1791 г., во время поездки в Вену неаполитанской королевской семьи герцог Серракаприола представил свой проект королю Фердинандо, тот отреагировал с негодованием: «...я был бы сумасшедшим, чтобы отдать одну из моих дочерей раскольнику (a uno scismatico), я удивлен, что Вы мне предлагаете такие вещи»¹. Затея потерпела крах в зародыше, а тень, пробежавшая в отношениях между королем и его верным министром, вскоре рассеялась. Однако герцог Серракаприола продолжал питать тайную надежду на сближение двух религий и уже по прошествии нескольких лет принял участие в проекте «встречи мнений» между двумя Церквями по договоренности с архиепископом Литта, апостольским нунцием в Петербурге, и Джулио Литта – Бали Мальтийского ордена. В 1798 г. Павел I стал Великим магистром Мальтийского ордена, но официальное назначение на эту должность требовало утверждения Святого Отца². В требовании такого утверждения Павел косвенно признал главенствующее положение папы, и для предоставления утверждения Пий VII, в свою очередь, признал православного царя в качестве главы католического порядка. По этому случаю герцог Серракаприола был приглашен Павлом на две императорские аудиенции в качестве временного посредника между Россией и Папским престолом, после чего осуществление замысла императора об объединении церквей было отложено:

S.M.I. si è lungamente degnata trattenermi sopra la sua maniera di pensare per questo grande oggetto della riunione dell'opinioni delle due Chiese, mi ha fatto parola dell'idea avuta di Pietro il Grande allorché desiderò unire la Chiesa Greca Ruthena alla Gallicana, e non saprei mai abbastanza descrivere a V.M. la sua somma delicatezza di coscienza come il profondo studio fatto sopra queste materie per vederne la verità, e sentire il bene di questa grand'opera³.

¹ НГА, МИД, папка № 1675. Письмо герцога Серракаприола кавалеру Актон, Вена, 07.03.1791.

² После смерти Пия VI в марте 1800 г. был избран Пий VII, и письма герцога Серракаприола относятся к утверждению нового папы.

³ «Его Императорское Величество соизволили надолго задержать меня по поводу этой великой цели: «о встрече мнений» двух Церквей он оповестил меня о приобретенной от Петра Великого идее, в которой он хотел объединить православную и католическую

Донесения неаполитанского посла своему двору в ноябре 1800 г. содержат частые намеки, свидетельствующие, с легкой руки герцога Серракаприола, о неустанных действиях, направленных на исполнение амбициозного проекта. Примирение с Папским престолом так и не было завершено из-за преждевременной смерти Павла I.

В 1798 г., воспользовавшись расположением к нему Павла I, герцог Серракаприола провел переговоры с маркизом ди Галло касательно союзного договора для защиты границ Королевства и их расширения за счет Папской области¹. Проект не осуществился – ни одна великая держава не была заинтересована ни в поддержании дружбы между Неаполем и Россией, ни в уравнивании австрийского господства с помощью союзника – Англии. Однако Россия все-таки направила военную группу (девять батальонов и двести казаков) для защиты Королевства. В 1799 г. император Павел I передал генералу Суворову необходимые полномочия по оказанию помощи Его Величеству Неаполитанскому королю для восстановления суверенитета и для отдаления французов от королевства. Устами герцога Серракаприола он заявил:

<...> Его интерес к Его Величеству Сицилийскому королю был и всегда останется прежним; он сделал и будет продолжать делать все возможное для его спасения и оказания помощи; и, в соответствии с этим, он приказал <...> отдалить как можно больше от блока Корфумного судов, а также военных кораблей и отдать их в распоряжение Его Величеству для защиты побережья обеих Королевств².

Союз с Неаполем длился восемь лет, и Россия много раз демонстрировала свое желание защитить независимость Королевства. В политических планах Павла I, а вслед за ним и Александра I, два

церкви, и я бы никогда не смог достаточно описать Вашему Величеству чрезмерное чувство его деликатности при глубоком изучении вышесказанных вопросов для того, чтобы увидеть истину и почувствовать благо от этой большой работы» (НГА, МИД, папка № 4240. Письмо герцога Серракаприола Его Величеству королю, Санкт-Петербург, 30.11.1800). Рассказ о двух аудиенциях царя также передан в конфиденциальном письме на имя кавалера Актон, с той же датой 30.11.1800.

¹ В качестве официального предлога сослались на крайнюю слабость Святейшего престола для того, чтобы защитить собственные территории, а также территории, граничащие с Неаполитанским королевством, от австрийских экспансионистских намерений: этот эпизод широко описан в статье одного из потомков герцога Серракаприола, Бенедетто Мареска [17], а также в книге Карло Ди Сомма [18].

² НГА, МИД, папка № 1680. Письмо герцога Серракаприола к маркизу ди Галло, Санкт-Петербург, 20.03.1779.

королевства Неаполя и Сардинии должны были бы постепенно присоединить к себе все другие итальянские государства, расположенные с Юга на Север, и Россия, таким образом, защитила бы образовавшееся итальянское государство. Не случайно и то, что депеши герцога от 1803 г. содержат повторяющиеся увещевания о том, чтобы неаполитанское правительство не потеряло поддержку Александра и дружбу с Россией¹.

С побегом Фердинандо в Сицилию и назначением Жозефа Бонапарта королем Неаполя для дипломата начался трудный период. Имущество герцога Серракаприола в Неаполе было конфисковано, его также освободили от занимаемой им в течение двадцати лет должности в Петербурге, которую доверили герцогу Мондрагоне, а вслед за ним князю Торелла – «шпионам» полиции Наполеона. Поскольку герцог Серракаприола не вернулся на родину, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому королю, он был объявлен политическим эмигрантом. В тот критический момент своего существования герцог за примерное поведение был возведен в неоспоримый титул *ancien régime*, в ранг последнего патриота Бурбонов, и его светский салон на улице Фонтанка, д. 22, превратился в подрывную ячейку, в которую входили противники наполеоновского режима. Следовательно, его положение ухудшилось и в Петербурге: сам Александр I после Тильзитского мира и признания Жозефа Бонапарта королем Неаполя отстранил герцога от двора как персону нон грата. Он, однако, сохраняя самообладание, продолжил работать как частное лицо для королевского двора в приемных родственников, на участие которых мог рассчитывать. Таким образом, он принимал видных деятелей европейской политики и королевского двора, не отказываясь при этом от персонального русско-неаполитанского «синкретизма». Бенедетто Кроче, которому мы обязаны за данную информацию, передает слова современника герцога Серракаприола: «...n'était plus considéré comme napolitain: il était devenu cosmopolite, et, loin d'être guidé par un esprit de fanatisme, tous ses efforts ne furent dirigés qu'à obtenir une tranquillité générale» [21. P. 316].

«Capo della diplomazia, tutti gli si confidavano, senza che mai egli ne abusasse; ogni nuovo arrivato del corpo diplomatico gli si faceva presentare

¹ НГА, МИД, папка № 1682. Для ознакомления с историей этого периода необходимо обратиться, в частности, к основному тексту Дж. Берти, а также к его ценной библиографии, касающейся данного вопроса [19]. Следует отметить среди очень немногих российских исследований ценную монографию советского историка Г.А. Сибирева [20].

per averlo a guida e a consigliere» [22. Vol. 1. P. 29], у герцога в этот период установились особые дружеские отношения с Жозефом де Местром и с княжной Марией Нарышкиной – фавориткой Александра I.

В 1814 г. изменившиеся политические обстоятельства благоприятствовали его реабилитации, и герцог Серракаприола был назначен представителем короля на конгрессе в Вене, где он боролся против жестких условий, установленных Австрией для возвращения короля Фердинандо в собственные владения. Его энергичный протест остался без ответа, благодаря в том числе и лени неаполитанских полномочных представителей Руффо и Медичи. И когда Фердинандо вернулся на трон с титулом короля обеих Сицилий, он послал герцогу Серракаприола указ в благодарность за оказанные услуги, доказанную ему вечную верность.

Герцог Серракаприола умер в Санкт-Петербурге в 1822 г. и был похоронен в монастыре Александро-Невской лавры. Согласно одной семейной легенде могила Антонино была разрушена наводнением на Неве, и единственную сохранившуюся реликвию – зуб – сын Никола перевез со всеми почестями в Неаполь и поместил в церкви Монтекальварио с установлением мемориальной доски в честь отца¹.

Переписка герцога с собственным королевским двором, несмотря на то, что она служила доказательством способности к синтезу исторических, политических и социальных фактов и событий, свидетелем которых он был, и осведомленности в российских реалиях, отличается, однако, особенно в депешах первого десятилетия, не всегда легко воспринимаемым эпистолярно-канцлерским стилем. Язык его писем иногда слишком усеян неаполитанскими терминами, переделанными на итальянские, витиеват и содержит орфографические ошибки. Иногда сказывается влияние французского языка². Тем не менее с течением времени стиль писем улучшается, растет дипломатическое мастерство: депеши девяностых годов показывают умение анализировать исторические события.

Транскрипция русских имен и названий, особенно в первые годы, является исключительно фонетической – без соблюдения языковых

¹ НГА. МС, папка № 101.

² Огрехи в выражениях на итальянском литературном языке были ехидно подчеркнуты министром Бернардо Тануччи, который однажды сказал по поводу его длительного пребывания во Флоренции: «Необходимо, чтобы Серракаприола вернулся в Неаполь, если он не находится за границей только для того, чтобы быть посмешищем в Академии делла Круска» [23. С. 41]. Возмущался и Луиджи Бланш: «Этот мужчина <...> с сорокалетним дипломатическим стажем не мог правильно говорить по-французски» [22. Т. 1. С. 29].

норм. В дальнейшем написание русских названий становится более правильным и показывает языковое чутье герцога. Вероятно, он посвятил себя изучению русского языка с того момента, как породнился с семьей Вяземских, – язык дипломатии оказался для него недостаточным для общения в российском обществе. Известно, что Александр Вяземский не говорил по-французски [24. С. 323]. Мы не будем заострять свое внимание на том, насколько Антонино хорошо говорил по-русски и как легко он пришел к практике трехязычия: русский в семье, французский и итальянский – в дипломатической переписке со своим посольством.

Неудивительно и то, что он имел обычай переводить с русского как для языковой практики, так и просто для своего удовольствия. В фонде Мареска герцога Серракаприола были найдены некоторые документы, содержащие его очень неполный перевод «Россиады» М.М. Хераскова. В черновике присутствует начальная часть его итальянской *Rossiade*, т.е. перевод посвящения «Милостивому Государю», с русским текстом, а также «Исторического предисловия» и некоторых строк песни первой [25]. К сожалению, некоторые фрагменты в рукописи неразборчивы. Любопытно и то, что на листах перевода появляются и русские фразы, переведенные на итальянский язык, в которых определяется почерк Антонино. Вероятно, это была практика «домашнего» разговорного языка, которая заставляет нас улыбнуться, если мы представим эти упражнения в семейном контексте, в котором они должны были быть произнесены:

Я хочу ѣхать къ тестю	Io voglio andare dal suocero
Что матушка каково съ вами	Come Mama sta la Vostra salute
Хорошо ли Вы почивали	Avete ben dormito
На сихъ дняхъ у насъ много гостей	Da noi questi giorni molto mondo vi era ¹ .

В переписке с министрами иностранных дел герцог никогда не упускал возможности сообщить им о добром здравии императрицы и императорской семьи и подчеркнуть роскошь приемов, дней рождения и кончины, именин, балов и маскарадов, организованных в соответствии с протоколом или просто для развлечения во дворце. Читая ценную переписку герцога Серракаприола, мы восстанавливаем фрагменты российской дворцовой жизни и узнаем, что Екатерина II, устраивала балы и ужины три раза в неделю, что она любила играть в карты и

¹ НГА, МС, папка № 110, вкл. II, лист 562.

шахматы, что каждое воскресенье после службы собирался дипломатический корпус для приветствия, что в начале лето она уезжала в Царское Село, а великие князья перебирались в восхитительные владения Павловска или Гатчины, а также то, что для больших юбилеев организовывались безмерно роскошные балы. Герцог, пунктуальный как при дворе, так и в высшем обществе, играя в карты, дефилируя в полонезе, посещая театральные спектакли по четвергам, за эти годы из неизвестного министра далекого королевства стал незыблемой опорой для меняющейся плеяды дипломатов, которые окружали Екатерину, затем Павла, и наконец, Александра, которому по приезде Антонино в Петербург было семь лет – и сорок семь, когда герцога не стало.

Перевод Ирины Новиковой

Литература

1. *Filippo M. di*. Per una storia dei rapporti tra il Regno di Napoli e l'Impero russo // Archivio russo-italiano IV / A cura di D. Rizzi e A. Shishkin. Salerno: Collana di Europa Orientalis, 2005. P. 243–295.
2. *Colletta P.* Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825. Napoli: Scientifica editrice, 1969. Vol. 1.
3. *Acton H.* I Borboni di Napoli. Firenze: Giunti Martello Editore, 1985. Vol. 1. 723 p.
4. *Schipa M.* Il regno di Napoli sotto i Borboni. Napoli: Luigi Piero Editore, 1900. 110 p.
5. *Recueil de mots russes*, disposés par ordre alphabétique, avec leur explication en François, par M. le D. de S. N. Pour son propre usage, en attendant un Dictionnaire de la même langue. A Naples, MDCCLXXVIII.
6. *Лихачев Н.* Русско-французский словарь, напечатанный в Неаполе в 1778 г. СПб., 1897. 18 с.
7. *Сборник* Императорского Русского исторического общества. СПб., 1878. Т. 23: Дипломатическая переписка Екатерины II. 734 с.
8. *Письма* Пикара к князю А.Б. Куракину // Русская старина. 1878. Т. 22, № 5. С. 39–66.
9. *Плецев С.И.* Начертание путешествия их императорских высочеств... Павла Петровича и... Марии Феодоровны, под именем графа и графини Северных. СПб., 1783. 20 с. URL: <http://www.prilib.ru/item/428780>.
10. *Diaz F.* L'abate Galiani consigliere di commercio estero del Regno di Napoli // Rivista storica italiana. 1968. Vol. 80, № 4. P. 854–909.
11. *Gambacorta L.* Ferdinando Galiani e la Russia // Archivio storico per le province napoletane. Napoli: Società napoletana di storia patria, 1988. P. 335–345.
12. *Giura V.* Russia, Stati Uniti d'America e Regno di Napoli nell'età del Risorgimento. Napoli: Editore Scientifiche Italiane, 1967. 362 p.
13. *Cavalcanti M. L.* Alle origini del Risorgimento. Le relazioni commerciali fra il Regno di Napoli e la Russia. 1777–1815. Genève: Droz, 1979. 394 p.
14. *Cortese N.* La mediazione Napoletana nelle trattative di pace tra Russia e Turchia nel 1790-91. (Con lettere inedite di Caterina II e di Maria Carolina) // Russia: rivista di letteratura, storia e filosofia. 1921. № 4–5. P. 74–103.

15. *Ikonnikov N.* la noblesse de Russie. Paris: Bibliothèque de l'Institut d' études slaves, 1957. Т. А1.
16. *Воспоминание об Италии: Свидетельства.* СПб.: Palace Editions, 2003. 168 с.
17. *Maresca B.* Il marchese di Gallo a Pietroburgo nel 1799 // Archivio storico per le province napoletane. Napoli: Società napoletana di storia patria, 1908. Vol. 33. P. 577–617.
18. *Di Somma C.* Une mission diplomatique du Marquis De Gallo à Saint-Petersbourg en 1799. Napoli: Luigi Pierro Editore, 1910. 348 p.
19. *Berti G.* Russia e stati italiani nel Risorgimento. Torino: Einaudi, 1957. 874 p.
20. *Сибирева Г.А.* Неаполитанское королевство и Россия в последней четверти XVIII века. М.: Наука, 1981. 196 с.
21. *Croce B.* Il duca di Serracapiola e Giuseppe De Maistre // Archivio storico per le province napoletane. Napoli: Società napoletana di storia patria, 1922. № 1–4. P. 313–335.
22. *Blanch L.* Scritti storici / A cura di B. Croce. Bari: Laterza, 1945. Vol. 1. 491 p.
23. *Maresca Donnorso G.* Alcune notizie di famiglia. Napoli, 1955.
24. *Григорович Н.* Отзыв Сардинского чрезвычайного посланника и полномочного министра маркиза де-Парело... о князе А.А. Вяземском // Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. СПб., 1879. Т. 1: 1747–1787 гг. 652 с.
25. *Пачини-Савой Л.* Итальянский дипломат XVIII в. – переводчик «Россияды» // XVIII век. М.; Л.: Наука, 1966. Сб. 7. С. 207–212.

ON THE HISTORY OF RELATIONS BETWEEN THE KINGDOM OF NAPLES AND THE RUSSIAN EMPIRE

Imagologia i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 5–23. DOI: 10.17223/24099554/8/1

Marina di Filippo, University of Naples “L’Orientale” (Naples, Italy). E-mail: mdifilippo@unior.it

Keywords: 18th century, Neapolitan Archives, diplomatic correspondence, Duke of San Nicola, Duke of Serracapiola, Catherine the Great.

The study offers a documented reconstruction of the political, diplomatic and cultural relations between the Kingdom of Naples and the Russian Empire from the beginning of relations in 1777 until 1820. The search for testimonies linking Italy and Russia was based primarily on unpublished manuscript materials of the Naples State Archive from the funds of the Ministry of Foreign Affairs and Maresca di Serracapiola. These documents are mainly diplomatic correspondence between Neapolitan ministers in St. Petersburg and the Ministry of Foreign Affairs of the Bourbon dynasty, starting from 1763. The article analyses a considerable number of interesting letters, dispatches, memorials, treaties about the role played at the Tsar’s Court by the two first plenipotentiary ambassadors, representatives of Neapolitan King Ferdinand IV.

The first was Muzio da Gaeta, Duke of San Nicola, who lived in St. Petersburg from 1779 to 1783 and showed himself more as a literary man and translator than as a politician and diplomat. The other representative of the Bourbon Court was Antonio Maresca, Duke of Serracapiola, who was a longtime minister plenipotentiary assigned to the Russian Court in St. Petersburg from 1787 to 1822. He is remembered for his diplomatic talent and communication skills. During his forty years employment at court, he established close relations with the most powerful Russian politicians and noblesse. After his marriage in 1788

to Anna Wyazemskaya, Serracapriola's diplomatic career progressed rapidly. So did the alliance between the Neapolitan and Russian states, which signed a number of treaties: Trade Treaty in 1787, Treaty of Alliance in 1798. In 1800, through Duke's mediation, Paul I supported the idea of uniting Catholic and Orthodox churches. Between 1811 and 1812, Tsar Alexander I entrusted him with the mission to conclude an agreement with Turkey, Persia and England on behalf of Russia.

Duke of Serracapriola died in 1822, remembered as the ambassador of two countries – the Kingdom of Naples and the Russian Empire.

References

1. Filippo, M. di (2005) Per una storia dei rapporti tra il Regno di Napoli e l'Impero russo [On the history of relations between the Kingdom of Naples and the Russian Empire]. In: Rizzi, D. di & Shishkin, A. (eds) *Archivio russo-italiano IV* [The Russian-Italian Archive]. Salerno: Collana di Europa Orientalis. pp. 243–295.
2. Colletta, P. (1969) *Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825* [History of the Kingdom of Naples from 1734 to 1825]. Vol. 1. Naples: Scientifica editrice.
3. Acton, H. (1985) *I Borboni di Napoli* [The Bourbons of Naples]. Vol. 1. Florence: Giunti Martello Editore.
4. Schipa, M. (1900) *Il regno di Napoli sotto i Borboni* [The Kingdom of Naples under the Bourbons]. Naples: Luigi Pierrò Editore.
5. Mr. D. de S. N. (n.d.) *Recueil de mots russes, disposés par ordre alphabétique, avec leur explication en François, par M. le D. de S. N. Pour son propre usage, en attendant un Dictionnaire de la même langue* [Collection of Russian words, arranged in alphabetical order, with their explanation in Francis, by Mr. D. de S. N. For his own use, pending a Dictionary of the same language]. Naples: [s.n.].
6. Likhachev, N. (1897) *Russko-frantsuzskiy slovar', napechatannyy v Neapole v 1778 g.* [Russian-French Dictionary printed in Naples in 1778]. St. Petersburg: V.S. Balashev i K.
7. Grot, Ya.K. (ed.) (1878) *Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva* [Collection of the Imperial Russian Historical Society]. Vol. 23. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences.
8. Picard. (1878) Pis'ma Pikara k knyazyu A.B. Kurakinu [Letters from Picard to Prince A.B. Kurakin]. *Russkaya starina*. 22(5). pp. 39–66.
9. Pleshcheev, S.I. (1783) *Nachertanie puteshestviya ikh imperatorskikh vysochestv, ... Pavla Petrovicha i ... Marii Feodorovny, pod imenem grafa i grafini Severnykh* [The itinerary of the journey of their Imperial Highnesses, ... Pavel Petrovich and ... Maria Feodorovna, under the name of Count and Countess of the North]. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences. [Online] Available from: <http://www.prlib.ru/item/428780>.
10. Diaz, F. (1968) L'abate Galiani consigliere di commercio estero del Regno di Napoli [Abate Galiani Foreign Trade Adviser of the Kingdom of Naples]. *Rivista Storica Italiana*. 80(4). pp. 854–909.
11. Gambacorta, L. (1988) Ferdinando Galiani e la Russia [Ferdinando Galiani and Russia]. In: *Archivio storico per le province napoletane* [Historical archive for the Neapolitan provinces]. Naples: Società napoletana di storia patria. pp. 335–345.
12. Giura, V. (1967) *Russia, Stati Uniti d'America e Regno di Napoli nell'età del Risorgimento* [Russia, United States of America and Kingdom of Naples during the Risorgimento]. Naples: Editore Scientifiche Italiane.

13. Cavalcanti, M.L. (1979) *Alle origini del Risorgimento. Le relazioni commerciali fra il Regno di Napoli e la Russia. 1777–1815* [To the origins of the Risorgimento. Trade relations between the Kingdom of Naples and Russia. 1777–1815]. Geneva: Droz.

14. Cortese, N. (1921) La mediazione Napoletana nelle trattative di pace tra Russia e Turchia nel 1790-91. (Con lettere inedite di Caterina II e di Maria Carolina) [Neapolitan mediation in peace talks between Russia and Turkey in 1790–1791]. *Russia: rivista di letteratura, storia e filosofia*. 4–5. pp. 74–103.

15. Ikonnikov, N. (1957) *La noblesse de Russie* [Russian Nobility]. Vol. A1. Paris: Bibliothèque de l'Institut d'études slaves.

16. The Russian Museum. (2003) *Vospominanie ob Italii. Svidetel'stva* [Recollection of Italy. Testimonies]. St. Petersburg: Palace Editions.

17. Maresca, B. (1908) Il marchese di Gallo a Pietroburgo nel 1799 [The Marquis of Gallo in Petersburg in 1799]. *Archivio storico per le province napoletane*. 33. pp. 577–617.

18. Di Somma, C. (1910) *Une mission diplomatique du Marquis De Gallo à Saint-Pétersbourg en 1799* [A Diplomatic Mission of the Marquis De Gallo in St. Petersburg in 1799]. Naples: Luigi Pierro Editore.

19. Berti, G. (1957) *Russia e stati italiani nel Risorgimento* [Russia and Italian states in the Risorgimento]. Turin: Einaudi.

20. Sibireva, G.A. (1981) *Neapolitanskoe korolevstvo i Rossiya v posledney chetverti XVIII veka* [The Kingdom of Naples and Russia in the late 18th century]. Moscow: Nauka.

21. Croce, B. (1922) Il duca di Serracapriola e Giuseppe De Maistre [The Duke of Serracapriola and Giuseppe De Maistre]. *Archivio storico per le province napoletane*. 1–4. pp. 313–335.

22. Blanch, L. (1945) *Scritti storici* [Historical Writings]. Vol. 1. Bari: Laterza.

23. Maresca Donnorso, G. (1955) *Alcune notizie di famiglia* [Some Family News]. Naples: [s.n.].

24. Grigorovich, N. (1879) *Kantsler knyaz' Aleksandr Andreevich Bezborodko v svyazi s sobyitiyami ego vremeni* [Chancellor Prince Alexander Andreevich Bezborodko in connection with the events of his time]. Vol. 1. St. Petersburg: V.S. Balashev.

25. Pachini-Savoy, L. (1966) Ital'yanskiy diplomat XVIII v. – perevodchik “Rossiyady” [Italian diplomat of the 18th century. – translator of “Rossiad”]. In: *XVIII vek* [Eighteenth Century]. Vol. 7. Moscow, Leningrad: Nauka. pp. 207–212.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/24099554/8/2

Т.А. Ключенкова

КОНЦЕПТ «ДОМ» В РАССКАЗАХ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ И ЮРИЯ КАЗАКОВА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Факт нравственного и мировоззренческого влияния Эрнеста Хемингуэя на Ю.П. Казакова признан как самим писателем, так и исследователями его творчества. Между тем художественная специфика этого влияния фактически не изучена. В статье творческое взаимодействие американского и русского авторов выявляется при помощи концептуального анализа. В качестве объектов исследования взяты концепты «home» и «дом». Анализируются их структура и особенности репрезентации в рассказах Хемингуэя «A Clean Well-Lighted Place» и «Проклятый Север» Казакова.

Ключевые слова: Э. Хемингуэй, Ю. Казаков, компаративистика, художественный концепт, концептуальный анализ художественного текста, литературные влияния.

Определение характера и типа литературных взаимодействий авторов, которые жили в разное время и ни разу не пересекались друг с другом, но были в каких-либо аспектах близки в плане эстетических установок или поэтики, – сложная проблема. Именно таково звязи знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899–1961) и русского прозаика периода «оттепели» Юрия Павловича Казакова (1927–1982).

Творчество Хемингуэя имело особый статус в культуре времени, на которое пришлось молодость Казакова. В 50–60-е гг. XX в. увлечение Хемингуэем в СССР было сродни байроновской «эпидемии» в России XIX в. [1. С. 158] и охватывало не только богему, но и тысячи молодых читающих людей. Оно не обошло стороной и Казакова. По словам Н.Л. Шиловой, «опубликованные архивы Казакова свидетельствуют о своеобразном литературоцентризме его сознания, проявлявшемся, например, в особом пиетете по отношению к любимым авторам, с миром которых – поэтическим, а по возможности и биографическим – Казаков стремился соприкоснуться как можно полнее. Так было с Хемингуэем. Следы подражания его персонажам

легко обнаруживаются в дружеской переписке Казакова даже на уровне стиля» [2. С. 69].

Образ жизни путешественника, искателя приключений и борца за справедливость произвел большое впечатление на молодого писателя. Об этом Казаков хорошо сказал в эссе «Памяти Хемингуэя», впервые опубликованном в журнале «Московский литератор» в 1961 г.: «Людей и жизнь Хемингуэй изучал на всей планете. Его всегда влекли те события, при которых человек вынужден победить или умереть, при которых человек обнажается весь – во всей своей красоте или мерзости. Не так уж часто случается, когда писатель, даже гениальный, бывает во всем подобен лучшим своим героям. Хемингуэй был как раз таким писателем. Это был крепкий, мужественный человек – солдат и охотник, боксер и рыбак» [3. С. 333].

Позднее в интервью журналу «Вопросы литературы» (1979) «Для чего литература и для чего я сам?», как бы отвечая на претензии о подражании Хемингуэю, Казаков утверждал: «Хемингуэй повлиял на меня не стилистически – он повлиял на меня нравственно. Его честность, его правдивость, доходящая порой до грубости (так и нужно!), в изображении войны, любви, питья, еды, смерти, – вот что было мне бесконечно дорого в творчестве Хемингуэя» [3. С. 422]. Подобное влияние отмечали друзья и коллеги писателя, а затем и исследователи его творчества. По словам Виктора Конечного, Казаков учился у Хемингуэя «изображению плоти жизни и смерти, и любви, и питья, и охоты, имея сознательную или несознательную – цель: вернуть людям, которые утратили способность радоваться чувственному миру, его краски, запахи; заставить нас вспомнить красоту и радость плотского...» [4. С. 520].

Между тем помимо мировоззренческой общности между Хемингуэем и Казаковым можно увидеть и общность художественную. Елена Галимова в своей монографии «Художественный мир Юрия Казакова» объясняет ее связью стиля Хемингуэя с чеховской традицией: творчество американского прозаика было для Казакова, который и сам тяготел к традициям русской дореволюционной литературы, доказательством актуальности Чехова в современной ему эпохе [1. С. 161].

При очевидности художественных взаимодействий специальных работ, посвященных связям творчества Хемингуэя и Казакова, практически нет, и вопрос об их специфике и поэтических формах остается открытым.

В статье для решения этой задачи используется метод концептуального анализа, предполагающий «выявление концептов, моделирование их на основе концептуальной общности средств их лексической репрезентации в узусе и тексте и изучение концептов как единиц когнитивной картины мира языковой личности автора» [5]. Понятие художественного концепта к настоящему моменту имеет множество трактовок. В частности, В.Г. Зусман понимает под ним «такой образ, символ или мотив, который имеет “выход” на геополитические, исторические, этнопсихологические моменты, лежащие вне художественного произведения» [6. С. 743]. Убедительной представляется нам позиция О.А. Фещенко, которая среди направлений концептуального анализа выделяет «отсистемный», заключающийся в лексикографическом описании ключевого слова определённого концепта с целью выявления его структуры, и «оттекстовый», который представляет собой исследование репрезентации художественного концепта непосредственно в тексте произведения. Исследовательница предлагает подходить к изучению концептов комплексно, совмещая эти два подхода и выполняя их поэтапно [7. С. 4].

Из всего разнообразия авторских концептов Хемингуэя и Казакова объектом сравнительного анализа был выбран концепт ‘дом’, ключевым лексическим воплощением которого в русском языке является слово «дом». В английском ему соответствуют две лексемы: «home» и «house». Все три слова многозначны в обоих языках. В целом наиболее важные значения слов-репрезентантов концепта ‘дом’ можно свести к следующим:

- место, где человек живет, или то, которое он считает для себя родным;
- место, где человек родился, Родина;
- семья, домочадцы;
- здание.

Концепт ‘дом’ в английской и русской культуре является одним из ключевых. Дом ассоциируется со спокойствием, чувством защищенности и уютом. Иметь дом – это благо, отсутствие его считается трагедией. Через метафорическое соотнесение с домом в обеих культурах моделируются многие смыслы, связанные с общением между людьми, психическим здоровьем, жизнью и смертью.

В связи с ограниченным форматом статьи нас будет интересовать художественная реализация концепта ‘дом’ в рассказах Эрнеста

Хемингуэя «A Clean Well-Lighted Place» и «Проклятый Север» Юрия Казакова.

«A Clean Well-Lighted Place» вышел в сборнике рассказов «Winner Takes Nothing» в 1933 г. На русском языке он был впервые опубликован под названием «Чисто, светло» в 1934 г. в сборнике «Смерть после полудня», а также в журнале «30 дней» в переводе Е.С. Романовой. В ее же переводе, но уже под названием «Там, где чисто, светло», он вошел в двухтомный сборник Хемингуэя «Избранные произведения» 1959 г. и в дальнейшем переиздавался в таком виде.

Действие рассказа происходит в кафе, которое ежедневно посещает одинокий старик, чтобы скрасить свой досуг за рюмкой коньяка. Из диалога официантов становится известно, что он невероятно богат, но недавно что-то заставило его совершить попытку самоубийства. Молодой официант выражает недовольство тем, что старик, сидя подолгу в кафе, не позволяет ему уйти домой пораньше. В конце концов он выпроваживает старика. Официант постарше проявляет большее понимание и защищает пожилого человека, которому некуда больше пойти. Сам он тоже одинок и понимает, почему людей вроде этого старика так тянет засидеться подольше в кафе, где чисто, опрятно и всегда горит свет.

Лексическая репрезентация концепта 'дом' в этом рассказе частотна: выражения со словом «home» («to go home» и «at home») встречаются в тексте восемь раз на пяти страницах печатного текста.

Наиболее характерны они для речи молодого официанта, который постоянно повторяет, как он сильно хочет вернуться домой к жене: «Всю ночь просидит, — сказал он другому. — Я совсем сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше б он помер на прошлой неделе» [8. С. 196].

Этим он противопоставлен другим персонажам рассказа (старик-посетителю и пожилому официанту), которые вовсе не торопятся покинуть кафе, несмотря на то, что у них обоих есть крыша над головой: «А я вот люблю засиживаться в кафе, — сказал официант постарше. — Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет» [8. С. 197–198].

Почему-то в кафе они чувствуют себя комфортней. Причина кроется в том, что они оба одиноки: в отличие от молодого официанта, у них нет жен, которые ждали бы их возвращения.

Получается, что 'дом' в рассказе – это место, куда возвращаются, причем нужен человек, который ждал бы вернувшегося. У молодого официанта это жена («Скучно ему одному. А я не один – меня жена в постели ждет» [8. С. 196]), потому он так рвется поскорее закончить работу и отправиться домой, тогда как у других героев рассказа людей, ради которых хотелось бы возвращаться, нет. Старик был когда-то женат, но сейчас он овдовел, и племянница, ухаживающая за ним, не годится на роль того, ради которого стоило бы торопиться домой. Пожилой официант тоже одинок:

– У тебя и молодость, и доверие, и работа есть, – сказал официант постарше. – Что еще человеку надо.

– А тебе чего не хватает?

– А у меня всего только работа [8. С. 197].

Главной причиной, по которой герои предпочитают дому кафе, подобные тому, где происходит действие рассказа, является то, что в них чисто, опрятно и светло – своеобразная замена домашнего уюта.

– Не понимаешь ты ничего. Здесь чисто, опрятно, в кафе. Свет яркий. Свет – это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева [8. С. 198].

Кафе выступает в роли своего рода заменителя дома. Атмосфера этого места и алкоголь помогают заполнить душевную пустоту, которая является результатом их одиночества и отсутствия настоящей укорененности. Оба персонажа остро ощущают эту экзистенциальную незаполненность. Старик, не выдержав ее, пытался покончить с собой. Пожилой официант не помышляет об этом, но радости в жизни не ощущает: везде он видит «nada», или «ничто»:

Все – ничто, да и сам человек – ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это nada у pues nada у nada у pues nada. Отче ничто, да святится ничто твое, да придет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто [8. С. 198].

В «A Clean Well-Lighted Place» представлены два типа героев: те, которые не имеют дома (пожилой официант и старик), и те, у кого он есть (молодой официант). Этот персонаж показан так, что вызывает мало симпатии у читателя: то, что у него есть место, куда вернуться, и жена, которая ждет, он постоянно подчеркивает, как бы

кичась этим. Молодой человек ведет себя весьма эгоистично: холодно обращается со стариком, выпроваживает его из кафе, чтоб закрыться пораньше. Этим он вызывает скорее отрицательные эмоции, чем положительные, чего нельзя сказать о двух других персонажах. Основное внимание автора сосредоточено на пожилом официанте, именно он становится своего рода смысловым центром рассказа. Старик же, несмотря на свое жалкое положение, не показан опустившимся, наоборот, он ведет себя с честью и достоинством: «Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный» [8. С. 267].

Кажется, что автор симпатизирует именно тем героям, которые дома не имеют. Несмотря на то, что неприкаянность, отсутствие пристанища вызывают подлинные страдания, Хемингуэй считает такой образ жизни более приемлемым, чем привязанность к какому-то месту.

Похожие мотивы можно наблюдать и в рассказе Юрия Казакова «Проклятый Север», написанном в 1962 г. Его изначальное название – «Нам становится противно». Попытка опубликовать рассказ в журналах «Знамя» и «Новый мир» в 1962 и 1963 гг. не увенчалась успехом. В конце концов под названием «Проклятый Север» он был напечатан в журнале «Москва» и, помимо переименования, также подвергся некоторым редакционным правкам (из текста был вырезан эпизод из воспоминаний главных героев) [9. С. 183]. В своем первоначальном виде рассказ был впервые опубликован в журнале «Звезда» в 2011 г., а также в книге Игоря Кузьмичева «Юрий Казаков. Документальное повествование» в 2012 г.

Герои, о которых идет речь, – два приятеля-моряка, проводящие свой отпуск в Ялте. Оба они, хоть и находятся на отдыхе, не ощущают радости, наоборот, их мучают тоска и разбитость. Не зная, чем себя занять, сначала они посещают дом-музей А.П. Чехова, а потом сидят в ресторане, слушая музыку, вспоминая былое, и в итоге решают вернуться на работу на Север.

Репрезентанты концепта 'дом' встречаются в тексте 18 раз на 15 страницах. В подавляющем большинстве случаев (15 из 18) употребляется непосредственно ключевая лексема «дом», а в остальных трех производное от нее выражение «домой» («идти домой», «хотеть домой»).

Подобно «Там, где чисто, светло» Хемингуэя, герои рассказа Казакова показаны в отчуждении от дома, что во многом связано со специ-

фикой их работы: рыбный промысел в Баренцевом море. Отпуск свой они также проводят вне дома. Из воспоминаний персонажей становится понятно, что образ жизни не позволяет им задерживаться на одном месте настолько долго, чтобы считать это место домом.

Настрой персонажей тягостный и трагический. Отдых, которого, по словам главного героя, они так ждут, находясь в море, не приносит им должного удовлетворения:

И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью – но что делать, и кто виноват, что нам плохо! [10. С. 297].

Герои никак не могут найти себе место, и потому, подобно старику из рассказа Хемингуэя, их тянет в рестораны, где есть женщины и выпивка и где «тепло, светло и покойно» [10. С. 298], что является прямой отсылкой к рассмотренному выше рассказу.

Работа же, несмотря на ее тяжесть, качку, бессонные вахты и «опостылевшее море», продолжает привлекать их, хоть и не вызывает уже тех романтически восторженных чувств, какие испытывал главный герой в начале карьеры. Она, хоть и тяжела, но любима. Однако у персонажей нет дома, где можно было бы спокойно отдохнуть от нее. Личная жизнь их не складывается:

– Ты мне вот что скажи, – спросил меня друг. – Тебя женщины любят?

– Нет, – сказал я. – Я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так...

– А у меня все некрасивые, – сказал друг. – Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, не было. Странно это [10. С. 302].

У героев «Проклятого Севера», как и у пожилого официанта из «A Clean Well-Lighted Place», нет ничего, кроме работы. Это и является причиной их тоски.

Не случаен в рассказе образ дома-музея Чехова, который посещают герои. В нем воплощено то, что вкладывается автором в поня-

тие 'дом'. Дом – это место, где можно «тихо посидеть», заняться работой, предаться любимому увлечению, место, недоступное другим людям. Такое тихое и спокойное место способствует занятиям творчеством. Герои, однако, в этом доме чувствуют себя неловко из-за того, что нарушают его интимную атмосферу, личное пространство хозяина, пусть уже давно умершего:

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас [10. С. 295].

Более того, главному герою здесь становится «грустно и жалко чего-то». Он лишний раз напоминает ему и его другу, что сами они не обладают таким местом, где можно было бы найти отдушину, отдых от однообразной и тяжелой работы. Показательно, что эта проблема мучает не только главных персонажей рассказа, но и второстепенных. Музыканты в ресторане, чья грустная музыка полюбились главному герою, также оказались людьми, оторванными от дома, итальянцами, попавшими в Ялту во время войны и так и не сумевшими вернуться на родину. Это еще больше подчеркивает атмосферу тоски и отчужденности, несмотря на царящее вокруг персонажей веселье.

Образ дома Чехова, однако, не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на тишину и уют, из разговоров героев видно, что писатель не был счастлив, находясь здесь:

– Выпьем за Чехова, – сказал он. – Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Дом этот и вообще все – бодяга это. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался съездить. У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик? [2. С. 299].

То есть жизнь на одном месте, по мнению главных героев, – это не жизнь. Потому, хоть и ощущая тоску от своей неприкаянности, они все же не могут «осесть» где-либо и обзавестись домом. Для персонажей, по сути, не так уж и важно, куда направиться, важен именно сам образ жизни путешественника:

– Так... Пошли спать, а завтра поедем в этот... как его?

– Куда?

– Как его?... А! Да черт с ним, куда-нибудь! [10. С. 306].

То, что именно герои рассказа живут настоящей жизнью, подчеркивается тем, как их настроение контрастирует с окружающей обстановкой, которая кажется им скучной и фальшивой:

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей – неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах [10. С. 293].

Другие люди, показанные в рассказе, предстают, как правило, не в самом лестном свете: шумная компания, нарушающая тихую атмосферу чеховского дома, моряки, которые «преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашенные, с загорелыми руками и шеями и требовали себе мороженого и сухого вина» [10. С. 299], официант с «пошлым и алчным» лицом. Единственные герои, помимо главных, которые вызывают симпатию, это музыканты, которых, как уже отмечалось ранее, также судьба забросила далеко от дома.

Мы видим, что в рассказах Хемингуэя и Казакова есть очевидное сходство в понимании концепта 'дом' и его художественной презентации:

- персонажи рассказа находятся не дома;
- дом воспринимается как место, куда можно вернуться с работы, где можно найти отдых и утешение;
- герои ощущают свою неполноценность в связи с отчуждением от дома и испытывают тоску, избавиться от которой они пытаются при помощи выпивки в ресторане или погружения в работу;
- персонажи, не имеющие дома, показаны с большим пониманием, чем те, кто дом имеет.

Параллель со стилем Хемингуэя можно наблюдать в первоначальной редакции рассказа («Нам становится противно»). Подобно тому, как это делал в своих произведениях американский писатель, Казаков выносит в название ключевую фразу, заключающую в себе мироощущение героев и смысл произведения. Более того, фраза эта в вырезанной впоследствии части рассказа служит рефреном [11. С. 514–518].

Различия тем не менее также наблюдаются. Герой рассказа Хемингуэя не только не имеет дома, он еще и одинок. Более того, страдая от одиночества, он не ищет внимания со стороны других людей,

предпочитая этому уединение в уютном кафе в компании алкоголя. Героев «Проклятого Севера», во-первых, двое, во-вторых, образ жизни насыщает их новыми впечатлениями и знакомствами. Если положение старика и официанта из «A Clean Well-Lighted Place» безнадежно, то моряки Казакова имеют шанс обрести дом.

Таким образом, в ходе анализа «A Clean Well-Lighted Place» и «Проклятый Север» обнаружилась связь между текстами на уровне образов и реализации в них концепта «дом». И в том и в другом случае он играет существенную роль в сюжете рассказов. Значения, в которых использован концепт, в существенной степени перекликаются – при том что по отношению к сложившейся в европейской культуре традиции образ дома у обоих писателей достаточно специфичен и отмечен чертами амбивалентности: отчуждение от дома – это привычное состояние для их героев. Более того, в мироощущении центральных персонажей оно носит скорее положительную, чем отрицательную коннотацию. При обращении к первоначальной редакции «Проклятого Севера» обнаружилась стилистическая связь между двумя авторами. Это, впрочем, только одна непрямая цитата названия «A Clean Well-Lighted Place» в рассказе Казакова. Каких-либо значительных интертекстуальных перекличек между произведениями нет. На наш взгляд, это свидетельствует о значительной писательской автономности Казакова и одновременно о мировоззренческой близости двух авторов, характер взаимодействия которых должен быть прояснен в дальнейшем исследовании.

Литература

1. Галимова Е.Ш. Художественный мир Юрия Казакова. Архангельск: Изд-во ПГПУ, 1992. 173 с.
2. Шилова Н.Л. Адам и Ева на острове Киж: об одном сюжете Юрия Казакова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2014. № 4. С. 67–73.
3. Казаков Ю.П. Две ночи: Проза. Заметки. Наброски. М.: Современник, 1986. 336 с.
4. Конецкий В.В. О Юрии Казакове // Конецкий В.В. Ледовые брызги: Из дневников писателя. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 440–542.
5. Тимошенко С.А. О концептуальном анализе как методе лингвистических исследований [Электронный ресурс] / разработ. и созд. сервера: Publishing house Education and Sciences. г. о. Электрон. дан. Прага. URL: http://www.rusnauka.com/3_KAND_2007/Philologia/18494.doc.htm, свободный. Яз. рус. (дата обращения: 17.04.2017).
6. Тарасова И.А. Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 742–745.

7. Феценко О.А. Концепт ДОМ в художественной картине мира М.И. Цветаевой (на материале прозаических произведений): дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2005. 216 с.

8. Хемингуэй Э. Там, где чисто, светло // Хемингуэй Э. Избранные произведения: в 2 т. М., 1959. Т. 2. С. 195–198.

9. Кузьмичев И.С. Жизнь Юрия Казакова: Документальное повествование. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, ООО «Журнал «Звезда»», 2012. 536 с.

10. Казаков Ю.П. Избранное: Рассказы: Северный дневник. М.: Худож. лит., 1985. 559 с.

11. Казаков Ю.П. Нам становится противно // Кузьмичев И.С. Жизнь Юрия Казакова: Документальное повествование. СПб., 2012. С. 501–519.

THE CONCEPT OF HOME IN THE STORIES BY ERNEST HEMINGWAY AND YURI KAZAKOV: PROBLEM FORMULATION

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 24–35. DOI: 10.17223/24099554/8/2

Tatiana A. Kliushenkova, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation). E-mail: tguzairov@gmail.com

Keywords: E. Hemingway, Yu. Kazakov, comparative studies, literary concept, concept analysis of literary text, literary influences.

The article is devoted to the literary links between Ernest Hemingway and Yuri Kazakov, a Russian short story writer. Though the authors never met each other in person, Kazakov himself admits Hemingway's ethical and ideological influence, and so do his close friends and those who investigate his creativity (Viktor Konetskiy, Gleb Goryshin, Igor Kuzmichev and Elena Galimova). In addition, Galimova points out the stylistic and thematic connection between the oeuvre of the two authors. However, as little has been done to study the literary links between Hemingway and Kazakov so far, it still remains the question to be answered. In this research, the literary interaction between Hemingway and Kazakov is studied with the use of concept analysis. The author analyses literary concepts, their structure and functioning in the usus and literary text. A literary concept is "such an images, symbol or motif that is connected to geopolitical, historic and ethnopsychological points beyond a literary piece of art" (V. Zusman). In this paper, Hemingway's "A Clean Well-Lighted Place" and Kazakov's "The Accursed North" are analysed for the concept of home, with its key words "dom" in Russian and "home" and "house" in English. The complex analysis consists of several stages. At first, the author investigates the structure of the literary concept with the use of various dictionaries to find out that all the keywords representing the concept are polysemantic, with the most important meanings of "a place where a person lives or a place a person thinks of as native", "a place where a person was born, Motherland", "family, household", "a building." Secondly, the author analyses the representations of the keywords in both texts. The further comparative analysis has shown the connection between the stories at the level of images realizing the concept under study. It has been demonstrated that Ernest Hemingway and Yuri Kazakov share some common ways of depicting and understanding the concept of home, with homelessness being usual for their characters. Furthermore, both writers consider this state positive rather than negative, as the idea of traveling and wandering is very close to Hemingway, Kazakov, and their characters. The first edition of Kazakov's story shows some stylistic similarities with that of Hemingway, though explicit intertextual connections have not been found.

References

1. Galimova, E.Sh. (1992) *Khudozhestvennyy mir Yuriya Kazakova* [The Artistic World of Yuri Kazakov]. Arkhangelsk: Pomorsky State Pedagogical University.
2. Shilova, N.L. (2014) Adam and Eve on Kizhi island: About one plot of Yu. Kazakov. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 9 – Vestnik of Saint Petersburg University: Language and Literature*. 4. pp. 67–73. (In Russian).
3. Kazakov, Yu.P. (1986) *Dve nochi: Proza. Zametki. Nabroski* [Two nights: Prose. Notes. Sketches]. Moscow: Sovremennik.
4. Konetskiy, V.V. (1987) *Ledovye bryzgi: Iz dnevnikov pisatelya* [Ice Spray: From The Writer's Diaries]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'. pp. 440–542.
5. Timoshchenko, S.A. (2007) *O kontseptual'nom analize kak metode lingvisticheskikh issledovaniy* [On conceptual analysis as a method of linguistic research]. [Online] Available from: http://www.rusnauka.com/3_KAND_2007/Philologia/18494.doc.htm. (Accessed: 17th April 2017).
6. Tarasova, I.A. (2010) *Khudozhestvennyy kontsept: dialog lingvistiki i literaturovedeniya* [The Artistic concept: A dialogue of linguistics and literary criticism]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo – Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod*. 4(2). pp. 742–745.
7. Feshchenko, O.A. (2005) *Kontsept DOM v khudozhestvennoy kartine mira M.I. Tsvetaevoy (na materiale prozaicheskikh proizvedeniy)* [The concept of home in M.I. Tsvetaeva's artistic picture of the world (on the material of prose works)]. Philology Cand. Diss. Novosibirsk.
8. Hemingway, E. (1959) *Izbrannye proizvedeniya: v 2-kh tomakh* [Selected Works: In 2 Vols]. Vol. 2. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury. pp. 195–198.
9. Kuzmichev, I.S. (2012) *Zhizn' Yuriya Kazakova: Dokumental'noe povestvovanie* [The life of Yuri Kazakov: A documentary narrative]. St. Petersburg: Soyuz pisateley Sankt-Peterburga, Zhurnal "Zvezda."
10. Kazakov, Yu.P. (1985) *Izbrannoe: Rasskazy: Severnyy dnevnik* [Selected Works: Stories: The North Diary]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
11. Kazakov, Yu.P. (2012) Nam stanovitsya protivno [We feel disgusted]. In: Kuzmichev, I.S. *Zhizn' Yuriya Kazakova: Dokumental'noe povestvovanie* [The life of Yuri Kazakov: A documentary narrative]. St. Petersburg: Soyuz pisateley Sankt-Peterburga, Zhurnal "Zvezda." pp. 501–519.

ИМАГОЛОГИЯ

УДК 82.06 (571.1/5)

DOI: 10.17223/24099554/8/3

В.С. Киселев

ТОМСК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ¹

Статья посвящена анализу состояния исследований о Томске как центре литературной жизни. Выявляются основные методологические тенденции современного сибиреведения и ставится вопрос о возможности их применения к томскому материалу. В работе предпринята попытка наметить и описать ключевые слагаемые томского локального текста: центральные мифологемы, литературные отражения городской топографии, художественную антропологию. Второй предмет статьи – исследования литературного процесса Томска, в которых постепенно соединяются персонально-биографический и институциональный подходы. Работа предлагает краткий обзор институциональной истории томской литературы.

Ключевые слова: сибирская литература, литературный регионализм, Томск, томский локальный текст, литературная жизнь Томска.

Взлет литературной регионалистики – примета эпохи глобализации, отмеченной, с одной стороны, интересом к масштабным литературным явлениям на стыке разных культур, а с другой – вниманием к отдельным идентичностям, до поры рассматривавшимся как интегральная часть национальной словесности. Не является исключением и отечественное литературоведение, где исследование литературы регионов в их отношении к общероссийскому литературному процессу и во внутренней специфике также приобретает все большую значимость, будучи не просто способом познания литературного прошлого, но и частью культурного конструирования настоящего и будущего. Литература – важная часть символического капитала, и регион, который им разумно пользуется, формируя

¹ Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 17-14-70002 а(р) «Русские писатели в Томске: томский локальный текст и региональный литературный процесс».

представление о самобытности, о наличии знаковых писательских фигур, о произведениях, составляющих местный литературный канон, становится различимым на культурной карте страны и мира и обретает тем самым дополнительную привлекательность¹.

Применительно к Томску подобная работа проделана далеко не в достаточной степени. Установление масштаба и своеобразия Томска как важного литературного центра не только Сибири, но и России в целом, с полной реконструкцией поля литературных отношений со столицами и соседними регионами – задача масштабная, требующая долговременных усилий. Это позволит показать значимость «томского текста» в русской литературе, восполнить многие лакуны в жизни и деятельности литераторов, связанных с Томском, и создать основу для развития историко-литературных исследований, важных для регионального самосознания и укрепления местной идентичности.

Современное российское сибиреведение, включающее в себя и томский материал, разнообразно в исследовательских подходах. В нем соседствуют работы, опирающиеся на концепции «локального текста», геопоэтики, «областных гнезд», на методологии мультикультурного и постколониального анализа. Подобная плюралистичность пришла на смену первому масштабному опыту концептуализации, предпринятому в «Очерках русской литературы Сибири» (1982) [2] и «Истории русской литературной критики Сибири» (1989) [3]. Свой вклад в эти исследования внесли томские ученые – Ф.З. Канунова, А.С. Янушкевич, О.Б. Лебедева, А.П. Казаркин. Культурной и методологической предпосылкой здесь выступило представление о Сибири как специфическом регионе, сформированное и укрепившееся в том или ином виде в массовом сознании с подачи областников XIX в. Основатели областничества, прежде всего Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, видели в Сибири огромное по масштабам, но внутренне единое социально-экономическое и культурное пространство, для которого местные различия имеют факультативный характер.

В 1990–2010-е гг. краеведческие разыскания, опиравшиеся на предшествующий опыт ученых-энтузиастов и связанные с отдельными городами (Иркутск, Красноярск, Томск, Тобольск, Тюмень, Бийск, Новосибирск) или этническими территориями (Алтай, Гор-

¹ Особенно показателен в этом плане амбициозный проект академической «Истории литературы Урала» [1].

ный Алтай, Якутия, Бурятия), получили новый импульс. С точки зрения некоторых критиков, это ознаменовало размывание сибирской идентичности: «Сейчас бросается в глаза разрушение общесибирского самосознания, – писал, в частности, А.П. Казаркин. – Часть замещает целое: иркутяне, омичи и красноярцы – все пишут только о «своих». Уже изданы книги по истории и литературе Кузбасса, Алтая, Тюменской области – вне связи с большой Сибирью» [4. С. 32]. Между тем, думается, большее внимание к отдельным локусам – явление вполне естественное и отражающее усложнение и самого литературного процесса, и его понимания в науке о литературе, когда Сибирь предстает не просто интегральным культурным конструктом, но системой местных различий, пульсацией литературных центров. Это не отменяет генетических связей с областнической сибирской концепцией, регулярно актуализируемых в сборниках и монографиях последних десятилетий, в том числе изданных в Томске [5–7].

В современном ее литературоведческом бытовании, как справедливо констатировал К.В. Анисимов, доминируют два подхода: «Первый <...> продемонстрировал в 2002 г. В.И. Тюпа, охарактеризовавший комплекс сибирских мифологем в классических произведениях литературы XIX в. как трансформацию архетипов инициационной обрядности [8]. Другой ракурс проблемы – понимание сибирского текста как аутентичной локальной словесности, катализатором к формированию которой служит территориальная идентичность <...> [9, 10]. Обе точки зрения являются взаимодополняющими – в соответствии с логикой самого материала, который представляет собой, с одной стороны, огромный массив текстов “о Сибири” <...> а с другой – опыт становления сначала местной рукописной, а затем и литературной в собственном смысле традиций» [11. С. 3].

Имагологическое наполнение и региональная идентичность сохраняют свою значимость как два основных ориентира в изучении отдельных сибирских локусов. Истоком своим оба подхода имеют методологии краеведческих изучений, сформировавшиеся еще в 1920-е гг., в частности концепцию Н.К. Пиксанова, обретшую итоговый вид в книге «Областные культурные гнезда» (1928) [12]. Ученый наметил возможность говорить о русской литературе не только как столичной, ассоциируемой с Санкт-Петербургом и Москвой, но и как имеющей территориальные особенности в виде местных писа-

тельских сообществ, сохранявших устойчивость и воспроизводимость: «определенный круг деятелей, постоянная деятельность и выдвижение питомцев» [12. С. 62–63]. Главным предметом изучения здесь становилась преимущественно биографическая локализация, когда тот или иной пункт – «усадебный», «провинциальный», «столичный» – выступал долговременной точкой притяжения и местом коммуникации ряда литераторов. Н.П. Анциферов, чья концепция складывалась параллельно пиксановской, переместил сферу внимания на тематические комплексы, сопровождающие репрезентацию определенного топоса (города) и особенно устойчивые у круга биографически связанных с ним писателей [13, 14]. Из установок этих ученых выросла программа сибиреведческих исследований М.К. Азадовского 1930-х гг., нацеленная на выделение в русской литературе не просто местной тематики или биографических свидетельств, но сознательного конструирования литераторами культурного поля Сибири. Концепция М.К. Азадовского получила последовательное воплощение в «Очерках русской литературы Сибири» (1982).

Легитимации и широкому распространению данной методологии на сибирский материал дал толчок комплекс новых идей, связанных, прежде всего, с экспансией концепции «локального текста» В.Н. Топорова и Ю.М. Лотмана. Созданная в 1980-е гг. и соединившая на семиотической основе историко-культурный и поэтологический подходы к изучению столичной топографии, она быстро была спроецирована как на провинциальные локусы – Архангельска, Петрозаводска, Челябинска, Перми, Старой Руссы, Соловков и др., так и на региональную специфику Крыма, Кавказа, Урала, Прибалтики, Украины и т. д. (см. опыт подведения некоторых итогов в кн. [15]). По отношению к Сибири эта концепция пока применяется преимущественно интегративно – в виде постулирования сибирского текста русской словесности, хотя настойчивые усилия прикладываются, в частности, к разработке отдельного алтайского текста [16, 17]. Литературная семиотика городов и урочищ Сибири представлена на данный момент лишь отдельными опытами. Тем не менее наличие и увеличение количества подобных работ – явление симптоматическое и отражающее усложнившуюся в советский и постсоветский период литературную символизацию территорий.

К сожалению, Томск, имея реальные к тому предпосылки, как средоточие особого локального текста до настоящего времени фак-

тически еще не описан. Основным препятствием здесь служит, думается, малое внимание к специфическим мифологемам, устойчиво сопровождающим репрезентации города и выделяющим его на ментальной карте региона и страны в целом. Они кристаллизуются в российском и местном культурном сознании достаточно поздно – к концу XIX в. – и получают свое основное развитие уже в советский период. Возможно, именно историческая близость не позволяет пока в полной мере почувствовать мифогенный характер ряда образов и мотивов, центрирующих томский текст русской литературы, далеко не столь яркий как столичный и требующий большей тонкости для его экспликации.

В исследованиях последних лет, что отражает актуальные тенденции социокультурного позиционирования города, была намечена роль университетской семантики, воплощенной в метафоре «Сибирские Афины» и ставшей, по определению З.И. Резановой, «базовым мифом» как для репрезентации Томска в русской литературе в целом, так и для семиотического структурирования городского культурного пространства [18–20]. Основание (1878) и открытие (1888) первого за Уралом университета резко выделило Томск среди сибирских городов, выступило важнейшей вехой для регионального самосознания и определило восприятие локуса внешними реципиентами. Для местной культурной элиты, и разделявшей, и не разделявшей идеи областничества, университет мыслился воплощением цивилизационного прогресса, что позволяло внести в концептосферу и мифологию Сибири с ее мотивами природного богатства, сурового климата, первозданности, фронтирности, места каторги и ссылки, смерти и воскресения – новый сюжет интеллектуального освоения, концентрации духовных сил. Использованное впервые князем К.А. Вяземским в 1891 г. уподобление Томска Афинам, касавшееся только топографии города (см. подробнее [20. С. 149–150]), оказалось органичным метафорическим воплощением данной семантики и неразделимо срастило общесибирское начало – онтологическое (природа), историко-социальное (каторга и ссылка) – и местную специфику (университетское культуртрегерство). В советскую эпоху с ее пафосом пересоздания мира и рождения нового человека подобный мифолого-метафорический комплекс оказался не менее востребован, что помогло сохранить стремительно провинциализирующемуся городу самоидентичность и культурную узнаваемость. Бытование томской университетской мифологии в созна-

нии и текстах литераторов общерусского и локального масштабов от А.П. Чехова и Н.И. Наумова до И.Г. Эренбурга и В.Д. Колупаева еще только начало осознаться как перспективная сфера изучения, но значение ее чрезвычайно велико.

Вторая мифологема, более узкая по своим масштабам, но также ставшая культурным символом и литературным репрезентантом Томска, имеет иную природу.

Это загадка старца Федора Кузьмича, проводшего последние 6 лет своей жизни (1858–1864) в Томске, здесь умершего, похороненного в ограде Богородице-Алексеевского монастыря и ставшего местночтимым святым Феодором Томским (канонизирован в 1984 г.). Сложившаяся вокруг него легенда об удалившемся в Сибирь и обретшем новую судьбу императоре Александре I (оставим без обсуждения ее достоверность) породила обширный круг литературных текстов от «Сказания о жизни и подвигах раба Божия Федора Кузьмича» Е. Захарова (1892) до произведений Л. Толстого, А. Белого, Д. Андреева, Д. Самойлова, Т. Толстой, С. Заплавного (см. их комплексный анализ [21]). Знаменательно, что, получив мощный интерпретационный заряд в духовно-религиозных поисках Серебряного века, она не умерла и в советский период. По своей семантике эта легенда соответствовала сложившемуся в русской классической литературе метасюжету о Сибири как месте символической смерти, покаяния и воскресения, но местом ее локализации явился именно Томск. К сожалению, эта городская составляющая до настоящего времени не получила еще должного литературоведческого осмысления, необходимым контекстом которого, думается, было активное культурное конструирование, ведомое местной элитой.

Примечательно, что модернизационная («Сибирские Афины») и традиционалистская (старец Федор) мифологемы, намечающие границы томского локального текста русской литературы, родились фактически одновременно – в 1891 и 1892 гг., когда город стал одним из важнейших литературных центров Сибири, средоточием областничества, региональной журнальной жизни, книгоиздания. «Изобретение традиции», перспективное и ретроспективное, но неизменно связанное с Томском, отвечало как умонастроению томской интеллигенции, заинтересованной в выдвижении локальной символики, так и культурным запросам столиц, ищущих интегрирующие национальные сюжеты – секулярно-прогрессистские и религиозно-

мистические. Не окажись Томск к концу XIX в. заметным на культурной карте страны, возможно, не были бы замечены в общероссийском масштабе и связанные с ним сюжеты.

Безусловно, в структуру томского локального текста вошли и иные, немифологические, мотивы, производные, как правило, сибирской имагологии, но обретшие индивидуальную модификацию. Среди них томская ссылка и каторга, навсегда оставившие свой след в топографии города в виде Московского и Иркутского тракта, двух «ворот» каторжного Сибирского тракта. Тюремь, каторжные и ссыльные поселения – приметы многих сибирских городов, Тобольска, Омска, Красноярска или Иркутска, запечатленные в том числе в произведениях эпохальных, вроде «Записок из мертвого дома» Ф.М. Достоевского, однако Томск здесь выделяется обилием описаний. Редкостная концентрация талантливых литераторов, ссыльных, проезжих или сознательно выбравших город местом жизни, обязательно что-либо написавших о Томской пересыльной тюрьме или местной ссылке, делала этот пласт локального текста континуальным и плотно насыщенным, не распадающимся на отдельные зарисовки. От вольнодумца А.Н. Радищева к декабристу Г.С. Батенькову, петрашевцу Ф. Толлю, прародителю русского анархизма М.А. Бакунину, народникам В.Г. Короленко, Г.И. Успенскому, Ф.В. Волховскому, американскому путешественнику Дж. Кеннану, деятелям «Молодой Сибири» тянется нить в сталинскую эпоху – к судьбам и произведениям Н.А. Клюева, Н.Р. Эрдмана, Ф.И. Тихменева – и в «мемориальную» томскую литературу второй половины XX в., к Л.А. Гартунгу, В.Н. Макшееву, Ю.М. Варшаверу (Щеглову).

К сожалению, и тюремно-каторжная составляющая пока не получила связного осмысления в составе томской имагологии, оставаясь приметой творчества и биографии отдельных писателей. Между тем именно в соседстве с другими мотивами, в первую очередь университетским контекстом, мифологемой «Сибирских Афин», томским «золотым» периодом областничества 1880–1910-х гг., она приобретает уникальную семантику перехода от каторжной колонизации Сибири к ее культуртрегерскому освоению и интеграции – в трагическом единстве общероссийской судьбы, особенно пронзительном в 1920–1950-е гг. Интеллигент с каторжными корнями (в том числе уголовными, как В.А. Долгоруков или В.П. Картамышев) – социальный тип и литературный образ, пожалуй, ранее всего заявивший о себе именно в Томске, где культурная среда была наиболее насыщена.

Внимательное изучение позволит реконструировать и другие имагологические компоненты томского текста, образующие, с нашей точки зрения, образно-смысловое единство. Они, может быть, в меньшей степени актуальны как репрезентанты города для общероссийской аудитории, писательской и читательской, но погружают заглавную томскую мифологию и тематику в плотный порождающий контекст, наиболее отчетливый для обитателей, постоянных или временных, данного городского пространства.

Прежде всего, это ландшафтное окружение и топография. Так, расположение города на холмах подвигло князя К.А. Вяземского в 1891 г. на уподобление его Афинам, что породило центральную мифологему томского локального текста. Через десятилетие, к началу XX в., топография города оказалась способна генерировать уже детализированные литературные образы в «Томских трущобах» и продолжающих их романах В.В. Курицына, заимствующих тип хронотопа из французских (Э. Сю) и русских (В.В. Крестовский) претекстов, но использующих сугубо местные реалии в виде четко опознаваемых районов, улиц, переулков, конкретных домов. Туземные топографические легенды (Ушайка, Басандайка, камень Тояна и т.п.)¹ в томском литературном тексте органично соединились с биографическими преданиями о резиденциях губернаторов (Д.В. Илличевский), дачах купцов (С.Е. Сосунин), проектах культурных деятелей (Г.С. Батеньков, П.И. Макушин), с храмовой (Богородице-Алексиевский монастырь, разрушенный Троицкий собор, Красная мечеть и др.) и университетской (роща, главный корпус, научная библиотека) пространственной символикой, тюремно-каторжными реалиями, некрополями [23] и местами памяти в виде площадей (Ново-Соборная), садов (Лагерный сад, Буфф сад) и памятников (П.И. Макушину, Г.С. Батенькову, Г.Н. Потанину, А.П. Чехову).

Реконструкция поля их литературных отражений в произведениях локального и общероссийского масштаба – отдельная большая задача, мало разработанная и неразрывно связанная, в другом плане, с осмыслением исторического опыта города, спектра сюжетов и персонажей, репрезентирующих Томск и определяющих его человеческий облик, художественную антропологию. Этот содержательный пласт, безусловно, шире главных мифологем и испытал сильнейшее воздействие идейных установок той или иной эпохи.

¹ См. опыт их литературной обработки у С.А. Заплавного [22].

Так, Томск в период выделения и становления своего литературного текста (последние десятилетия XIX – начало XX в.¹) предстает в художественных произведениях, публицистике и журнальных материалах городом прежде всего настоящего. В разрабатываемую на томском материале пеструю художественную антропологию сибирской провинции, значимую как для приезжих (В.Г. Короленко, Г.И. Успенский, К.М. Станюкович, А.П. Чехов), так и для региональных авторов (Н.И. Наумов, В.П. Картамышев, В.А. Долгоруков), особый акцент внесло областничество с его идеями личности, специфичности местных условий, требующими демонстрации, осознания и уважения со стороны столиц. Предметом презентации в результате становились актуальные события и социальные типы, демонстрирующие модернизационные возможности города в экономике, социальной жизни и культуре, и препятствия на пути их реализации: судьбы и нравы крестьянских переселенцев, в том числе староверов, ссыльно-каторжная и криминальная среда, жизнь купечества, городские администраторы и растущая интеллигенция, профессура и студенчество². В произведениях популярного характера, заметим, эта социальная антропология являла себя наиболее наглядно и, как в романах В.В. Курицына, могла распадаться на отдельные пласты – купеческо-криминально-чиновнический мир («Томские трущобы», «Человек в маске» и др.) и мир политической ссылки, подполья, радикальной интеллигенции (замысел и начало романа «В зареве пожара» о томских событиях 1905 г.).

В послереволюционный период антропология томского локального текста существенно изменилась, расслоившись на компонент исторический и современный. Старый Томск с его, как того требовали каноны соцреализма, противостоянием прогрессивно-революционных сил и реакционного купеческо-чиновничьего мира мог вы-

¹ В имагологическом плане явно неоцененным источником, демонстрирующим слабые стороны томского текста, как они виделись современниками, является сборник «Город Томск» (1912) [24]. В нем был предпринят первый опыт описания истории и мифологии города, персонажей культового канона, культурной топографии и т.п.

² Как справедливо подчеркнула Н.В. Жиликова применительно к установкам журналистики, «“сибирская тема” в изданиях Томска развивалась в нескольких направлениях: это прежде всего демонстрация условий, в которых живет сибиряк, предъявление фактов начальственного произвола, борьбы со стихией, положения сибирских инородцев; описание природных богатств и своеобразия сибирских народностей; эстетическое воспитание сибиряков на базе их приобщения к общемировым и общерусским культурным ценностям; требование применений к Сибири законов, действовавших в Европейской России, – введения земства, суда присяжных, реформы налоговой системы и т.д.» [25. С. 430].

ступать только предметом дистанцированного изображения («Последние дни его превосходительства» В.М. Бахметьева, сказы А.А. Мисюрева, более поздние «Нарымская повесть» И.К. Авраменко, «Заре навстречу» В.М. Кожевникова, романы Г.М., Ф.М. и И.М. Марковых и т.п.), а новый Томск, до поры не затронутый индустриализацией, представал городом студенчества, профессуры, интеллигенции – «кузницей кадров», как его описали А.В. Луначарский и И.Г. Эренбург. К сожалению, аутентичные зарисовки томской жизни послереволюционной и сталинской эпохи с ее сюжетами и персонажами (старая и новая интеллигенция, ссыльные и спецпереселенцы, советская номенклатура) известны нам в очень ограниченном объеме – в основном через эгодокументы писателей: Н.А. Клюева, Н.Р. Эрдмана, «В своем углу» С.Н. Дурылина, посмертно изданную «Вторую колею» Ф.И. Тихменева, ретроспективную «Нарымскую хронику» В.Н. Макшеева.

В антропологии томского локального текста последнего полувека постепенно ослабевает значимость модернизаторского посыла и акцентировка определенного образа будущего, свойственные и областнической, и советской программе. Последним модернизационным всплеском явилась хозяйственно-административная деятельность Е.К. Лигачева 1965–1983 гг., результатом которой стало добавление к палитре региональной словесности производственной тематики с ее набором сюжетов и социальных типажей – управленец, инженер, рабочий-вахтовик и т.п. (Г.М. Марков, В.М. Кожевников, В.А. Колыхалов, серия коллективных книг 1975–1980 гг. «Стрежевой», «Трудный колос», «Тажная новь», «Любимый город», «Пробуждение глубины»).

В условиях более свободной самопрезентации образ региона усложнился, испытав влияние, свойственное русской литературе 1960–1980-х гг. в целом, почвеннических установок, обращавших к поискам истоков – исторических, национальных, социальных. Их воплощением явилась в том числе и Сибирь, причем в случае Томской области не только крестьянская (В.В. Липатов), но и связанная с коренными народами («Из племени кедра», «Югана» А.Г. Шелудякова), с жизнью рядовых людей поселков и провинциальных городков и городов – библиотекарей, учителей, служащих и рабочих, пенсионеров (Л.А. Гартунг, М.Л. Халфина, В.М. Макшеев, С.А. Заплавный, Б.Н. Климычев, В.А. Колыхалов и др.). В этой человеческой панораме переплелись аллюзивные знаки и отголоски истории

ческих испытаний (гражданская война, репрессии, спецпереселения), суровой природы, не слишком устроенного быта и социальных условий, рефлексии провинциальности, объединенные общим пафосом «нормальности», свойственным позднесоветскому этосу. В постперестроечной томской литературе почвеннический импульс перенесся из сферы настоящего в реконструкцию прошлого города, вызвав всплеск «мемориальной» и документально-биографической словесности, исторической и историко-мифологической романистики (В.Н. Макшеев, В.М. Костин, С.А. Заплавный, Б.Н. Климычев, Г.И. Климовская). Современный Томск в прозе и поэзии нового поколения предстает как палимпсест, пространство старых и новых мифологем, модернизаторских и ретроспективных, в котором пытаются разрешить свои экзистенциальные проблемы обитатель российской провинции.

Еще одной методологической новацией, позволившей в последнюю четверть века существенно углубить региональные литературные изучения, явилась пришедшая из психологии и социологии теория идентичности, сосредоточенная на экспликации комплекса представлений и ориентаций, скрепляющих те или иные сообщества, в данном случае территориальные. Хотя сама категория региональной идентичности разработана далеко не достаточно и продолжает быть предметом противоречивых суждений [26–28], ее применение придало иной вектор литературной регионалистике, преодолевшей внутренние ограничения краеведческого пиксановского подхода с его нацеленностью на описание «областных гнезд» как эмпирических общностей, биографических связей местных литераторов. В орбиту изучения вошли практики культурного конструирования региональных сообществ, как стихийно складывающиеся, так и программные, включая институциональные инструменты их реализации в определенных сферах литературного процесса – в виде писательских и читательских объединений, литературной критики, журнальных органов, книгоиздательских стратегий, публичных библиотек.

В рамках данной методологии исследователю томской литературной идентичности приходится столкнуться с существенной проблемой, отразившейся и в истории изучения местной литературной жизни. Несмотря на то, что Томск уже в последней трети XIX в. стал средоточием регионального литературного процесса в плане кон-

центрации писательских сил, журналистики, книгоиздания, а в конце столетия начал формироваться его локальный текст, в идентификационном плане, находясь в мощном поле областнической идеологии, город представлялся лишь репрезентацией общесибирской культуры и ее самосознания. О «томскости» в ее литературном проявлении здесь возможно говорить скорее как об одном из элементов или уровней сибирской идентичности. Только когда к 1930-м гг. областничество было окончательно задавлено, на фоне падающей интенсивности литературного процесса в середине XX в. начали формироваться локальные идентичности отдельных сибирских регионов, что проявилось в становлении местных краеведческих штудий, в собирании, по пиксановской модели, биографических свидетельств о писателях той или иной области или города. Орудием институализации этого процесса стало создание региональных отделений Союза писателей СССР, интенсивно проходившее в 1950–1970-е гг. В частности, томская писательская организация была создана в 1963 г. Степень влиятельности и содержательное наполнение местных идентичностей, безусловно, изменялись на протяжении последнего полувека, но даже глубокие социокультурные изменения постсоветского периода в большинстве случаев не привели к их распаду. Более того, в последнее 10–15-летие они стали осознаваться как специфический культурный ресурс, средоточие символического капитала территории, нуждающегося в культивировании, пропаганде, разработке местного канона.

Изучение томской литературной идентичности, ее генезиса, статуса и динамики в определенные исторические периоды пока не выделилось в самостоятельную сферу, растворяясь либо в сибиреведческих исследованиях в целом, либо в разысканиях, касающихся местного литературного процесса и его отдельных участников. В этом плане можно, очевидно, говорить о методологическом запаздывании, оперировании традиционным краеведческим аппаратом, что выражается в отсутствии разработанной концепции томской литературной жизни XIX и особенно XX в. Здесь можно назвать только два опыта. Первый – статья А.П. Казаркина «Вехи литературной жизни Томска» [4], предвещающая антологию произведений современных томских писателей и сжато характеризующая основные этапы развития региональной литературы: областническая словесность и журналистика второй половины XIX в., «Молодая Сибирь» начала XIX в., писательские фигуры сталинской эпохи, авторы 1960–1990-х гг.

Томская литературная история здесь выстраивается на фоне истории сибирской и общерусской литературы, задающих основную канву, и предстает в качестве участия или включения в них писателей, объединенных Томском как местом рождения, дебюта, этапа жизни и творчества или всей биографии. Второй, совсем недавний опыт – книга «Хроника литературной жизни Томской области», составленная С.А. Заплавным и А.В. Яковенко [29], во многом восполняет лакуны, связанные с собственно литературной жизнью, литературным процессом региона, его организаторами, деятелями, ключевыми событиями, писательскими объединениями, и дает хорошую фактографическую основу для реконструкции институционального поля местной словесности. Очевидно, концептуально выстроенная и детализированная история литературы Томска может сложиться только при условии координированных изучений региональной идентичности, художественно-биографического материала и литературных институтов.

Наиболее успешно пока разрабатываются, пожалуй, биографические аспекты, начало изучения которых было заложено еще в первые десятилетия XX в. Так, уже в книге «Город Томск» (1912) [24] мы находим очерки жизни нескольких литературных деятелей, как-либо связанных с Томском и внесших свой вклад в его культурную жизнь, – Г.С. Батенькова, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Н.И. Наумова, И.А. Кущевского. Примечательно, что контекстом их биографий выступили в книге обзоры томской журналистики (В.М. Крутовский), театральной жизни (Г.А. Вяткин) и искусства (А.В. Адрианов), а также культурно-просветительских организаций (Г.Н. Потанин). В послереволюционные годы томское краеведение потеряло по воле обстоятельств свою цельность и оказалось растворено в сибиреведческих разысканиях, однако соответствующий биографический материал нашел отражение в статьях «Сибирской советской энциклопедии» (1929–1932), не доведенной, к сожалению, до пятого тома, где должен был фигурировать и Томск. Связанные с городской литературной жизнью мемуарные и критические материалы периодически появлялись в 1920–1950-е гг. на страницах «Сибирских огней» [30].

Самостоятельные краеведческие штудии возобновились в Томске вместе с активизацией местной литературной жизни и началом формирования локальной идентичности, позволившей осознать особую ценность связанных с городом свидетельств и материалов. Они

начали публиковаться с 1945 г. в выпусках альманаха «Томск», издание которого продолжилось до 1958 г. (статьи об А.Н. Радищеве, истории университета, Н.И. Наумове, В.Я. Шишкове). Академический характер краеведческие разыскания приобрели благодаря сборнику 1954 г. «Русские писатели в Томске» [31], представлявшему собой опыт краткого обзора биографических материалов о литераторах, посещавших город и / или участвовавших в местных газетах и журналах (А.Н. Радищев, В.Г. Короленко, Г.И. Успенский, К.М. Станюкович, Н.И. Наумов, А.П. Чехов, В.Я. Шишков, В.М. Бахметьев, Г.М. Марков). С этого момента, пожалуй, можно вести речь о формировании регионального литературного канона. Итоговый свой вид в части, относящейся к классическому периоду, он нашел в коллективной монографии 1996 г. с тем же названием «Русские писатели в Томске» [32], подготовленной силами кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета (ТГУ) и существенно расширившей историко-литературный материал обращением к томским эпизодам биографии репрезентативных писателей XVII–XIX вв. (протопоп Аввакум, А.Н. Радищев, Г.С. Батеньков, лицеисты пушкинского выпуска, Ф. Толль, К.М. Станюкович, В.Г. Короленко, Г.И. Успенский, Ф.В. Волховский, Н.И. Наумов, А.П. Чехов). Библиография созданных за более чем 65 лет статей и монографий об этих сюжетах велика и продолжает расти, подвигая на издание сводов материала и указателей, посвященных томским связям А.П. Чехова [33].

Новым важным явлением здесь выступила обозначившаяся в последние годы тенденция к обогащению канона фигурами литераторов локального масштаба. Под эгидой Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина усилиями В.М. Костина, А.В. Яковенко, Н.В. Жиликовой и др. была выпущена серия книг, публикующих избранное, рассеянное, как правило, в периодике, наследие томских авторов XIX в. (П.П. Аршаулов, В.А. Долгоруков, В.П. Картамышев, В.В. Курицын) в сопровождении литературоведческих обзоров их творчества, биографии, издательско-журнальной деятельности [34–37]. Еще одним важным элементом в выстраивании литературного канона стала публикация Томской писательской организацией книжной серии «Томская классика», предлагающей новые издания наиболее репрезентативных произведений, связанных с городом биографически или тематиче-

ски. Из авторов XIX в. в ее рамках на данный момент изданы романы и рассказы И.А. Кушевского, К.М. Станюковича и Н.И. Наумова.

Более сложным путем протекало осознание и выявление важнейших участников литературной жизни Томска XX в. Так, лучшая часть писателей, заявивших о себе в 1900–1910-е и в 1920–1930-е гг., по разным причинам была вычеркнута из официальной истории советской литературы, оказавшись в эмиграции (Г.Д. Гребенщиков), подвергшись репрессиям (Г.А. Вяткин, Ф.И. Тихменев, И.Г. Гольдберг), будучи ссыльными обитателями города (Н.А. Клюев, Н.Р. Эрдман). Из оставшихся значительными фигурами были только В.Я. Шишков, активный деятель «Молодой Сибири», и проводившие часть жизни в Томске писатели-фантасты В.А. Обручев и А.П. Казанцев. Они удостоились внимания достаточно своевременно, остальные вошли в число «возвращенных имен» русской, сибирской и томской словесности только в 1980–2000-е гг.

Подобные разрывы не благоприятствовали выявлению историко-литературной преемственности и заставляли вести отсчет новой региональной литературы едва ли не с чистого листа, причем принимая в расчет конъюнктуру исходящего из столицы официального признания, благодаря чему «классиками» быстро были объявлены томики по происхождению Г.М. Марков, Г.Е. Николаева, В.М. Кожевников. Закономерно, что первые опыты имманентного выстраивания пантеона современных авторов появились только в середине 1970-х гг. в книге аспирантки ТГУ Т.А. Заплавной (Каленовой) «Томские писатели» с краткими биографическими очерками 29 местных литераторов [38].

По-настоящему же пора осмысления и систематизации биографического и критического материала пришла только в 2000-е гг., когда символический капитал «лауреатов» уже не заслонял определившиеся благодаря читательскому признанию и мнению критики репутации наиболее примечательных местных писателей, включая «возвращенные имена». Субъективно-мемориальным опытом такого рода явилась, например, книга Р.И. Колесниковой, исследователя и публикатора наследия томских литераторов, «В книге судеб ошибок не бывает» (2005, 2007) с написанными на основе разысканий и во многом личных воспоминаний очерками о В.А. Обручеве, В.Я. Шишкове, Ф.И. Тихменеве, А.П. Казанцеве, В.И. Казанцеве, Т.А. Каленовой, С.А. Заплавном [39]. Важными шагами в этом направлении стало издание с 2004 г. под эгидой Томской областной

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина комплекса биобиблиографических указателей из серии «Жизнь замечательных томичей», создающих необходимые предпосылки для целостного осмысления жизни и творчества писателей XX в. – В.Я. Шишкова, В.Н. Макшеева, Э.В. Бурмакина, В.Д. Колупаева, М.Л. Халфиной, Т.А. Каленовой, Г.Е. Николаевой, В.В. Липатова, Г.М. Маркова [40–48]. Их органично дополняют переиздания в уже упомянутой книжной серии «Томская классика» наиболее известных произведений Г.Д. Гребенщикова, В.Я. Шишкова, В.А. Обручева, Н.А. Клюева, Ф.И. Тихменёва, Г.М. Маркова, М.Л. Халфиной, В.В. Липатова, Вл.А. Колыхалова, В.Д. Колупаева, Б.Н. Климычева. Современную панораму литературной жизни Томска представляет антология «Томские писатели», где подборки произведений сопровождаются краткими биографическими справками [49]. Ориентации читателей и накоплению литературно-биографических сведений служат и электронные ресурсы энциклопедически-краеведческого характера – «Земля Томская: краеведческий портал» (<http://kraeved.lib.tomsk.ru>) и «Литературный Томск» (<http://lit.lib.tomsk.ru>).

Выстраиванию этого большого материала в связную историю региональной литературы препятствует, думается, малая пока интенсивность институциональных изучений и недостаточность их учета в реконструировании авторских биографий. Так, существенной и очевидной проблемой является внутренняя неоднородность томского литературного канона, который формируют как временные или вовсе эпизодические участники литературного процесса, проводившие в городе лишь отдельные годы, а то и дни, так и фигуры постоянные. Эта черта присуща сибирской (и любой областной) литературе в целом, отмеченной постоянными перемещениями авторов между столицей и провинцией и внутри региона (Томск, Иркутск, Барнаул, Омск и т.п.). За ними стоят не только биографические мотивации, но и процессы импорта-экспорта определенных моделей культурного поведения (габитусов, используя терминологию П. Бурдьё) и художественного мышления. С подобной точки зрения томскую литературную жизнь важно осмыслить как динамику типов коммуникации, формирующих ее идеологическую и эстетическую направленность, что позволит объяснить механизмы подключения / ухода тех или иных литераторов к локальному литературному «полю».

Так, до 1880-х гг. о Томске возможно говорить лишь как о месте создания отдельных произведений и пребывания некоторых писате-

лей (А.Н. Радищев, Г.С. Батеньков, лицеисты пушкинского выпуска, Ф. Толль), не связанных друг с другом в плане литературных коммуникаций, т.е. как о месте импорта готовых социохудожественных моделей, транслируемых из столицы. Случай И.А. Кушевского, первого томича, рискнувшего стать профессиональным писателем, показывает, что возможность участия в литературной жизни предоставляла только столица. Формирование местной литературной среды происходит лишь тогда, когда появляется самостоятельная площадка для коммуникации в виде журналистики («Сибирская газета», «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь»). Эти издания не имели специальной литературной цели и воплощали прежде всего общественно-политическую программу [25], но позволяли писателям взаимодействовать, объединяться (областники vs антиобластники [50]), печатать произведения. Формат редакционной группы как основного литературного института подразумевал ситуативность и пестроту участников, в число которых свободно входили временные лица (К.М. Станюкович, В.Г. Короленко, Г.И. Успенский), надолго задержавшиеся в Томске (Ф.В. Волховский) или связанные с ним постоянно (Н.И. Наумов, В.А. Долгоруков, В.П. Картамышев). Это не отменяло импорта габитусов (народнические сценарии) и художественных (реализм с натуралистической окраской) моделей из столиц, но теперь они адаптировались к местным культурным условиям и читательским запросам.

Большей автономии литературного «поля» в начале XX в. способствовало возникновение нового института – дружеского общества, сложившегося вокруг Г.Н. Потанина и приобретшего благодаря собственному печатному органу, журналу «Молодая Сибирь», характер литературного объединения с достаточно стабильным составом, своей программой, эстетикой, скоординированной деятельностью. Вне связей с общественно-политической журналистикой и ее коммуникативными формами томская литература существовать еще не могла, даже романы, как в случае В.В. Курицына, наиболее плодотворного местного беллетриста, печатались на страницах газет. Представители «Молодой Сибири» (Г.Д. Гребенщиков, В.Я. Шишков, Г.А. Вяткин, И.Г. Гольдберг, А.Е. Новоселов) также были участниками «Сибирской жизни», «Сибирского вестника», «Сибирского наблюдателя» и других изданий, однако сценарии их поведения, идейные и художественные ориентиры, сплав традиционализма с модерными элементами уже не укладывались в рамки народниче-

ского культуртрегерства. Литература ими начинает осмысляться как самостоятельный источник «символического капитала», что подталкивало к изданию художественных сборников («Силуэты Томска», «Силуэты Сибири», «Первый литературный сборник сибиряков», «Второй литературный сборник сибиряков», «Северные зори» и др.) и авторских книг, взаимодействию со столичными писателями и журналами, к профессионализации.

Послереволюционные годы сломали наметившуюся коммуникативную модель, лишив Томск самостоятельного художественного книгоиздания и журналистики, без которых творчество отдельных писателей или деятельность литературных групп не могли быть представлены читателю. Это вызвало волну миграций, отъезда значительных литераторов в столицу или другие сибирские города, что коснулось и молодого поколения – А.П. Казанцев или Г.М. Марков, будучи уроженцами Томской области, свои дебюты 1930-х гг. осуществляют в Новосибирске, Омске, Москве. Нацеленность на экспорт литературных сил сочеталась с импортом соцреалистической эстетики и институциональных форм, калькированием столичных писательских объединений в виде томских отделений Пролеткульта или Сибирской ассоциации пролетарских писателей, которые, по сути, представляли собой литературные кружки, складывавшиеся вокруг талантливых организаторов (Ф.И. Тихменев, Г.Л. Поспелов, позднее Н.Ф. Бабушкин) и имевшие непрофессиональный характер.

Возрождение литературной жизни Томска происходило в рамках оригинальной советской системы работы с молодыми или начинающими писателями. Осуществленная в 1930-е гг. централизация лишила авторов иных каналов институционального утверждения кроме жестко регламентированного Союза писателей, что препятствовало обновлению поколений. Эта проблема была осознана в послевоенные годы, знаком чего стало в 1947 г. I Всесоюзное совещание молодых писателей (проводилось до 1989 г.), а способом ее решения – либерализация и институализация самостоятельной литературной жизни. В насыщенной университетской среде Томска подобные кружки складываются в ТПУ («Молодые голоса»), ТГУ, а также в Северске («Березка»). В 1940–1950-е гг. они получили возможность региональной консолидации в рамках областных совещаний молодых литераторов, обретения регулярных печатных органов (альманах «Томск», молодежные страницы газеты «Красное знамя», «Молодой ленинец», университетские многотиражки) и

выходов в книгоиздание (Томское книжное издательство). В 1960-е гг. на фоне общей активизации литературной жизни, выразившейся, в частности, в бурном успехе городских Дней поэзии в ТПУ и ТГУ, оказалась возможна институализация уже профессиональной составляющей – в виде томского отделения Союза писателей, руководства кружками состоявшихся литераторов (В.И. Казанцев, позднее В.Д. Колупаев). Специфической чертой Томска в 1960–1980-е гг. стала осознанная поддержка местной властью писательской элиты, что позволило не только делегировать таланты в Москву (В.В. Липатов, В.И. Казанцев, А.Г. Шелудяков), но закреплять их в городе и находить каналы публикации в региональных и центральных издательствах и печатных органах («Молодая гвардия»). Это способствовало формированию – в определенных пределах – художественной общности томских литераторов, которую, вероятно, можно определить как почвенничество в его экзотизирующей и / или социально-бытовой, социально-психологической версии.

В последние десятилетия радикальных изменений институциональной системы томской литературной жизни не произошло, хотя существенно понизилась значимость расколовшейся писательской организации (отделение Союза писателей России и Союза российских писателей), увеличился поток авторской миграции, упала активность литературных кружков, исчезло профессиональное городское художественное книгоиздание (в 1995 г. ликвидировано Томское книжное издательство). Ослабление этих скреп приводит к большей атомизации, когда город на литературной карте Сибири или России представляют не столько писательские сообщества, сколько отдельные авторы, индивидуально находящие инструменты для выхода в широкое коммуникативное пространство – через современные институты национальных литературных конкурсов и премий, «толстые» журналы, книжные издательства и сети книгораспространения. Попытки создания их аналогов в Томске (премия В.Я. Шишкова, премия Н.А. Клюева, журналы и альманахи «Сибирские Афины», «Начало века», «Каменный мост») пока не имели громкого резонанса, оставаясь локальным явлением, но, вероятно, в нынешних условиях это единственный вариант преодоления провинциальности и привлечения к городу внимания национальной литературной аудитории.

Литература

1. *История литературы Урала. Конец XIV–XVIII в.* / гл. ред. В.В. Блажес, Е.К. Созина. М.: Языки славянской культуры, 2012. 608 с.
2. *Очерки русской литературы Сибири: в 2 т.* Новосибирск: Наука, 1982. Т. 1. 608 с.; Т. 2. 632 с.
3. *История русской литературной критики Сибири: проспект.* Новосибирск: Наука, 1989. 132 с.
4. *Казаркин А.П.* Вехи литературной жизни Томска // *Томские писатели.* Томск: Красное знамя, 2008. С. 7–33.
5. *Сибирский текст в русской культуре.* Томск: Сибирика, 2002. 271 с.
6. *Сибирь в контексте мировой культуры: Опыт самоописания.* Томск: Сибирика, 2003. 216 с.
7. *Сибирский текст в русской культуре.* Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. Вып. 2. 273 с.
8. *Тюпа В.И.* Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // *Сиб. филол. журн.* 2002. № 1. С. 27–35.
9. *Серебренников Н.В.* Опыт формирования областнической литературы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 307 с.
10. *Анисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 300 с.
11. *Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве.* Красноярск: СФУ, 2010. 234 с.
12. *Пиксанов Н.К.* Областные культурные гнезда: Историко-краеведный семинар. М.; Л.: Госиздат, 1928. 148 с.
13. *Анциферов Н.П.* Душа Петербурга. Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1922. 226 с.
14. *Анциферов Н.П.* Краеведный путь в исторической науке: (Историко-культурные ландшафты) // *Краеведение.* 1928. Т. 5, № 6. С. 321–328.
15. *Текст пространства: материалы к словарю.* Тверь: СФК-офис, 2014. 368 с.
16. *Алтайский текст в русской культуре.* Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002–2015. Вып. 1–6.
17. *Образ Алтая в русской литературе XIX – начала XX в.: антология: в 5 т.* Барнаул: Издательский дом «Барнаул», 2012.
18. *Резанова З.И.* Мифологема «Томск – Сибирские Афины» в коммуникативных тактиках публицистического дискурса (на материале еженедельной периодики г. Томска) // *Язык и культура.* 2010. № 1. С. 74–84.
19. *Ермоленкина Л.И.* Динамика мифологемы Сибирские Афины как отражение урбанистской идентичности // *Актуальный срез региональной картины мира: культурные концепты и неомифологемы.* Томск, 2011. С. 63–85.
20. *Суханов В.А., Щербинин А.И.* Жизнь и смерть «Сибирских Афин»: проблема жизненного цикла метафорического топонима в различных дискурсах XX – начала XXI в. // *Вестн. Том. гос. ун-та. Филология.* 2017. № 47. С. 149–170.
21. *Гайдукова Е.Б.* Сюжет о царе-старце в русской литературной традиции: на материале корпуса текстов о праведнике Федоре Кузьмиче: дис. ... канд. филол. наук. Красноярск, 2008. 215 с.
22. *Заплавный С.А.* Томские сказания. Томск: Красное знамя, 2007. 226 с.
23. *Томский литературный некрополь.* Томск: Красное знамя, 2013. 95 с.

24. *Город* Томск. Томск, 1912. 348 с.
25. *Жиякова Н.В.* Журналистика города Томска (XIX – начало XX века): становление и развитие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 446 с.
26. *Шматко Н.А., Кочанов Ю.Л.* Территориальная идентичность как предмет социологического исследования // Социс. 1998. № 4. С. 94–97.
27. *Смирнягин Л.В.* О региональной идентичности // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: в 10 т.: материалы 4-го Конвента Рос. ассоциации междунар. исследований. М., 2007. Т. 2. С. 81–107.
28. *Замятин Д.Н.* Сопространственность, территориальная идентичность и место: к пониманию политик постмодерна // АРКТИКА. XXI век. Гуманитарные науки. 2014. № 2 (3). С. 4–36.
29. *Хроника* литературной жизни Томской области / сост. С.А. Заплавный, А.В. Яковенко; ред.: С.С. Быкова, Л.В. Чередникова. Томск: Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, 2016. 166 с.
30. *Сибирские огни*: Указатель содержания. 1922–1964. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. 432 с.
31. *Русские писатели в Томске*: очерки: к 350-летию города Томска / ред. Н.Ф. Бабушкин. Томск: Обл. лит. объединение, 1954. 111 с.
32. *Русские писатели в Томске* / отв. ред. А.С. Янушкевич. Томск: Водолей, 1996. 192 с.
33. *Чехов и Томск* / сост. Э.К. Майданюк; ред. С.С. Быкова. Томск: Ветер, 2010. 286 с. Библиогр. указ.: с. 176–249.
34. *Петр Петрович Аршаулов*: сборник материалов / сост. В.М. Костин, А.В. Яковенко; ред. С.С. Быкова. Томск: Ветер, 2012. 204 с.
35. *Всеволод Алексеевич Долгоруков*: сборник материалов / сост. В.М. Костин, А.В. Яковенко; ред. С.С. Быкова. Томск: Ветер, 2013. 239 с.
36. *Василий Петрович Картамышев*: сборник материалов / сост. В.М. Костин, А.В. Яковенко; ред. С.С. Быкова. Томск: Ветер, 2014. 302 с.
37. *Валентин Владимирович Курицын (Не-Крестовский)*: сборник материалов / сост. А.В. Яковенко; ред.: С.С. Быкова, Л.В. Чередникова. Томск: Красное знамя, 2017. 240 с.
38. *Заплавная Т.А.* Томские писатели. Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. 125 с.
39. *Колесникова Р.И.* В книге судеб ошибок не бывает. Томск: ТГУ, 2005. 208 с.; 2-е изд. Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 2007. 269 с.
40. *Вячеслав Яковлевич Шишков*: биобиблиографический указатель (к 120-летию со дня рождения) / сост. А.В. Яковенко; общ. ред. С.С. Быкова. Томск: Star, 2008. 219 с.
41. *Вадим Николаевич Макшеев*: биобиблиогр. указ. / сост. И.В. Никиенко, А.В. Яковенко. Томск, 2004. 75 с.
42. *Эдуард Владимирович Бурмакин*: биобиблиогр. указ. / сост. А.В. Яковенко; общ. ред. С.С. Быкова. Томск: Star, 2008. 102 с.
43. *Виктор Дмитриевич Колупаев*: биобиблиогр. указ. / сост. и авт. предисл. А.В. Яковенко; ред. С.С. Быкова. Томск, 2005. 44 с.
44. *Георгий Моисеевич Марков*: биобиблиогр. указ. / сост. Л.С. Траксель, А.В. Яковенко; ред. С.С. Быкова. Томск, 2006. 248 с.
45. *Мария Леонтьевна Халфина*: биобиблиогр. указ. / сост. А.В. Яковенко; предисл. Л.Ф. Пичурина; ред. С.С. Быкова. Томск: Ветер, 2006. 63 с.

46. Галина Евгеньевна Николаева: (1911–1963): (библиогр. указ.) / сост. А.В. Яковенко; ред. С.С. Быкова; предисл. Л.Ф. Пичурина. Томск: Ветер, 2012. 133 с.
47. Виль Владимирович Липатов: (1927–1979): биобиблиогр. указ. / сост. А.В. Яковенко; под ред. С.С. Быкова. Томск: Томская полиграфическая компания, 2015. 133 с.
48. Тамара Александровна Каленова: биобиблиограф. указатель / сост. С.А. Заплавный, А.В. Яковенко; ред. С.С. Быкова. Томск, 2016. 144 с.
49. Томские писатели: литературно-художественный сборник. Томск: Красное знамя, 2008. 447 с.
50. Жиликова Н.В. Журналистика дореволюционной Томской губернии: идея общинничества. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. 289 с.

TOMSK IN RUSSIAN LITERATURE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESEARCH

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 36–61. DOI: 10.17223/24099554/8/3

Vitaly S. Kiselev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kv-uliss@mail.ru

Keywords: Siberian literature, literary regionalism, Tomsk, Tomsk local text, literary life of Tomsk.

The research is supported by Russian Foundation of Basic Research (RFBR) Grant No. 17-14-70002 a (p) “Russian writers in Tomsk: Tomsk local text and regional literary process”.

The article analyses the state of research of Tomsk as the centre of literary life. It identifies the main methodological tendencies of modern Siberian studies (a description of the Siberian text of Russian literature and the study of regional literary identity) and raises the question of their possible application to the Tomsk material.

An attempt was made to outline and describe the key components of the Tomsk local text, which began to take shape by the end of the 19th century and was mainly developed in the Soviet period. First of all, these are central mythologems which represent the modernising and traditionalist image of the city (the university myth of the “Siberian Athens” and the mystery of the elder Fyodor Kuzmich), as well as images of the Tomsk prison, penal servitude and exile. Further, it is the landscape and topography of Tomsk which turned out to be able to generate detailed literary images (*Tomskie trushchoby* [Tomsk Slums] by V.V. Kuritsyn) already in the beginning of the 20th century and have accumulated rich literary semantics over the century. Finally, this is a specific artistic anthropology which experienced the strongest influence of the ideological attitudes of this or that epoch: topical events and social types which demonstrate the city’s modernising possibilities in the literature of the late 19th and early 20th centuries, the characters of the old merchant-bureaucratic and new proletarian-university Tomsk in Soviet literature, the Pochvennichestvo human world of the late-Soviet Tomsk literature.

The second subject of the article is Tomsk literary identity. The study of its genesis, status and dynamics in certain historical periods has not yet emerged into an independent sphere being part of either Siberian studies in general or research on individual participants in the local literary process. In this regard, there is an obvious delay in methodology because research operates with the traditional regional studies apparatus, which is proved,

among other things, by having only one comprehensive review of the Tomsk literary life of the 19th and 20th centuries (*Vekhi literaturnoy zhizni Tomsk* [Milestones of the literary life of Tomsk] by A.P. Kazarkin). The most successful aspects being developed so far are biographical, but the conceptualised and detailed history of Tomsk literature can be formed only under coordinated studies of artistic and biographical material and literary institutions. The article offers a brief overview of the institutional history of Tomsk literature: journal communications and editorial groups at the end of the 19th century, the friendly society of G.N. Potanin and the professional literary association *Molodaya Sibir'* [Young Siberia] in the early 20th century, the levels of non-professional (literary circles) and professional (Tomsk branch of the Writers' Union) communications of the Soviet period, the experience of using modern literary institutions in the 1990s–2010s.

References

1. Blazhes, V.V. & Sozina, E.K. (eds) (2012) *Istoriya literatury Urala. Konets XIV–XVIII v.* [History of the literature of the Urals. The end of the 14th–18th centuries]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
2. Okladnikov, A.P. (ed.) *Ocherki russkoy literatury Sibiri: v 2 t.* [Essays on the Russian literature of Siberia: in 2 vols]. Novosibirsk: Nauka.
3. Yakimova, L.P. (ed.) (1989) *Istoriya russkoy literaturnoy kritiki Sibiri: prospekt* [History of Russian literary criticism of Siberia: a brochure]. Novosibirsk: Nauka.
4. Kazarkin, A.P. (2008) *Vekhi literaturnoy zhizni Tomsk* [Milestones of the literary life of Tomsk]. In: Kryukov, V. & Skarlygin, G. *Tomskie pisateli* [Tomsk writers]. Tomsk: Krasnoe znamya.
5. Kazarkin, A.P. (ed.) (2002) *Sibirskiy tekst v russkoy kul'ture* [Siberian text in Russian culture]. Tomsk: Izd-vo "Sibirika".
6. Kazarkin, A.P. (ed.) (2003) *Sibir' v kontekste mirovoy kul'tury. Opyt samoopisaniya* [Siberia in the context of world culture. Experience of self-description]. Tomsk: Izd-vo "Sibirika".
7. Kazarkin, A.P. & Serebrennikov, N.V. (eds) (2007) *Sibirskiy tekst v russkoy kul'ture* [Siberian text in Russian culture]. Vol. 2. Tomsk: Tomsk State University.
8. Tyupa, V.I. (2002) *Mifologema Sibiri: k voprosu o "sibirskom tekste" russkoy literatury* [Mythologem of Siberia: the issue of the "Siberian text" of Russian literature]. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 1. pp. 27–35.
9. Serebrennikov, N.V. (2004) *Opyt formirovaniya oblastnicheskoy literatury* [Experience in the formation of regional literature]. Tomsk: Tomsk State University.
10. Anisimov, K.V. (2005) *Problemy poetiki literatury Sibiri XIX – nachala XX veka: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional'noy literaturnoy traditsii* [Problems of the poetics of the literature of Siberia in the 19th – early 20th centuries: Features of the formation and development of the regional literary tradition]. Tomsk: Tomsk State University.
11. Anisimov, K.V. (ed.) (2010) *Sibirskiy tekst v natsional'nom syuzhetnom prostranstve* [The Siberian text in the national plot space]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
12. Pksanov, N.K. (1928) *Oblastnye kul'turnye gnezda: Istoriko-kraevednyy seminar* [Regional cultural clusters: Historical and regional study seminar]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izd-vo.

13. Antsiferov, N.P. (1922) *Dusha Peterburga* [The soul of Petersburg]. Petrograd: Brokgauz-Efron.
14. Antsiferov, N.P. (1928) Kraevednyy put' v istoricheskoy nauke. (Istoriko-kul'turnye landshafty) [Regional studies in historical science. (Historical and cultural landscapes)]. *Kraevedenie*. V:6. pp. 321–328.
15. Milyugina, E.G. & Stroganov, M.V. (2014) *Tekst prostranstva: materialy k slovaryu* [Text of space: materials for the dictionary]. Tver: SFK-ofis.
16. Chernyaeva, T.G. et al. (eds) *Altayskiy tekst v russkoy kul'ture* [The Altai text in Russian culture]. Vols 1–6. Barnaul: Altai State University.
17. Kulyapin, A.I. (ed.) (2012) *Obraz Altaya v russkoy literature XIX – nachala XX vv.: antologiya: v 5 t.* [The image of Altai in Russian literature of the 19th – early 20th centuries: an anthology: in 5 vols]. Barnaul: Izdatel'skiy dom "Barnaul".
18. Rezanova, Z.I. (2010) Mifologema "Toms – Sibirskie Afiny" v kommunikativnykh taktikakh publitsisticheskogo diskursa (na materiale ezhenedel'noy periodiki g. Tomsk) [Mythologem "Toms as Siberian Athens" in the communicative tactics of journalistic discourse (on the material of the weekly periodicals of Tomsk)]. *Yazyk i kul'tura – Language and Culture*. 1. pp. 74–84.
19. Ermolenkina, L.I. (2011) Dinamika mifologemy Sibirskie Afiny kak otrazhenie urbanistskoy identichnosti [Dynamics of the mythologem Siberian Athenes as a reflection of urban identity]. In: Orlove, O.V. et al. *Aktual'nyy srez regional'noy kartiny mira: kul'turnye kontsepty i neomifologemy* [The contemporary section of the regional picture of the world: cultural concepts and neomythologems]. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University. S.
20. Sukhanov, V.A. & Shcherbinin, A.I. (2017) Life and death of the "Siberian Athens": the problem of the life circle of the metaphorical toponym in the discourses of the 20th – early 21st centuries. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 47. pp. 149–170. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/47/11
21. Gaydukova, E.B. (2008) *Syuzhet o tsare-startse v russkoy literaturnoy traditsii: na materiale korpusa tekstov o pravednike Fedore Kuz'miche* [The plot of the old czar in the Russian literary tradition: on the material of the body of texts about the righteous Fyodor Kuzmich]. Philology Cand. Diss. Krasnoyarsk.
22. Zaplavnyy, S.A. (2007) *Tomskie skazaniya* [Tomsk legends]. Tomsk: Krasnoe znanya.
23. Nazarenko, T. (ed.) (2013) *Tomskiy literaturnyy nekropol'* [Tomsk literary necropolis]. Tomsk: Krasnoe znanya.
24. Siberian Press Association in Tomsk. (ed.) (1912) *Gorod Tomsk* [The city of Tomsk]. Tomsk: Izdanie Sibirskogo tovarishchestva pechatnogo dela v Tomske.
25. Zhilyakova, N.V. (2011) *Zhurnalistsika goroda Tomsk (XIX – nachalo XX veka): stanovlenie i razvitie* [Journalism of the city of Tomsk (19th – early 20th centuries): formation and development]. Tomsk: Tomsk State University.
26. Shmatko, N.A. & Kochanov, Yu.L. (1998) *Territorial'naya identichnost' kak predmet sotsiologicheskogo issledovaniya* [Territorial identity as a subject of sociological research]. *Sotsis – Social Studies*. 4. pp. 94–97.
27. Smirnyagin, L.V. (2007) [On regional identity]. *Prostranstvo i vremya v mirovoy politike i mezhdunarodnykh otnosheniyakh: V 10 t.* [Space and time in world politics and international relations: In 10 vols]. Proceedings of the 4 Convention of the Russian Asso-

ciation of International Research. Vol. 2. Moscow: MGIMO-Universitet. pp. 81–107. (In Russian).

28. Zamyatin, D.N. (2014) Soprostanstvennost', territorial'naya identichnost' i mesto: k ponimaniyu politik postmoderna [Co-spatiality, territorial identity and place: to the understanding of postmodern policies]. *ARKTIKA. XXI vek. Gumanitarnye nauki*. 2 (3). pp. 4–36.

29. Bykova, S.S. & Cherednikova, L.V. (eds) (2016) *Khronika literaturnoy zhizni Tomskoy oblasti* [Chronicle of the literary life of Tomsk Oblast]. Tomsk: Tomskaya oblastnaya universal'naya nauchnaya biblioteka im. A.S. Pushkina.

30. Soustina, A.F. & Suvorova, A.V. (1967) *Sibirskie ogni. Ukazatel' soderzhaniya. 1922–1964* [Sibirskie ogni: index of contents. 1922–1964]. Novosibirsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.

31. Babushkin, N.F. (ed.) (1954) *Russkie pisateli v Tomske: ocherki: k 350-letiyu goroda Tomsk* [Russian writers in Tomsk: essays: to the 350th anniversary of Tomsk]. Tomsk: Oblastnoe literaturnoe ob'edinenie.

32. Yanushkevich, A.S. (ed.) (1954) *Russkie pisateli v Tomske* [Russian writers in Tomsk]. Tomsk: Vodoley.

33. Bykova, S.S. (ed.) (2010) *Chekhov i Tomsk* [Chekhov and Tomsk]. Tomsk: Veter.

34. Bykova, S.S. (ed.) (2012) *Petr Petrovich Arshaulov: sbornik materialov* [Petr Petrovich Arshaulov: a collection of materials]. Tomsk: Veter.

35. Bykova, S.S. (ed.) (2013) *Vsevolod Alekseevich Dolgorukov: sbornik materialov* [Vsevolod Alekseevich Dolgorukov: a collection of materials]. Tomsk: Veter.

36. Bykova, S.S. (ed.) (2014) *Vasilij Petrovich Kartamyshev: sbornik materialov* [Vasily Petrovich Kartamyshev: a collection of materials]. Tomsk: Veter.

37. Bykova, S.S. & Cherednikova, L.V. (eds) (2017) *Valentin Vladimirovich Kuritsyn (Ne-Krestovskiy): sbornik materialov* [Valentin Vladimirovich Kuritsyn (Non-Krestovskiy): a collection of materials]. Tomsk: Krasnoe znamya.

38. Zaplavnaya, T.A. (1974) *Tomskie pisateli* [Tomsk writers]. Tomsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izd-vo.

39. Kolesnikova, R.I. (2007) *V knige sudeb oshibok ne byvaet* [There are no mistakes in the book of fate]. 2nd ed. Tomsk: Izdatel'stvo nauchno-tehnicheskoy literatury.

40. Bykova, S.S. (ed.) (2008) *Vyacheslav Yakovlevich Shishkov: biobibliograficheskiy ukazatel' (k 120-letiyu so dnya rozhdeniya)* [Vyacheslav Yakovlevich Shishkov: biobibliographic index (on the 120th anniversary of his birth)]. Tomsk: Star.

41. Nikienko, I.V. & Yakovenko, A.V. (2004) *Vadim Nikolaevich Maksheev: biobibliograficheskiy ukazatel'* [Vadim Nikolaevich Maksheev: biobibliographic index]. Tomsk: [s.n.].

42. Bykova, S.S. (ed.) (2008) *Eduard Vladimirovich Burmakina: biobibliograficheskiy ukazatel'* [Eduard Vladimirovich Burmakina: biobibliographic index]. Tomsk: Star.

43. Bykova, S.S. (ed.) (2005) *Viktor Dmitrievich Kolupaev: biobibliograficheskiy ukazatel'* [Viktor Dmitrievich Kolupaev: biobibliographic index]. Tomsk: [s.n.].

44. Bykova, S.S. (ed.) (2006) *Georgiy Mokeevich Markov: biobibliograficheskiy ukazatel'* [Georgiy Mokeevich Markov: biobibliographic index]. Tomsk: Veter.

45. Bykova, S.S. (ed.) (2006) *Mariya Leont'evna Khalfina: biobibliograficheskiy ukazatel'* [Maria Leontyevna Khalfina: biobibliographic index]. Tomsk: Veter.

46. Bykova, S.S. (ed.) (2012) *Galina Evgen'evna Nikolaeva: (1911–1963): (bibliograficheskiy ukazatel')* [Galina Evgenievna Nikolaeva: (1911–1963): (bibliographic index)]. Tomsk: Veter.

47. Bykova, S.S. (ed.) (2015) *Vil' Vladimirovich Lipatov: (1927–1979): biobibliograficheskiy ukazatel'* [Vil' Vladimirovich Lipatov: (1927–1979): biobibliographic index]. Tomsk: Tomskaya poligraficheskaya kompaniya.
48. Bykova, S.S. (ed.) (2016) *Tamara Aleksandrovna Kalenova: biobibliograficheskiy ukazatel'* [Tamara Alexandrovna Kalenova: biobibliographic index]. Tomsk: [s.n.].
49. Kryukov, V. & Skarlygin, G. (eds) (2008) *Tomskie pisateli: literaturno-khudozhestvennyy sbornik* [Tomsk writers: literary and artistic collection]. Tomsk: Krasnoe znamya.
50. Zhilyakova, N.V. (2014) *Zhurnalistika dorevolyutsionnoy Tomskoy gubernii: ideya oblastnichestva* [Journalism of the pre-revolutionary Tomsk Province: the idea of regionalism]. Tomsk: Tomsk State University.

УДК 82.992

DOI: 10.17223/24099554/8/4

Тимур Гузаиров

СЦЕНАРИЙ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ 1837 г.

Статья посвящена сравнению сценария путешествия наследника престола Александра Николаевича по России в 1837 г. и его восприятия членами свиты цесаревича. Особое внимание уделено чувствам, мыслям, поведенческим жестам Жуковского, его взаимоотношениям с Николаем I. На некоторых примерах исследуется, каким образом и какие именно факты путешествия великого князя были трансформированы и опущены благодаря созданной Жуковским и впоследствии активно используемой формуле «Всенародное обручение с Россией» / «Венчание с Россией». Движение противоречивых эмоций и мыслей участников проекта требует детального и всестороннего изучения. Эта внутренняя хроника является важным компонентом создания полноценной критической истории путешествия цесаревича по России в 1837 г., которая станет возможной в случае отказа от сценарного и исключительно внешнего описания.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, Александр II, травелог, имагология, биография, рецепция.

Путешествие великого князя цесаревича Александра Николаевича по России длилось со 2 мая по 17 декабря 1837 г. и стало практическим знакомством со страной и народом. Поездка имела идеологическую цель легитимировать и упрочить отношения между будущим царем и подданными. Путешествие также было политической практикой. Жандармы Третьего отделения не только заранее инспектировали места пребывания, сопровождали, охраняли наследника престола, но также собирали информацию, писали отчеты о состоянии дел и настроениях.

Главные факты и многие детали *внешней* хроники путешествия Александра Николаевича хорошо известны и относительно изучены [1. С. 63–76; 2–3; 4. С. 473–482; 5–10; 11. С. 46–96]. Однако движение эмоций и размышлений, характер и динамика личных взаимоотно-

ношений главных участников проекта в течение всей поездки – эта *внутренняя* хроника остается почти исключенной при описании и интерпретации путешествия. При таком подходе игнорируются происходившие изменения во внутреннем мире индивидов, а участники описываются преимущественно как носители публичных функций. Фраза Жуковского «Всенародное обручение с Россией» превратилась в один из генераторов мифа о царствовании Александра II (см.: [1. С. 76])¹. Эстетизированная эмотивная формула, известная впоследствии как «Венчание с Россией», заслонила историю путешествия, выбрав, очистив и преобразовав факты из хроники чувств и размышлений в представление о просвещенном монархе.

Газетные отчеты и специальные статьи способствовали эстетизации, рационализации, мифологизации поездки цесаревича. Сведения печатались регулярно в «Северной пчеле» и «Одесском вестнике», периодически – в «Московских ведомостях», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Русском инвалиде». После окончания путешествия II Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии также издало для широкого круга читателей сочинение А.Н. Му-равьева «Воспоминания о посещении святыни Московской Государем Наследником»². Эта книга повествует о посещении цесаревичем Сергиево-Троицкой Лавры и идеологически переводит сюжет «Всенародного обручения с Россией» в сакральный регистр, т.е. главным смыслом путешествия оказывается подтверждение связи между Богом, цесаревичем, Россией. По нашему мнению, здесь важно не ограничиться анализом сценария власти, а поставить следующий вопрос: какие частные факты и сюжеты скрывает сценарное описание публичной истории или формула «Всенародное обручение с Россией»?

¹ Ср. конструирование, согласно будущей формуле поэта, народных эмоций и размышлений в описании Жуковского из первого письма к государыне Александре Федоровне: «На каждом шагу его встречает радужное доброжелательство, тем более для него трогательное, что никакое своекорыстие с ним не смешано: все смотрят на него, как на будущее, прекрасно выражающееся в его наружности; никто не думает о себе, все думают об отечестве, и в то же время все благословляют отсутствующего, заботливого государя» [12. С. 298].

² См., например: «Отраднo было слышать по всей дороге единодушные благословения Царственному юноше, видеть восторг <...>. Когда же продолжал я сопутствовать Его Высочеству в Лавру и по обителям Московским, то сие благоговейное странствование произвело на меня столь глубокое впечатление, что я пожелал мысленно вновь пережить для себя и для других высокие минуты, в которых как бы опять повторилось святое минувшее наших летописей, на тех же славных местах, – и ныне излагаю то, что видел и слышал» [13. С. 4].

В статье на нескольких примерах мы проанализируем отклики участников путешествия на непредсказуемые внешние события и обстоятельства. Мы сосредоточимся на двух вопросах: как соотносятся между собой внешние события и чувства, мысли участников проекта, их личные взаимоотношения; почему Жуковский порывался в одно время оставить свиту цесаревича?

Путешествие наследника престола как образовательный и идеологический проект необходимо рассматривать в контексте летних путешествий Николая I и императрицы Александры Федоровны. Местом встречи членов императорской семьи был назначен Вознесенск. Этот ранее неизвестный захолустный южный город маркировал политическое пространство действующей власти: в августе 1837 г. здесь были устроены в присутствии иностранных представителей грандиозные военные маневры, которые были призваны продемонстрировать внешнеполитическую силу Николая I.

До начала поездки цесаревича в Военной типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии были напечатаны две брошюры. «Маршрут для Его Высочества Государя Наследника Цесаревича» представляет собой справочник, состоящий из таблиц с указанием основных населенных пунктов, расстояния и т.п. Последние сведения из этой брошюры касались Елисаветграда, который находился на пути последнего переезда до Вознесенска. Путеводитель «Указание важнейших примечательностей на пути Его Высочества Государя Наследника Цесаревича» содержал другой тип информации: о каждом переезде приводились интересные сведения, указывались памятные места, назывались видные жители. Эта книга не содержала сведений о Москве и заканчивалась описанием Киева, на ментальной карте путешествие, таким образом, завершалось в столице Древней Руси. Летом в Москве и осенью в Киеве цесаревич впервые предстал перед народом самостоятельно, без поддержки императора, т.е. эти города были символически осмыслены как территориальные знаки власти будущего царя.

2 мая 1837 г. великий князь выехал из Петербурга по направлению к Новгороду. Согласно «Указанию... примечательностей на пути... Цесаревича», однако, путешествие должно было начаться выездом из Петербурга в сторону Шлиссельбурга и следовать на север в сторону Архангельска, к памятному месту основания российского флота [14. С. 1–11]. Вместе с тем в брошюре «Маршрут для... Цесаревича» направление «Петербург – Архангельск» не указано. На

ментальной карте путешествие, как оно представлено в двух брошюрах, могло дать дополнительный смысловой эффект. Идеологическое сопряжение «Архангельск – Вознесенск» расширяло существовавшую в официальной культуре параллель между прошлым (Петром I) и настоящим (Николаем I) и включало в нее будущее (великого князя Александра Николаевича).

Перед началом путешествия наследника Николай I составил две инструкции. Первый текст был предназначен для князя Х.А. Ливена, предполагаемого советника цесаревича. Вторая инструкция царя, в которой, например, регламентировался тип отношений внутри свиты, была адресована сыну. Князь Ливен должен быть самым близким цесаревичу человеком. Император приказал сыну держать дистанцию между собой и товарищами, не позволять «запанибратства» с А.В. Паткулем и И.М. Вьельгорским. В публичной сфере члены этого узкого круга были призваны в глазах подданных оттенить зрелость, самостоятельность, независимость поступков и решений цесаревича.

В иерархии внутри свиты В.А. Жуковский занимал четвертое место – после Х.А. Ливена, А.А. Кавелина, С.А. Юрьевича. Практически это означало: во-первых, царь не передавал в письмах к сыну личных приветствий наставнику цесаревича; в их переписке имя Жуковского фигурирует трижды (дважды – в письмах Николая I, один раз – Александра Николаевича); во-вторых, наставник великого князя не упоминался в газетных сообщениях о путешествии, об официальных приемах и обедах; в-третьих, что было важнее для самого поэта, ему могли предоставить менее комфортную квартиру и оказать меньше внимания и уважения. Если в начале путешествия Жуковский молча или иронично относился к подобным ситуациям, особенно к гостеприимству частных лиц, то позднее он не мог более обманываться, в дневнике он не сдерживал своей обиды и раздражения.

16 мая. Переезд из Макарьева в Гомзиху: «Ночлег у Жадовского, оригинал для Гоголя. Он построил наскоро дом для в<еликого> князя. <...> Мой ночлег под лестницею» [15. С. 52].

9 августа: «Переезд из Москвы во Владимир. <...> Разница во встрече. Оскорбительное чувство» [Там же. С. 69].

27 октября – последняя дневниковая запись, сделанная перед возвращением в Москву: «<...> Гостиница Брошлева в Воронеже почти феномен. Подольск. Гостиница для свиней» [Там же. С. 82].

Дневник Жуковского раскрывает его крайне чувствительное отношение к знакам невнимания, непонимания и пренебрежения, осо-

бенно со стороны императора. Поэт также болезненно переживал размолвки с цесаревичем, но и радовался моментам возникавшей между ними душевной близости:

31 мая: «Переезд из Екатеринбурга в Тюмень. <...> На первой станции великий князь сел верхом. Ко мне больше внимания» [15. С. 55].

15 июня: «Переезд из Оренбурга до Уральска. В<еликий> князь в закрытой коляске. <...> Ссора с великим князем» [там же. С. 59].

15 августа: «Опять глупая ссора» [Там же. С. 70].

16 августа: «Пребывание в Рязани. Наденьте картуз, ваша жизнь драгоценна» [Там же. С. 70].

Ровному мироощущению и взаимопониманию мешали не только дорога, погода, бытовые условия, плотный график путешествия и количество мероприятий в каждом городе. Эмоциональная усталость и раздражение усиливались и в результате возникавших противоречий между представлениями и реальным опытом.

«Видеть и быть увиденным» – эта формула емко описывает основной идеологический смысл ознакомительных путешествий монарха и наследника престола. Эта практика, как резюмирует Ф.Б. Шенк, непременно включает в себя маркирование имперской территории, репрезентацию царских особ местной элите, инспектирование военных частей и региональных органов власти, подтверждение или изменение существующего порядка на месте, установление или обновление языка и структуры политической коммуникации [16. С. 378–385]. В 1837 г. жандармы III Отделения имели приказ сообщать о встрече «от всех сословий города» и характеризовать **«степень народной радости и усердия в воззрении на Августейшего Посетителя»** (цит. по: [11. С. 52]). Ритуалы, демонстрации, встречи с народом и местной элитой служили способом оценить уровень эмоционального поведения подданных, измерить степень преданности и патриотизма. Создателям и участникам проекта приходилось считаться с непредсказуемым фактором, влиявшим на поведение народа: цесаревича, как правило, видели впервые, а в сибирской части страны лицезрели в принципе первого члена императорской семьи.

Во время путешествия В.А. Жуковский написал шесть писем к императрице и одно императору. Первое письмо к Александре Федоровне датируется 6 мая 1837 г. и посвящено народной встрече в Твери:

Я вижу беспрестанно пред собою **пленительную картину**. Народ бежит за ним толпами, и не одна новость влечет его и движет им. **Чувство высокое** <...> И чем далее подвигаемся, тем сильнее движение: **оно идет crescendo** [12. С. 298].

Текст выдержан в стиле «сердечного воображения», эта особенность позволяет поэту создать идеальную сцену встречи цесаревича и народа. Впервые в дневнике Жуковский отметил выражение народного чувства на следующий день, 7 мая, когда свита приехала в Калязино: «Удивительная картина народа» [15. С. 49]. День спустя, 8 мая, поэт записал: «Пребывание в Рыбинске, те же сцены crescendo» [Там же. С. 49].

Три ситуации объединены одним сюжетом (народной радостью от встречи с цесаревичем), «музыкальным» мотивом («crescendo») и описаны словами, принадлежащими к одному лексико-семантическому экспрессивному полю. Маркеры «чувствительного» стиля в конкретном случае, однако, не воспроизводят одно и то же восторженное восприятие увиденного. «Пленительная» картина оказывается не синонимом, а антонимом «удивительной картины». Реплика «crescendo», имеющая в письме поэта к императрице положительные коннотации, могла в дневнике два дня спустя, после встречи в Калязине, приобрести также иное, отрицательное, значение.

Как Жуковский в письме к императрице, так и цесаревич в письме к императору, а Юрьевич в письме к своей жене – все они, рассказывая о встрече 6 мая в Твери, отмечают крики «Ура», толпы народа. Они еще не замечают непредсказуемых, резко выходящих за принятые рамки проявлений всеобщей радости. Александр Николаевич писал Николаю I: «...город иллюминирован и народу на улицах тьма, они меня провожали с криками “Ура“, наподобие Москвы» [17. С. 33]. Юрьевич сообщал жене, которая жила в это время в Царском Селе:

Русский народ с неподдельным, истинным восторгом везде принимает его. В Вышнем-Волочке, в Торжке и Твери **нельзя было никому из свиты следовать за Великим Князем: народ целою массою льнет к нему...** [18. С. 443].

6 мая в Твери Юрьевич еще не отметил ничего тревожного и противоестественного в проявлении народных чувств 7 мая свита цесаревича прибыла в Калязино, где была встречена с бурным вос-

торгом. В письме Александр Николаевич делился с императором своим эмоциональным потрясением:

Нигде народ меня не встречал с таким **остервенением от радости**, они отпрягали от нас лошадей, мы **принуждены** были сесть в дрожки исправника, мою лошадь понесли было, потом при переправе **на пароме** столько набралось народу, что он было **стал погружаться в воду**, так что я точно Бога благодарил, как выбрался из этого **ужасного** Калязина [17. С. 34].

В своем письме Юрьевич опустил описание народной встречи в Калязине. В данном случае эллипсис свидетельствовал о шоке и был проявлением заботы мужа об ожидавшей ребенка жене. В этом контексте дневниковая реплика Жуковская «удивительная картина» выражала скорее не восторг, а нарастающий ужас свиты цесаревича перед народом.

9 мая цесаревич написал отрывок письма к императору. Великий князь отмечал правильную организацию официальной встречи, однако он продолжал находиться в шоке от проявленной 7 мая народной любви: «Прием везде одинаков, по-московскому, но ничего не может сравниться с Калязиным, **я без ужаса не могу вспомнить**» [17. С. 35]. В письме, отправленном из Ярославля 10 мая, Юрьевич решил вернуться к теме проявления народной радости:

...и в Рыбинске, и во всякой деревушке его **с восторгом радости встречает Русский народ**. <...> Часто он подвергается **неизбежным задержками** (народ останавливает проезд экипажа), часто с трудом может прорваться сквозь **толпу жаждущих** насладиться его взором. Повсюду бесперывное ура! [18. С. 444].

Описание народной радости из этого письма напоминает фрагменты, помещавшиеся в официальных газетах¹. Однако флигель-

¹ См., например, отчет «Северной пчелы» от 21 мая 1837 г.: «Государь Наследник возвратился в город, и был повсюду сопровождем безчисленным множеством народа, наперерыв стремившагося насладиться лицезрением Августейшаго Гостя, и в порыве восторга своего **нередко останавливавшего шествие Его Высочества**» [19]. Рассказ построен по линии эмоционального усложнения и детализации чувств. Эти приемы позволяют камуфлировать, трансформировать, опускать нежелательные факты, которые противоречат идеологической задаче репрезентации народной любви как механизма эмоциональной легитимации власти будущего монарха. Интересно, что даже в предназначенном для крайне узкого круга лиц годовом отчете III Отделение не могло не представить общую и однозначно идиллическую картину: «Нельзя без умиления читать описания того восторга которым воодушевлялся народ повсюду, где появлялся Наследник. <...> Похвала Наследнику сделалась общено истинною народною мыслью, которую искренно невольно повторял

адъютант цесаревича, как и другие члены свиты, начали наряду с восторгом замечать проявления массового психоза, который совсем не вписывался в сценарий счастливого ожидаемого «всенародного обручения». Юрьевич писал жене 12 мая из Костромы:

Нельзя описать того, можно сказать, **ужаса**, с которым **народ** и **здесь как и везде** на пути нашем **толпится** к Великому Князю. **Беда** отделиться на полшага от него <...> **бедные бока** наши и ноги будут долго помнить Русскую любовь <...> **ничто не останавливает народные толпы**. <...> **Часто жалкий женский крик стоны сливается с непрерывным ура!** [18. С. 446].

После Калязина Николай I отдал приказ об усилении мер охраны цесаревича. Возникший эмоциональный диссонанс обусловил то, что цесаревич и свита быстро устали от проявления народного восторга и стремились оказаться вне этого непредсказуемого пространства. В середине мая Юрьевич отметил: «Мы все радуемся, что завтра выезжаем в леса, где людей меньше. <...> Жуковский собраться не может с духом» [18. С. 448]. Характерно, что цесаревич и флигель-адъютант в письмах, наставник наследника престола в дневнике делают паузы в упоминании и описании именно сцен верноподданнической любви.

Главной географической особенностью путешествия 1837 г. было посещение цесаревичем территорий, находящихся за Уралом. Самыми отдаленными местами стали Тюмень и Тобольск. Переезд из европейской в сибирскую часть империи ознаменовался для каждого члена свиты сменой настроения, вызванной разрушением ложных понятий и предубеждений о Сибири. Общая радость от пребывания в Сибири увеличилась в том числе и от отношения местных жителей к свите. Из Тобольска великий князь делился в письме к императору своим изумлением:

Пишу тебе, милый, бесценный Папа, и сам не верю своим глазам, что из Тобольска, все это кажется мне сном, и весьма приятным. <...> **Восторг**, с которым меня здесь везде принимали, **меня точно поразил, радость была искренняя**, во всех лицах видно

каждый» [20. С. 160–161]. Несмотря на обоюдное знание императором и III Отделением отдельных фактов, касающихся страшных проявлений народной радости во время путешествия цесаревича, обе стороны не могли, по крайней мере в этом случае, преодолеть ими же созданный сценарий «Всенародного обручения с Россией». Закономерным является то, что выстраиваемая для других «империя фасадов» проникает вовнутрь самой власти, а полуправда охватывает отношения между монархом и тайной полицией.

было **чувство благодарности** своему Государю за то, что он не забыл своих отдаленных, душою ему преданных, и прислал к ним сына своего, который тоже умеет ценить счастье делать счастливыми других [17. С. 52–53].

31 мая в Тюмени был объявлен городским праздником в связи с приездом цесаревича. Впоследствии «Московские ведомости» изобразили это событие как объединение и включение сибирских подданных в имперское «тело»:

Собралось множество жителей, как Христиан, так и Магометан, из разных округов <...> с самого раннего утра по всем улицам города потянулись необозримые ряды обоего пола жителей, торопившихся в сретение. <...> Начавшийся в Святых храмах колокольный звон усугубил благоговение подданных. Экипаж двинулся. *Ура!* первое, радостное, загремело во вратах Сибири, а Магометане единодушно кричали: *Алла!* знаменуя сим моление их за Государя [21. С. 383].

Сообщаемое *post factum* для широкой публики было, однако, не замечено членами свиты. Они не отметили межконфессионального / межнационального единения под венцом православного царя, не описали самой встречи, не обратили внимания на приготовленную для Александра Николаевича шлюпку, которую было приказано, согласно жандармскому отчету, «хранить в приличном месте, для чего и выстроить особое здание» (цит. по: [11. С. 56]). В письме к Николаю I великий князь обмолвился одной фразой: «Тюмень – первый настоящий сибирский город на нашей дороге, строения порядочные» [17. С. 57]. Юрьевич не рассказал о визите в Тюмень ничего. В отличие от цесаревича и его флигель-адъютанта, Жуковский обращает внимание на детали и характер отношений между наследником престола и сибирскими подданными. 31 мая он записал в дневнике:

Три нюанса встречи: искренность, простое любопытство, благодарность. <...> Толпа собирается со всех сторон. В<еликий> к<нязь> в закрытой коляске [15. С. 55].

2–3 июня цесаревич провел в Тобольске, 4 июня он вернулся в Тюмень, из которой 5 июня выехал в Курган. Жуковский записал: «Бедственное начало дня в Тюмени. Раздавленная женщина. <...>. Обед. **Глупая ссора. Не возвратиться ли мне?** Ошибка. *Regret inconsolable*» [15. С. 56]. В дневнике поэт зачеркнул пояснение к со-

бытию: «<...> В толпе народа, стремившегося за великим князем, женщина подвернулась под лошадей, и ее ушибло колесом. Я оставил ее на руках нашего подлекаря <...>. Городничему дано 200 рублей для лечения. Но этого мало» [15. С. 446]. В письмах цесаревича и Юрьевича этот эпизод отсутствует. В этот день в дневнике поэт отметил еще один огорчивший его факт в поведении наследника престола: «Переезд и мост через Исеть, построенный для великого князя. А великий князь и не появился» [15. С. 57].

Повторявшийся в каждом городе ритуал встречи, накапливавшаяся усталость и страх перед бурным проявлением чувств подданных приводили иногда к возникновению ситуаций, когда цесаревич пренебрегал своими символическими обязанностями и позволял себе не замечать народ. В Тюмени взрыв негодования у Жуковского был, однако, вызван не игнорированием великим князем демонстрации верноподданнической любви. Женщина, раздавленная коляской цесаревича и фактически оставленная на произвол судьбы, – этот факт воспринимался поэтом как живой, реальный, непридуманный символ путешествия по России. У потрясенного Жуковского впервые возникает желание оставить свиту. В какой степени этот порыв отражает разочарование, неудовольствие цесаревичем, а также чувство собственной вины, сиюминутное ощущение личного педагогического провала – это неразрешимый вопрос¹. Поэт болезненно переживал эту ситуацию, которая свидетельствовала о разрыве и слепоте в отношениях между цесаревичем и подданными: с одной стороны, массовый народный психоз, а с другой – равнодушие великого князя к частной судьбе человека из народа. 5 июня Жуковский осознал, что сценарий публичной коммуникации и характер действительных отношений могут не соответствовать и противоречить позднее созданной им формуле «Всенародного обручения с Россией».

6–8 июня царская свита посетила Тобольск, Курган и Златоуст. Важным событием этой поездки стали разговоры о ссыльных и встреча с осужденными по делу 14 декабря.

Рассмотрим хронику внешних и внутренних событий с целью реконструкции истории, разыгравшейся между цесаревичем, его на-

¹ Для понимания психологического состояния Жуковского здесь необходимо помнить его напутствие великому князю Александру Николаевичу не забыть «святейшего из званий: человек» («Послание государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича», 1818).

ставником, императором и поставившей их личные отношения под угрозу разрыва.

6 июня в Кургане цесаревич в церкви видит группу осужденных по делу 14 декабря. В этот же день Жуковский встречается и беседует с некоторыми декабристами, собирает сведения о них в целом. 8 июня в Златоусте цесаревич написал письмо к царю с просьбой об облегчении участи политических преступников. В этот же день Жуковский закончил и отправил письмо к Николаю I об амнистии декабристов [22. С. 76–77]. 17 июня Николай I получил письмо цесаревича из Златоуста и на следующий день написал ответ, в котором согласился смягчить участь «виденных тобой преступников в Кунгуре и других» [17. С. 142]. Быстрое решение царя свидетельствует о том, что он был готов и понимал необходимость совершить ряд демонстративных жестов. Еще в 1835 г. декабристы были переведены на поселения. В 1837 г., выполняя просьбу сына, Николай I, например, открыл возможность заслужить возвращение домой через службу на Кавказе. 23 июня цесаревич и свита узнали из письма Николая I о предполагаемом облегчении участи декабристов. Эта новость вызвала восторг всей свиты цесаревича. В письме к императрице Александре Федоровне 24 июня Жуковский делился впечатлениями от встречи с декабристами: «...могу увидеть в написанном цесаревичем письме, в принятом императором решении и свою заслугу» [12. С. 304–305]. Это самоощущение могло только укрепиться у поэта, если цесаревич сообщил ему фразу из письма царя: «Благодари почтенного А.А. [Каверина] и Жуковского за письма и скажи им, что они <предугадали> мои мысли» [17. С. 142]. Николай I или лукавил, или не был до конца точен в выражении своей мысли. Объявленное облегчение участи декабристов, по сути, не отвечало на обращение Жуковского, точнее, подменяло его, так как амнистия не была дарована.

Несколькими днями ранее, 22 июня, Жуковский обратился через императрицу Александру Федоровну к Николаю I. Поэт ходатайствовал о двух личных просьбах: разрешить ему временно покинуть свиту цесаревича, посетить родные места и позволить «по прибытию в Вознесенск не оставаться в Вознесенске, а прямо ехать вместе с Арсеньевым в Крым» [12. С. 303]. Вторая просьба поэта могла стать для царя неожиданной. Жуковский, автор «Русской славы», не хотел ни присутствовать, ни тем более воспевать николаевское военное торжество. 28 июня великий князь получил письмо от импе-

ратора, в котором сообщалось о разрешении Жуковскому посетить Белево. О решении в связи с Вознесенском не упоминалось ни слова.

3 июля в письме к императрице Александре Федоровне Жуковский поздравил царскую чету с 20-летней годовщиной свадьбы¹. 6 июля 1837 г. цесаревич получил письмо от Николая I с объявлением милостей по поводу юбилея. В этот список Жуковский не был включен. Это решение было неожиданным для членов свиты цесаревича. Поэт записал в дневнике: «Три Александровские ленты. Мне пощечина» [15. С. 65]. Юрьевич недоумевал в письме к жене: «Жаль нам, что Жуковский не попал в число награжденных. <...> Все того времени даже придворные служители получили свои награды» [18. № 5. С. 59]. В письме к Николаю I 6 июля цесаревич, радуясь о награждении Адлерберга и Перовского, не упоминает о забытом Жуковском.

При осмыслении исключения Жуковского из списка награжденных необходимо учитывать три обстоятельства. Во-первых, военное торжество в Вознесенске согласно николаевскому сценарию являлось летней кульминацией путешествия цесаревича и царской семьи. При организации многодневных маневров захолустный город был перестроен, было посажено 60 000 деревьев, построены дворцы, столовые, о предстоящем событии появились статьи². Нежелание автора государственного гимна оставаться в Вознесенске могло не понравиться и быть воспринято царем как проявление определенного неуважения.

Во-вторых, письмо Жуковского об амнистии декабристов даже не по своему содержанию, а самим фактом написания могло напомнить Николаю I об острейших между ними спорах о судьбе заочно

¹ Здесь важно напомнить, что Жуковский был певцом царской семейной идиллии: в 1818 г. он сочинил послание к Александре Федоровне по случаю рождения великого князя Александра Николаевича, в 1821 г. поэт воспел красоту жены Николая Павловича в стихотворениях «Лалла Рук» и «Явлении поэзии в образе Лаллы Рук». Кроме того, Жуковский был учителем Александры Федоровны по русскому языку, наставником наследника престола, автором государственного гимна.

² См. опубликованное в «Санкт-Петербургских ведомостях» письмо камер-юнкера А.Н. Демидова, находившегося в геологической экспедиции по Южной России: «...ехать в Вознесенск и насладиться там прекрасным, великолепным зрелищем, невиданным в России, даже в славнейшие царствования ея Государей. <...> вы скажете, что это походит на восточную сказку? Я сам едва верю глазам своим, и хотя я Русский, хотя нахожусь на месте, вижу все приготовления и слышу от достоверных людей малейшие подробности, но, признаться, не могу уверить себя в действительности **этого чудного, несравненного зрелища**, не могу себе представить, что в самом деле не более как **через десять дней целая Россия будет свидетельницею** того, в чем теперь сомневаюсь» [23. №. 205. С. 927]. Чувства и поведение Жуковского полностью противоречили и разрушали официально конструируемые для широкого круга подданных эмоции и размышления.

осужденного декабриста Н.И. Тургенева; конфликт в 1830 г. дошел до прямого объяснения, поставив отношения на грань разрыва (см.: [24–25]). К тому же общее взаимное неудовольствие в июне 1837 г. могло только усиливаться, особенно если император и поэт еще чувствовали влияние истории, связанной с дуэлью Пушкина и письмом Жуковского к А.Х. Бенкендорфу [26. С. 218–240].

В-третьих, Николай I, читая письма сына о встрече с декабристами, мог здесь увидеть влияние Жуковского на суждения, принятие решений и на поведение цесаревича. Во время путешествия эта чрезмерная близость могла казаться императору невыгодной для создания публичного образа уже зрелого, самостоятельного, независимого цесаревича. Не случайно Николай I с легкостью позволил Жуковскому заранее покинуть свиту и отправиться в Белево, хотя это место, согласно плану путешествия, в любом случае предстояло посетить.

23 июля свита цесаревича вместе с Жуковским въехала в Москву, которую покинула 9 августа (о московском визите см.: [27. С. 499–540]). 25 августа цесаревич прибыл в Вознесенск. В дневнике Жуковский отметил: «Приехал в шесть часов. Мерзкое помещение. Представление государю и императрице. Весьма ласковый прием» [15. С. 72]. Между поэтом и царем, двумя создателями сценария «Всенародного обручения с Россией», состоялось перемирие. 26 августа поэт присутствовал при исполнении народной песни «Боже, Царя храни» и смотре. В шесть часов вечера, пробыв в Вознесенске ровно сутки, Жуковский уехал в Одессу. Крупнейшие военные маневры 1830-х гг. остались без певца. Поэт усвоил преподанный царем июньский урок не нарушать регламентированные границы, одновременно Жуковский, отказавшись исполнять роль певца военного триумфа, подчеркнул свою независимость.

Путешествие по России закончилось возвращением в Петербург 17 декабря. Однако запланированное торжественное прибытие не состоялось, оно было нарушено непредсказуемым событием – пожаром Зимнего дворца. Жуковский сделал попытку вписать это событие в сценарий власти Николая I, однако его статья была запрещена для публикации (см. комментарий: [28]). В Петербурге неизвестный автор передал поэту и наставнику великого князя стихотворение «Чувства россиянина при возвращении обожаемого государя наследника из вояжа по России». Эта 20-страничная рукописная книга осталась в библиотеке В.А. Жуковского (см. *Приложение*; описание:

[29. С. 81]]. Невозможно точно установить факт знакомства цесаревича с этим панегирическим сочинением.

Жуковский предложил удачную, написанную без идеологического задания формулу «Всенародное обручение с Россией», которая предопределила организацию причинно-следственных связей, отбор и освещение фактов, образы героев, одностороннюю повествовательную и интерпретационную модель. Однако создание критической, полноценной истории путешествия великого князя Александра Николаевича по России в 1837 г. требует отказа от использования фразы Жуковского и предполагает рассказ о скрытых под этим клише фактах. Научное описание истории путешествия цесаревича станет возможным только в том случае, если хроника публичных событий будет дополнена и раскрыта сквозь хронику индивидуальных впечатлений и размышлений участников поездки, т.е. через призму рассказа о движении их чувств, мыслей, поступков. В противном случае сценарный метод, вытеснив частную историю путешествия, заслонит индивидов, представит их только носителями публичных ролей, упростит действительную картину и низведет историю до лубочных рассказов, которые будут по-прежнему воспроизводить миф о «Венчании с Россией».

Приложение

Чувства россиянина при возвращении обожаемого государя наследника из вояжа по России

Великий Князь! краса и щастие отчизны!
Любимец подданных; залог блаженства их!
Дозволь мгновение в своей блестящей жизни
Занять вниманием на плод трудов моих!

Твой благосклонный взор дарует мне блаженство!
Твое внимание возвысит мой удел!
Угодным быть Тебе... вот щастие совершенство!
Вот цель моих надежд! вот радостей предел!

Обширный совершен Тобой в России путь!
Но трудности его щастливо пренесенны...

И вновь в Столице Ты! И Россы восхищенны
Открыли пред Тобой свои сердца и грудь!..

Ты всюду встречен был, как Гость их незабвенной!
Как драгоценнейший всех щастия залог!
Как Александр Второй, кому предрек Сам Бог –
Полмиром обладать!.. Греметь во всей вселенной!..

Да будет памятным свершенный путь Тобой!
Ты юности дней Твоих украсил испытаньем:
Ты много зрел, познал... дал пищу ожиданиям
И озарил Тебя – открытый луч святой!

Ты всюду зрел плоды науки и искусства!
Как просвещение всё, везде живет собой!
Ты зрел безтрепетный, блестящий Россов строй
И как любви к Царю их пламенеют чувства!

Вспомня предков Ты, Великих тех Царей,
Что дали подданным Своим образование;
И Сам Ты ободрял искусства дарованья...
Был Солнце новое родной страны Своей!

Ты зрел, как Николай везде благословляем!
Как наш Монарх-Отец от всех боготворим!
Как их молитвами Он Промыслом храним.
Как полвселенною любим и прославляем!

И Ты рожден приять Порфиру и Венец!
И Властелином быть над сильною Державой,
Быть щастием подданных! быть другом их сердец:
Как предки возгреметь победами и славой!

Но и на Троне, Принц, подобен будь Богам!
Карай порок и лесть! А скорбным в утешенье
Будь благ и милосерд! Будь как Провиденье,
И просияет луч Доброт Твоих векам!

Владыкой Севера от неба нареченный...
Полмира не страшись!.. С Тобой Россиянин!
Кто против пламенных дерзнет возстать Дружин?
Готовых ратовать противу всей вселенны?

Внимай... как возстелал кичливый Оттоман!
Разкаялся в душе о дерзком изступленьи
И Крест смирил Луну!.. и Турок изумленный
Зрел исполинов строй, протекший по горам!

Внимай, – как в Персии парил Орел двухглавый!
И как заоблачный стяжал он Арарат!
Как озарился Росс победною там славой
И гранью положил с трофеями Еффрат!

Внимай... как Царь-Отец заблудшия детей,
Томимых мщением, тревожимых киченьем, –
Смирил!.. приблизил вновь ко благодати Своей...
И вновь пред Ним Сармат поник с благоговеньем!

Но Ты зрел лучшее: постигнул Ты как радость
Небесную в душах вселяет Добрый Царь!
Ему, как божеству, в сердцах детей – алтарь...
На Троне первый блеск: величие и благодать!

Стремясь к божественным, высоким чувствам сим,
Кумиром будь побед!.. и лавры пожиная,
Будь грозен для врагов!.. но к падшим гнев смягчая,
Их к жизни воззови и благоденствуй к ним!

Ты к наслаждениям судимый небесами –
Твой взор родит любовь! Ты Гений добротой!
Святыя благодати – сияешь красотой...
И приобрел Ты дар – как властвовать сердцами.

Когда ж столь памятным пребудешь Ты для нас:
Коль пребыванье там Твое всем драгоценно;
Коль Ты привлек сердца и в крае отдаленном:
Судиж, каков к Тебе Столицы здешней глас!

Сравни восторг Ты здесь счастливых Тобою.
Желанье всех: Тебя как дар небес узреть!
На сретенье Тебе в восторге чувств лететь...
Представь нас пред Собой с любовью святою!

О! как торжественен теперь Твой Град родной!
Какия блага зрим в Твоем к нам возвращеньи.
Весь Царствующий Дом! и мы все в восхищеньи
И всех, всех оживил возврат щастливый Твой.

И небо самое отечества драгова
Тебя приосенит лазурной красотой!
И ярче возблестит свет Солнца над Тобой
И полный блеск Луны Тебя восхитит снова!

Познай, Великий Принц! что Вышнею Судьбой
Для радостей блаженств Твое существованье,
Твой взор – закон! Твои священны всем желанья –
И миллионы душ живут, дышат Тобой!

Ты их Кумир, их жизнь, предмет благоговенья!
Ты в юности возмог превлечь к Себе сердца!
Ты превещаешь им Монарха и Отца...
Сверши же Вышнее небес определение!

Диви вселенную хвалою дел Твоих!
Стремись в след подвигов Мужей богоподобных!
Возвысь патриотизм! Смири кичливых, злобных
И будь в числе Царей Великих и благих!

Прости, что я желал в усердьи неизменном:
Чтоб благоденствие ввек было Твой удел!
Я бы превзошел себя, – когда бы дар имел
Всё чувство выразить Тобою вдохновенно!

И мне ль явить, как Ты всех радуешь сердца!
И как Твои черты и кротость всех пленяют,
Как все сословия мольбы свои сливают:
Чтоб вечно Ты храним был благостью Творца!

Простиж, о, Принц! что я усердьем увлеченный
Дерзаю посвятить природной Музы глас!
Но благом я почту, коль Ты в свободный час
Воззришь на Гимн... Тебе и с жизнью посвященный!

«Творец зрит кротость душ!» Закон нам так гласит!
Всевидящий от всех равно моленья внемлет...
Равно Великий Муж усердье всех приемлет:
Пусть благость и Твоя – мой дар приосенит!

Литература

1. *Татищев С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. М.: АСТ, 2006. 1008 с.
2. *Курочкин Ю.* Жуковский едет по Уралу // Уральский следопыт. 1973. № 11. С. 17–22. URL: <http://urbibl.ru/Stat/Uralci/zukovskiy.htm>
3. *Жуковский Василий Андреевич:* К 165-летию пребывания на Липецкой земле // События и даты Липецкого края на 2002 год. Липецк, 2001. С. 26–29.
4. *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М.: ОГИ, 2004. Т. 1. 605 с.
5. *Стромилов Н.С.* Путешествие государя наследника цесаревича Александра Николаевича в 1837 году по Владимирской губернии. Владимир: Владимир. обл. науч. библ., 2012. 41 с.
6. *Лачаева М.Ю.* «Всенародное обручение с Россией»: Путешествие цесаревича Александра Николаевича 1837 года и рождение губернских выставок // У истоков российской государственности: роль женщин в истории династии Романовых. СПб., 2013. С. 234–244.
7. *Янушкевич А.С.* Путешествие В.А. Жуковского с великим князем по России в 1837 году как имагологический текст // Диалог культур: поэтика локального текста: материалы IV Междунар. конф. Горно-Алтайск, 2014. С. 11–20.
8. *Майорова А.С.* Посещение Саратова наследником цесаревичем Александром Николаевичем в 1837 г. в контексте культурных коммуникаций столичных и губернских городов России // Изв. Сарат. ун-та. Нов. серия. Сер: История. Международные отношения. 2015. Т. 15, вып. 1. С. 81–86.
9. *Anisimova E.* The Siberian Journey of Vasily Zhukovsky and Tsarevich Aleksandr Nikolaevich in 1837: Two Images of East // Журнал Сибирского федерального университета. Сер.: Гуманит. науки. 2015. Т. 8, № 7. С. 1373–1381.
10. *Анисимова Е.А.* Сибирский фрагмент путешествия по России В.А. Жуковского с цесаревичем Александром в восприятии русских писателей XIX – первой половины XX в.: от делового отчета к автобиографическим проекциям // Имагология и компаративистика. 2015. № 2 (4). С. 43–68.
11. *Плецельман В.Л.* Институционализация путешествия наследника российского престола Александра Николаевича в 1837 г.: выпускная квалификационная работа / НИУ ВШЭ. М., 2015. 125 с.
12. *Жуковский В.А.* Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 1885. Т. 6. 640 с.
13. *Муравьев А.Н.* Воспоминания о посещении святыни Московской Государем Наследником. СПб., 1838. 115 с.
14. *Указание важнейших примечательностей на пути Его Высочества Государя Наследника Цесаревича.* СПб., 1837. 161 с.
15. *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 14. 768 с.

16. Шенк Ф.Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 584 с.
17. Венчание с Россией: Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год / публ. Л.Г. Захаровой, Л.И. Тютюнник. М.: Изд-во МГУ, 1999. 184 с.
18. Дорожные письма С.А. Юрьевича во время путешествия по России Наследника Цесаревича Александра Николаевича в 1837 году // Русский архив. 1887. № 4. С. 441–468; № 5. С. 49–72.
19. Северная пчела. 1837. № 112. С. 1.
20. Россия под надзором. Отчеты III отделения. 1827–1869. М.: Российский фонд культуры: Российский архив, 2006. 706 с.
21. Московские ведомости. 1837. 7 июля. № 54. С. 383.
22. Дубровин Н. Василий Андреевич Жуковский и его отношение к декабристам // Русская старина. 1902. Т. 110, № 4. С. 45–119.
23. Демидов А.Н. Путешествие в Крым // Санкт-Петербургские ведомости. 1837. № 205. С. 927–928.
24. Самовер Н.В. «Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу...»: Диалог В.А. Жуковского с Николаем I в 1830 году // Лица: биогр. альм. М.; СПб., 1995. Вып. 6. С. 87–119.
25. Гузаиров Т. Способы трансформации фактов в «Записке о Н. Тургеневе» В.А. Жуковского // Лотмановский сборник 3. М., 2004. С. 961–974.
26. Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. СПб.: Академический проект, 1999. 655 с.
27. Гузаиров Т. Московские визиты цесаревича Александра Николаевича и В.А. Жуковского (из истории царской педагогики 1831–1837 гг.) // Жуковский: Исследования и материалы. Томск, 2017. Вып. 3. С. 499–540.
28. Гузаиров Т. Примечания // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М., 2016. Т. 11 (первый полутом). С. 782–793 («Пожар Зимнего дворца»).
29. Библиотека В.А. Жуковского (описание) / сост. В.В. Лобанов. Томск, 1981. С. 81 («Чувство россиянина при возвращении обожаемого государя наследника из вояжа по России»).

SCENARIO AND UNPREDICTABILITY. IMPRESSIONS AND REFLECTIONS OF THE PARTICIPANTS OF THE JOURNEY AROUND RUSSIA IN 1837

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 62–83. DOI: 10.17223/24099554/8/4

Timur Guzairov, University of Tartu (Tartu, Estonia). E-mail: tguzairov@gmail.com

Keywords: V.A. Zhukovsky, Alexander II, travelogue, imagology, biography, perception.

The article compares the scenario of the highest travel of Tsesarevich Alexander Nikolayevich across Russia in 1837 and its perception by the members of his suite. The trip had an ideological purpose to legitimize and strengthen the relationship between the future tsar and the lieges. Zhukovsky presented it in the figurative formula “The all-national betrothal with Russia”, which turned into one of the generators of the myth of Alexander II’s reign.

The ritual and ideological itinerary of the trip was covered in newspaper's reports and special articles. Special brochures were printed before the trip to outline the itinerary and the most important sights. Nicholas I personally prepared instructions for Duke H.A. Lieven, the counselor to the Tsarevich, and for his son, which, among other things, regulated the type of relations within the suite. Nevertheless, contradictory emotions and thoughts of the trip participants often went beyond the ideological scenario. A clear attitude and mutual understanding were hampered by fatigue with travel, weather, living conditions, tight schedule and a great number of events in every city they visited. Emotional fatigue and irritation were gradually increasing as a result of the contradictions between the vision of the trip and real experience. Thus, the travelers were shocked by many episodes of unpredictable manifestations of universal joy and mass psychosis which did not fit into the scenario of a happy "national betrothal" (as it happened in Kolyazino). In Tyumen, the victim of popular exultation was a woman, crushed by Tsesarevich's coach. There were many situations when Tsesarevich ignored his duties and allowed himself to ignore the people. Zhukovsky felt very frustrated because he was excluded from the list of those awarded on the occasion of the 20th anniversary of the imperial couple wedding – the decision caused by the imperial displeasure at Zhukovsky's requests for the amnesty of the Decembrists. This psychological chronicle is viewed as an important component of a full-fledged critical history of Tsesarevich's trip across Russia in 1837, taken apart from the official scenario and public description.

References

1. Tatishchev, S. (2006) *Imperator Aleksandr II. Ego zhizn' i tsarstvovanie* [Emperor Alexander II. His Life and Reign]. Moscow: AST.
2. Kurochkin, Yu. (1973) Zhukovskiy edet po Uralu [Zhukovsky travels through the Urals]. *Ural'skiy sledopyt*. 11. pp. 17–22. [Online] Available from: <http://urbibl.ru/Stat/Uralci/zukovskiy.htm>.
3. Anon. (2001) Zhukovskiy Vasilii Andreevich. K 165-letiyu prebyvaniya na Lipetskoy zemle [Zhukovsky Vasily Andreevich. To the 165th anniversary of his visit to Lipetsk]. In: *Sobytiya i daty Lipetskogo kraia na 2002 god* [Events and Dates of Lipetsk Region for 2002]. Lipetsk: [s.n.]. pp. 26–29.
4. Wortman, R. (2004) *Stsenarii vlasti. Mify i tseremonii russkoy monarkhii: v 2 t.* [Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. In 2 vols]. Vol. 1. Translated from English by S. Zhitomirskaya. Moscow: OGI.
5. Stromilov, N.S. (2012) *Puteshestvie gosudarya naslednika tsesarevicha Aleksandra Nikolaevicha v 1837 godu po Vladimirskoy gubernii* [The journey of Tsarevich Alexander Nikolayevich in 1837 in Vladimir Province]. Vladimir: Vladimirskaia oblastnaya nauchnaya biblioteka.
6. Lachaeva, M.Yu. (2013) "Vsenarodnoe obruchenie s Rossiei". Puteshestvie tsesarevicha Aleksandra Nikolaevicha 1837 goda i rozhdenie gubernskikh vystavok ["The all-national betrothal with Russia." The trip of Tsesarevich Alexander Nikolayevich in 1837 and the birth of provincial exhibitions]. In: Zemskova, A.V. (ed.) *U istokov Rossiyskoy gosudarstvennosti: rol' zhenshchin v istorii dinastii Romanovykh* [At the Origins of

Russian Statehood: The Role of Women in the History of the Romanov Dynasty]. St. Petersburg: Yuridicheskii tsentr-Press. pp. 234–244.

7. Yanushkevich, A.S. (2014) Puteshestvie V.A. Zhukovskogo s velikim knyazem po Rossii v 1837 godu kak imagologicheskii tekst [V.A. Zhukovsky's trip with the Grand Duke of Russia in 1837 as an imagological text]. In: Alekseev, P.V. (ed.) *Dialog kul'tur: poetika lokal'nogo teksta* [Dialogue of Cultures: Poetics of Local Text]. Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University. pp. 11–20.

8. Mayorova, A.S. (2015) Crown Prince Alexander Nikolayevich's visit to Saratov in 1837 in the context of cultural communications between the capital and provincial Cities of Russia. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya – Izvestiya of Saratov University. New Series. History. International Relations*. 15(1). pp. 81–86. (In Russian).

9. Anisimova, E. (2015) The Siberian Journey of Vasily Zhukovsky and Tsesarevich Aleksandr Nikolaevich in 1837: Two Images of the East. *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – SibFU Journal. Humanities and Social Sciences*. 8(7). pp. 1373–1381. (In Russian). DOI: 10.17516/1997-1370-2015-8-7-1373-1381

10. Anisimova, E.A. (2015) The Siberian fragment of V.A. Zhukovsky and Tsesarevich Alexander's travel across Russia in perception of Russian Writers of the 19th – early 20th centuries: from business Account to autobiography. *Imagologiya i komparativistika - Imagology and Comparative Studies*. 2(4). pp. 43–68. (In Russian).

11. Pletselman, V.L. (2015) *Institutsionalizatsiya puteshestviya naslednika rossiyskogo prestola Aleksandra Nikolaevicha v 1837 g.* [Institutionalisation of the travel of the heir to the Russian throne Alexander Nikolayevich in 1837]. Moscow: HSE.

12. Zhukovsky, V.A. (1885) *Sochineniya: v 6 t.* [Works: In 6 vols]. 8th ed. Vol. 6. St. Petersburg: Izdanie knigoprodavtsa Glazunova.

13. Muravyev, A.N. (1838) *Vospominaniya o poseshchenii svyatyini Moskovskoy Gosudarem Naslednikom* [Memoirs about Visiting the Shrine by the Moscow Sovereign Heir]. St. Petersburg: Tip. III Otd. Sob. E.I.V. Kantselyarii.

14. Anon. (1837) *Ukazanie vazhneyshikh primechatel'nostey na puti Ego Vysochestva Gosudarya Naslednika Tsesarevicha* [The most important sights on the way of His Highness the Heir to the Throne Tsesarevich]. St. Petersburg: Voennaya tipografiya.

15. Zhukovsky, V.A. (2004) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 20 t.* [Complete Works and Letters: In 20 vols]. Vol. 14. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

16. Shenk, F.B. (2016) *Poezd v sovremennost'. Mobil'nost' i sotsial'noe prostranstvo Rossii v vek zheleznikh dorog* [A train to the Present. Mobility and Social Space of Russia in the Age of Railways]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

17. Zakharova, L.G. & Tyutyunnik, L.I. (1999) *Venchanie s Rossiey. Perepiska velikogo knyazya Aleksandra Nikolaevicha s imperatorom Nikolaem I. 1837 god* [Betrothal with Russia. Correspondence of Grand Duke Alexander Nikolayevich with Emperor Nicholas I. 1837]. Moscow: Moscow State University.

18. Yurevich, S.A. (1887) Dorozhnye pis'ma S.A. Yur'evicha vo vremya puteshestviya po Rossii Naslednika Tsesarevicha Aleksandra Nikolaevicha v 1837 godu [Road letters from S.A. Yurievich during Heir Tsesarevich Alexander Nikolayevich's journey across Russia in 1837]. *Russkiiy arkhiv*. 4. pp. 441–468.

19. *Severnaya pchela*. (1837). 112. pp. 1.

20. Shcherbakova, E.I. & Sidorova, M.V. (eds) *Rossiya pod nadzorom. Otchety III ot-deleniya. 1827–1869* [Russia is under surveillance. Reports of the III department. 1827–1869]. Moscow: Rossiyskii fond kul'tury, Rossiyskiiy arkhiv.

21. *Moskovskie vedomosti*. (1837). 54. p. 383.

22. Dubrovin, N. (1902) Vasilij Andreevich Zhukovskiy i ego otnoshenie k dekabristam [Vasily Andreevich Zhukovsky and his attitude to the Decembrists]. *Russkaya starina*. 110(4). pp. 45–119.
23. Demidov, A.N. (1837) Puteshestvie v Krym [Journey to the Crimea]. *Sankt-Peterburgskie vedomosti*. 205. pp. 927–928.
24. Samover, N.V. (1995) “Ne mogu pokorit’ sebya ni Bulgarinym, ni dazhe Benckendorfu...”. Dialog V.A. Zhukovskogo s Nikolaem I v 1830 godu [“I cannot subdue myself neither to Bulgarin, nor even Benckendorff...”. Dialogue of V.A. Zhukovsky with Nicholas I in 1830]. In: Reitblat, A.I. (ed.) *Litsa: Biograficheskiy al'manakh* [Persons: A Biographical Almanac]. Issue 6. Moscow; St. Petersburg: Feniks; Atheneum. pp. 87–119.
25. Guzairov, T. (2004) Sposoby transformatsii faktov v “Zapiske o N. Turgeneve” V.A. Zhukovskogo [Methods of facts transformation in the “Note on N. Turgenev” by V.A. Zhukovsky]. In: Frayman, T., Leybov, R. & Kiseleva, L. (eds) *Lotmanovskiy sbornik 3* [The Lotman Collection 3]. Moscow: OGI. pp. 961–974.
26. Shchegolev, P.E. (1999) *Duel' i smert' Pushkina* [Pushkin's Duel and Death]. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.
27. Guzairov, T. (2017) Moskovskie vizity tsesarevicha Aleksandra Nikolaevicha i V.A. Zhukovskogo (iz istorii tsarskoy pedagogiki 1831–1837 gg.) [Moscow visits of the Tsesarevich Alexander Nikolayevich and V.A. Zhukovsky (from the history of tsarist pedagogy in 1831–1837)]. In: Yanushkevich, A.S. (ed.) *Zhukovskiy. Issledovaniya i materialy* [Zhukovsky. Research and Materials]. Issue 3. Tomsk: Tomsk State University. pp. 499–540.
28. Guzairov, T. (2016) Primechaniya [Notes]. In: Zhukovskiy, V.A. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 20 t.* [Complete Works and Letters: In 20 vols]. Vol. 11. Moscow: Izdatel'skiy dom YaSK. pp. 782–793.
29. Lobanov, V.V. & Kanunova, F.Z. (1981) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo (opisanie)* [V.A. Zhukovsky's Library (Description)]. Tomsk: Tomsk State University.

И.А. Поплавская

СИБИРЬ В РЕЦЕПЦИИ ЛИЦЕИСТОВ ПУШКИНСКОГО ВЫПУСКА¹

В статье представлено восприятие Сибири лицеистами пушкинского выпуска Илличевским, Матюшкиным, Пуцциным и Кюхельбекером. Анализируется рецептивная модель «петербуржца в провинции», исследуются реформаторские проекты Сперанского, связанные с интеграцией Сибири в состав Российской империи. Предметом специального рассмотрения становятся концепция о цивилизующей роли империи в освоении Сибири Матюшкина, федералистская программа развития региона Пуццина, эстетическое и религиозно-философское восприятие Сибири Кюхельбекером. Сибирские впечатления выпускников Лицея формируются в связи с «лицейским текстом» русской литературы первой половины XIX в.

Ключевые слова: Сибирь, рецепция, лицеисты, пушкинский выпуск, А.Д. Илличевский, Ф.Ф. Матюшкин, И.И. Пуццин, В.К. Кюхельбекер, М.М. Сперанский, «лицейский текст» русской литературы.

В деле строительства русской культуры первой половины XIX в. особое место отводится Царскосельскому лицей (1811–1817) и его первым выпускникам. Согласно «Высочайше утвержденному постановлению о Лицее», опубликованному 12 августа 1810 г., это учебное заведение закрытого типа уравнивалось в правах с российскими университетами [1]. Расположенный в Царском Селе, загородной резиденции российских императоров, Лицей находился под особым покровительством царской семьи и воспринимался как модель учебного заведения нового типа. В основе этой модели лежит концепт дома, отражающий новые историко-культурные реалии эпохи Александра I [2]. Отношение к Лицею как к дому-семье, как к общению единомышленников, союзу воспитанников и наставников, союзу государя и его подданных, формирование нового типа личности, отличающейся выраженным гуманистическим сознанием, нацеленной на

¹ Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 17-14-70002 а(р) «Русские писатели в Томске: томский локальный текст и региональный литературный процесс».

активное жизнестроительство и самостроительство, наделенной чувством гражданского мессианизма, – все это во многом подготовило появление в русской культуре целого созвездия лицеистов первого выпуска: поэтов А.С. Пушкина, А.А. Дельвига, В.К. Кюхельбекера, декабриста И.И. Пущина, дипломата, министра иностранных дел А.М. Горчакова, генерала В.Д. Вольховского, адмирала, полярного исследователя Ф.Ф. Матюшкина, директора Императорской Публичной библиотеки М.А. Корфа.

Жизнь четырех лицеистов пушкинского выпуска: А.Д. Илличевского, Ф.Ф. Матюшкина, И.И. Пущина, В.К. Кюхельбекера – в разное время оказалась связана с Сибирью и Томском. Их восприятие Сибири раскрывает разные идеологические, поведенческие и эстетические концепции, связанные с осмыслением имперского, колониального и национального в русской истории и литературе первой половины XIX столетия.

I

Известно, что в 1804 г. была образована Томская губерния, входившая ранее в состав Тобольской. В 1812 г. при прямом содействии М.М. Сперанского томским гражданским губернатором был назначен Демьян Васильевич Илличевский, отец лицеиста Алексея Илличевского (1798–1837).

Восприятие Сибири Алексеем Илличевским представлено уже в его лицейском эпистолярии. Так, в письме к своему другу по петербургской гимназии П.Н. Фуссу от 27 июля 1814 г. Илличевский пишет:

У вас теперь каникулы: тебе, я думаю, весело! И я бы мог проводить также весело время, когда бы не лишен был удовольствия видеть своих родителей, которые живут теперь в Томске, где папенька губернатором, за 4500 верст отсюда! Каково расстояние? Часто случается, что по два месяца не получаю от них писем [3. С. 77].

В этом письме важны пространственно-временные характеристики Российской империи, объединяющие Петербург и Томск, столицу и провинцию. Упоминание о двух месяцах, отделяющих время написания и получения письма, раскрывает ритм бытовых и культурно-коммуникативных связей между европейской частью России и Западной Сибирью. Для Илличевского Сибирь в это время становится знаком известной «запредельности» и одновременно интимности пространства Российской империи, которое «переживается» им через семейно-родовые связи. Как Лицей, так и Сибирь воспринимаются юным лицеистом в качестве аналогов большого и малого Дома.

После окончания Лицея Илличевский был определен на службу в Министерство финансов. Однако вскоре он подает в отставку и с 1 декабря 1817 г. числится чиновником Сибирского почтамта в Тобольске с постоянным проживанием в Томске. Сохранилось письмо от 4 апреля 1818 г., отправленное Илличевским из Томска в Петербург и адресованное В.К. Кюхельбекеру. В нем автор пишет:

С величайшим нетерпением ожидал я ответа на мое письмо к вам от 24 января <...> Мне весьма странно слышать, что наш барон (А.А. Дельвиг. – *И.П.*) называет Малороссию скучною стороною – Малороссию, российскую Италию, Аркадию, все что вам угодно. <...> Не знаю, какова ему покажется наша Сибирь, если исполнится его предположение к нам приехать – чуть ли Урал и Иртыш не произведут одно действие с Днепром и Городнею. <...> Впрочем нечего пугаться Сибири, везде есть умные люди и милые девушки – для меня так и в холодной Сибири тепло – и в Петербург возвращаться я еще не думаю. Одно только, чем столица имеет перед провинциями выгоду, – это литературные, театральные, политические <...> и всякого рода интересные новости. Для меня до многих нет нужды, – но литература все еще имеет меня покорнейшим слугой! Хотя, например, вы давно читаете Историю Карамзина, восхищаетесь, судите и слышите о ней суждения умных людей – мы же ни того, ни другого! – и знаем о ней только по газетам – когда-то получим мы экземпляры, за которые из одной Томской губернии послано до 4000 р.!! <...> Пишите о себе и своих произведениях <...> не дожидаясь моего ответа, который всегда придет через три месяца. Ранее нельзя за расстоянием [4. С. 151–153].

Как видно из письма, Илличевский, живя в Томске, осознает себя человеком фронта и выстраивает свое поведение по модели «петербуржца в провинции», осуществляющего культуртрегерские функции. Упоминание в нем «Истории» Карамзина не кажется случайным. Рецепция Сибири Илличевским вписывается в контекст большой истории государства Российского и получает через сравнение с Малороссией имагологическое и одновременно культурно-эстетическое измерение. Сопоставление-противопоставление Малороссии и Сибири как провинции по отношению к центру дополняется указанием на временные сроки (три месяца), обеспечивающие ритм коммуникации между столицей и сибирским регионом и служащие основой для особого восприятия пространства и времени в литературе и публицистике Сибири и о Сибири.

В этом же письме формируются основы культурного мифа о Лицее и лицеистах пушкинского выпуска. Константой этого мифа становятся образы дома, семьи, дружеского круга и творчества, получающие и индивидуальное, и коллективное, и культурно-историческое осмысление. В его структуре важная роль отводится и Сибири с ее «красою дикой» и с всеоживляющей весной, как она представлена, например, в послании Дельвига «К Илличевскому. (В Сибирь)» (1818). Ср.:

... друг далекий мой <...>
По почте мне отправит пени
Наместо нежных уверений,
Что он и в дальних тех странах
Своих друзей не забывает,
Где мир, дряхлеющий во льдах,
Красою дикой поражает;
Что, как мелькнувшая весна
Там оживляет все творенье,
Так о друзьях мечта одна
Его приводит в восхищенье... [5. С. 101–102].

Живя в Томске, Илличевский продолжает заниматься литературой. В 1819 г. он избирается членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В 1820–1821 гг. печатает свои поэтические произведения в журнале «Благонамеренный» под псевдонимом «Томск». Томский период жизни Илличевского связан с еще одним важным событием. 6 июля 1819 г. в Томск прибыл М.М. Сперанский (1772–1839), «крестный отец» Лицея, исполнявший в это время должность сибирского генерал-губернатора. Ранее Сперанский как реформатор и сторонник конституционной монархии был известен такими своими записками и проектами, как «Размышления о государственном устройстве империи» (1802), «Первоначальное начертание особенного Лицея» (1808), «Введение к уложению государственных законов» (1808). Разработка Сперанским «Сибирского уложения» как основы реформирования управления этим регионом, принятие нормативных документов, в числе которых «Общее учреждение для местного управления Сибири», предусматривающее разделение Сибири на Западную и Восточную, «Общий устав об управлении сибирских инородцев», «Устав о ссыльных», «Устав о городских казаках» и др., имели целью изменить судьбу Сибири, превратить это огромное пространство из колонизируемой окраины

в полноценную территорию в составе Российской империи, мало чем отличавшуюся от европейской части страны [6. С. 92]. Близкое знакомство Илличевского-младшего со Сперанским в Сибири приводит к утверждению в его творчестве концепции о цивилизующей роли империи в освоении и управлении «землей незнаемой», о включенности ее в ход мировой истории благодаря вхождению в состав Российской империи [Там же. С. 93]. Эта точка зрения получила, в частности, отражение в приписываемом Илличевскому «Канте на возвращение в Томск Михаила Михайловича Сперанского» (1820). В нем через разветвленную систему метафор подвергается мифологизации личность и деятельность Сперанского в период его пребывания в Сибири: «Гений благ», создатель «скрижали закона», носитель «благ неистощимых», податель милости, животворитель «надежды всех», через использование высокой лексики, а также ветхозаветной и новозаветной образности [7. С. 123].

Деятельность Сперанского на посту генерал-губернатора Сибири в 1819–1821 гг., приветственные стихи в его честь, которые звучали почти в каждом городе, где ему пришлось останавливаться, записки и письма Г.С. Батенькова о совместной поездке с ним по региону, наконец, многочисленные легенды и воспоминания о его пребывании в Сибири – все это в известной мере способствовало становлению региональной литературы и публицистики в Сибири в первой половине XIX в.

Илличевский прожил в Томске около двух с половиной лет, с января 1818 г. до лета 1820 г. Из материалов Вольного общества любителей российской словесности становится известно, что 20 января 1821 г. он читал в Петербурге в собрании этого общества свою басню «Дервиш» [8. С. 760]. День лицейской годовщины 1822 г. отмечался на квартире Илличевского в Петербурге, о чем свидетельствует стихотворение Дельвига под названием «19 октября 1822»:

Что Илличевский не в Сибири,
С шампанским кажет нам бокал,
Ура, друзья! В его квартире
Для нас воскрес лицейский зал [5. С. 115].

При жизни Илличевского вышел единственный сборник его стихов «Опыты в антологическом роде» (1827). В предисловии к нему автор пишет о «легкой поэзии» как особом роде литературы, которая «приносит пользу языку и образованности» и является частью национального историко-культурного процесса и основным

направлением его собственного творчества. Сохраняющийся интерес к этому роду литературы он обосновывает тем, что «просвещенная любовь к искусствам, ничем не ограничиваясь и не презирая никакой отрасли словесности, – с любопытством замечает успехи оной во всех родах» [9]. Наиболее значимые стихотворения из этого сборника – «К портрету поэта В.А. Жуковского», «К брату», «Песочные часы», «Желания мудрого», «К воспоминанию». Сохранились сведения об общении Пушкина с Илличевским у Дельвига в 1827 г., об их встречах на лицейских годовщинах 1828, 1832, 1836 гг., о подаренной Пушкиным Илличевскому II главы с надписью «Другу Олесееньке от Француза» [10. С. 171]. Умер Илличевский, как известно, в один год с Пушкиным, 6 октября 1837 г. в Петербурге.

II

Около четырех лет находился в Сибири другой лицеист пушкинского выпуска – Ф.Ф. Матюшкин (1799–1872). После окончания Лицея он был определен на военный шлюп «Камчатка» под начальство известного мореплавателя В.М. Головнина. Вместе с ним в 1817–1819 гг. Матюшкин совершает свое первое кругосветное путешествие. Весной 1820 г. Ф.П. Врангель, также участвовавший в кругосветном плавании на «Камчатке», предложил Матюшкину отправиться с ним на северо-восток Сибири. В составе Колымского отряда научной экспедиции Врангеля он в 1820–1823 гг. исследовал северные районы Восточной Сибири и побережье Восточно-Сибирского моря. Известно, что Врангель произвел съемку берегов Сибири от устья реки Индигирки до острова Колючина и тем окончательно разрешил вопрос о том, соединяется ли Америка с Азией к северу от Берингова пролива. Мичман же Матюшкин проводил исследования берегов рек Большой и Малый Анюй и тундры к востоку от Колымы. Впоследствии Врангель назвал один из описанных им мысов в Чаунской губе мысом Матюшкина [11. С. 196].

В качестве офицера-исследователя Матюшкин воспринимается одновременно как идеолог и практик в освоении новых территорий Российской империи. Известно, что Матюшкин выехал в Сибирь в марте 1820 г. Сохранились письма из его сибирской экспедиции, адресованные директору Лицея Е.А. Энгельгардту. 7 мая 1820 г. Матюшкин прибыл в Томск, где состоялась его встреча с Илличевским, а 23 мая он уже был в Иркутске, где произошло его знакомство со

Сперанским и Батеньковым. В своих записках Матюшкин так вспоминал об этой встрече:

На другой день после моего приезда в Иркутск я явился к Михаилу Михайловичу по долгу службы. <...> Мои ответы ему были дерзки и молоды. Так, например, на вопрос, как мне нравится Сибирь и какое она сделала на меня впечатление, я отвечал, что вижу в ней – Россию через сто лет: образованность и довольство крестьян, приветливость и бескорыстную услужливость чиновников, порядок на станциях, прекрасные дороги, невероятную честность и пр. [12. С. 219–220].

В рецепции Сибири Матюшкиным акцентируется ее колониальный статус, ее отставание от центра в экономическом и культурном отношении, поэтому Сибирь видится ему как «Россия через сто лет».

Одновременно в восприятии Сибири он придерживался и транс-континентальной концепции, согласно которой регион – это возможный центр единого Евро-Азиатско-Американского континента, связующее пространство между Россией и Америкой через крайний северо-восток Сибири, между Старым и Новым Светом. Об этом, в частности, упоминает и Сперанский в письме к дочери от 28 мая 1820 г. из Иркутска. Он пишет:

Ко мне прислали две партии молодых морских офицеров для открытий по Ледовитому морю. <...> Есть действительно признаки большого острова, а может быть, и земли, соединяющей Сибирь с Америкой. Со временем можно будет ходить пешком чрез Иркутск в Бостон и Филадельфию [13. С. 1758–1759].

Письма Матюшкина, посвященные его пребыванию в Сибири, во многом напоминают путевой дневник. Основу его составляет индивидуальное переживание автором пространства и времени в Сибири в их взаимной соотнесенности и в сравнении с пространством Центральной России. Ср.:

Из Тары в Каинск 353 версты мы проехали сутки, здесь этому не удивляются.

Плавание по Лене спокойно и довольно поспешно, особливо весною (но мы делали в сутки не более 150 в.).

В последний день моей верховой езды я хотел, несмотря на холод, сделать 150 верст до Омолону. Я ехал весь день и ночь [14. С. 351, 358, 377–378].

Восприятие времени и пространства передает внутренний ритм жизни Матюшкина в Сибири и одновременно формирует своего рода мегаобраз этого региона и Российской империи в целом в сознании автора и читателя. Ср., например, фрагменты в его письмах Е.А. Энгельгардту:

Через неделю Вы уже ни строчки не услышите и не получите от меня – будущее письмо мое будет (№ 10) от 1 мая 1821 года, а Вы его получите 1 декабря.

...здесь нависла над нами скала, седые волны омывают подножие, она, кажется, грозит ежеминутно падением своим, между тем проходят века, и всеокрушающее время не смеет ее коснуться. <...> Вот отрывок красноречивейшей галиматши. Вы видите, Егор Антонович, что я еще не забыл уроки Н.Ф. (Н.Ф. Кошанского. – *И.П.*), помню их через три года и 8000 верст [14. С. 357–358].

Все письма Матюшкина из Сибири основаны на хорошем знании фактического материала и снабжены многочисленными рисунками и схемами, изображающими виды Иркутска, Якутска, берегов Лены, северное сияние, путь следования экспедиции. Вместе с тем в описании Сибири у Матюшкина преобладает научно-художественный подход, и не случайно фрагмент его письма от 6 августа 1821 г. был впоследствии опубликован в альманахе «Мнемозина» за 1824 г. под названием «Извлечение из письма к Е.А. Э.....у» за подписью «Ф.М.». В нем упоминается Д.И. Павлутский, офицер, руководивший военными экспедициями на Чукотку в 1730–1740-х гг. В письме Матюшкин приводит фрагмент перевода чукотской поэмы, рассказывающей о колонизации Российской империей северо-востока Сибири. Ср.:

Старик Коркин между прочим пел нам о походах Павлутского на природном своем языке <...> вот оригинальная поэма! Она начинается повелением дочери солнца (Тырекирим), т.е. Императрицы Е л и с а в е т ы идти Павлутскому против Чукчей. – Далее: прощание его с женою и детьми. – Приезд в Нижнеколымск. – Набор команды. Потом его поход, сражения – смерть [15. С. 173].

Экспедиция Врангеля в северо-восточной части Сибири продолжалась в течение четырех лет, с 1820 по 1824 г. После этого им был напечатан отчет, изданный в Петербурге в 1841 г. в двух частях. В каждую из частей вошли отдельные главы и отчеты мичмана Матюшкина о его самостоятельных экспедициях. В отчетах Матюшки-

на много места занимает этнографический материал, включающий в себя описание внешнего вида, одежды, жилищ, религиозных обрядов, культуры и языка чукчей, юкагиров, тунгусов, якутов и других народностей крайнего Севера. Все это воспроизводило национальные и социальные особенности местного колорита, который затем занял значительное место в литературе и публицистике Сибири. Так, например, описывая жизнь чукчей, он отмечает:

Как и другие народы Сибири, чукчи имеют немногие потребности, легко удовлетворяемые произведениями оленьих стад, которые дают им жилища, пищу и все, что требуется для кочевой их жизни. <...> Легко и хладнокровно переносят они все недостатки и лишения и не завидуют другим, видя, что за необходимые удобства и удовольствия жизни надобно отказаться от своей природной независимости [16. С. 180].

Такая взаимосвязь образа жизни народов Северо-Восточной Сибири с природными и климатическими условиями воспринимается как значимый эстетический факт в литературе Сибири и в литературе о Сибири. Кроме того, автор пытается воспроизвести некоторые черты национальной психологии этих народностей. О тех же чукчах он говорит:

... хладнокровие и вообще обдуманность, составляющая отличительную черту характера чукчей, дает им на торге большое преимущество перед русскими... [16. С. 178].

Во второй половине 1823 г. после завершения экспедиции Матюшкин отправляется в обратный путь. Известно, что уже 26 декабря он был в Казани, откуда отправил очередное письмо Энгельгардту. Пребывание Матюшкина в Восточной Сибири послужило одним из источников сведений об этом регионе для русской литературы и культуры первой половины XIX в. Об этом свидетельствуют и фрагмент его письма, опубликованный в «Мнемозине», и регулярная переписка его с Энгельгардтом, и упоминания о сибирской экспедиции Матюшкина в письмах к нему И.И. Пущина. Ср. письма Пущина Матюшкину:

Как бы тебе опять отправиться описывать какой-нибудь другой мыс Матюшкин, – тогда бы и меня нашел – иначе вряд ли встретимся. Со мной здесь один твой знакомец, Муравьев-Апостол, брат Сергея – нашего мученика (речь идет о декабристе Матвее Ивановиче Муравьеве-Апостоле (1793–1886), жившем в Ялуторовске с 1836 г. – *И.П.*); он видел тебя у Корниловича, когда ты возвратился из полярных стран; шлет тебе

поклон – а я в Энгельгардтовой книге имею твое описание ярмарки в Острове (от 25 января 1852 г. из Ялуторовска).

Приветствует тебя Матвей Муравьев, он помнит твои рассказы по возвращении из сибирской экспедиции. Один он только тебя знает из здешних моих товарищей ялуторовских» (от 9 сентября 1852 г.) [17. С. 259, 263].

III

Из всех лицеистов пушкинского выпуска дольше всех оказались связаны с Сибирью декабристы Пущин (1798–1859) и В.К. Кюхельбекер (1797–1846). Рецепция Пушкиным Сибири, в которой он прожил тридцать лет, с 1827 по 1856 г., осуществляется через образ семьи, понятой как общность судьбы декабристов, находящихся здесь в ссылке, а также как общность, основанная на родовых, социальных, политических и культурных связях. Ссылный Пущин воспринимает Сибирь вначале как дом-тюрьму, как «тюремную семью», как «Петровский союз». Позднее, в 1839–1855 гг., живя на поселении в Туринске и Ялуторовске, он пишет уже о «сибирской семье», «союзниках», артельном братстве. Поведенческая модель «Маремьяна-старичи» как «собирателя» и «летописца» сибирской жизни реализуется, в частности, в его переписке со ссылными декабристами и практической помощи им. См., например, его письмо Энгельгардту от 26 февраля – 12 июля 1845 г. из Ялуторовска:

А почтовый день у меня просто как в каком-нибудь департаменте. Непременно всякую почту пишу и получаю письма. Сношения с родными, друзьями утешительны. Надобно быть в Сибири, чтобы настоящим образом понять эту отраду. В эти годы накопилась целая библиотека добрых листков – погодно переплетены. Читайте сами, сколько томов составилось. Часто заглядываю на эту полку с усладительным чувством. Судьба меня балует дружбою, мною не заслуженной [17. С. 202].

Можно сказать, что письма Пущина и письма декабристов к нему представляют своего рода «энциклопедию тридцатилетней сибирской эпопеи декабристов». В то же время восприятие судьбы самого Пущина и судеб отдельных ссылных декабристов символически соотносится в его письмах в этот период с евангельским сюжетом о блудном сыне. В данном сюжете Сибирь связана с лиминальной стадией в его развитии, вызывающей ассоциации с нравственной или с физической смертью. Как верно отмечает в этой связи В.И. Тюпа, «мифологизация Сибири как лиминального про-

странства русской культуры окончательно сложилась благодаря отправке на каторгу декабристов, что стало парадигмальным явлением российской истории». При этом сама ситуация телесного умирания в зауральских просторах «может оказаться залогом духовного рождения заново» [18. С. 29].

В федералистском проекте Пушина Сибирь сближается с Американскими Штатами. Основой тому выступает отсутствие в ней крепостного права и наличие богатых природных ресурсов. Об этом Пушкин говорит, в частности, в письме к Энгельгардту от 26 февраля – 12 июля 1845 г. Он отмечает, что управление в Сибири «то же самое, что и за Уралом, с одною только существенною, коренною выгодною: нет крепостных. Это благо всей Сибири, и такое благо, которое имеет необыкновенное полезное влияние на край и, без сомнения, подвигнет ее вперед от России. Я не иначе смотрю на Сибирь, как на Американские Штаты. Она могла бы тотчас отдделиться от метрополии и ни в чем не нуждалась бы – богата всеми <дарами> царства природы. Измените несколько постановлений, все пойдет улучшаться» [17. С. 198]. В таком восприятии Сибири отразилась сущность реформаторской идеологии Пушкина-декабриста.

Через всю сибирскую переписку Пушина проходят образы Лицея, лицейского братства, лицеистов-«чугунников» и лицейских годовщин. Письма его постоянных лицейских корреспондентов – Энгельгардта, Малиновского, Матюшкина, Кюхельбекера – включаются в живой «устный» контекст, который создается из воспоминаний, чтений стихов Пушкина и других лицейских поэтов, из рассказов и бесед самого Пушина с декабристами и членами их семей. Так, например, в письме к Энгельгардту от 4 декабря 1837 г. из Петровского завода Пушкин сообщает:

Как водится, 19 октября я был с вами, только еще не знаю, где и кто из наших вас окружал. Тут у меня обыкновенно рассказы, которые и между товарищами находят сочувствие. <...> Хотелось бы подать голос бедному Вильгельму, он после десятилетнего одиночного заключения поселен в Баргузине и там женился. <...> Верно, мысли наши встретились на разных точках Сибири; некоторые воспоминания не стареют, а укрепляются временем. Лицей в том числе для меня [17. С. 108].

Фактически задолго до написания Пушкиным «Записок о Пушкине» они существовали уже в устном варианте, который сложился из бесед их автора с декабристами и Е.И. Якушкиным. Переписка с

друзьями-лицеистами и «устный» культурный контекст, в котором оживают лицейские традиции, во многом определяют восприятие Пушкиным Сибири, судеб ее невольных жителей и поэтику его «сибирского» текста [19].

IV

Обратимся к рецепции Сибири Кюхельбекером. Как известно, он был освобожден из заключения в Свеаборгской крепости 14 декабря 1835 г. и отправлен на поселение в город Баргузин Иркутской губернии, куда прибыл 20 января 1836 г. [20. С. 96]. В письме к Пушкину от 12 февраля 1836 г. Кюхельбекер сообщает о своих первых впечатлениях «о Забайкальском крае или Даурской Украйне». Они связаны с климатическими, географическими и энтографическими особенностями юга Восточной Сибири. Ср.:

Во-первых, в этой Украйне холодно, очень холодно; во-вторых, нравы и обычаи довольно прозаические: без преданий, без резких черт, без оригинальной физиономии. Буряты мне нравятся гораздо менее кавказских горцев: рожи их безобразны <...> на стать нашей любезной отечественной литературы, – плоски и безжизненны. Тунгусов я встречал мало: но в них что-то есть: звериное начало (*le grincire animal*) в них сильно развито и, как человек-зверь, тунгус в моих глазах гораздо привлекательнее расчетливого, благоумного бурята. <...> Русские здесь почти те же буряты, только без бурятской честности, без бурятского трудолюбия. <...> Горы Саянские или, как их здесь называют, Яблонский хребет, меньше Кавказских, но, кажется, выше Уральских – и довольно живописны. О Байкале ни слова: я видел его под ледяною броней. Зато, друг, здешнее небо бесподобно: какая ясность! Что за звезды! [21. С. 493–494].

В этом отрывке Забайкалье сравнивается с такими регионами, как Украина и Кавказ, тоже подвергшимися внутренней колонизации [22. С. 384]. В восприятии Западной и Восточной Сибири писателем-декабристом важную роль играет фактор естественной границы: Уральские и Саянские горы. Местное население – буряты и тунгусы – сравниваются между собою, а также с кавказскими горцами и с русскими, живущими здесь, как национальные и нравственно-эстетические феномены. Сам факт присутствия русских в Забайкалье также рассматривается в контексте колониальной стратегии Российского государства, которое сочетало территориаль-

ную экспансию с сильной иммиграционной политикой [22. С. 382]. Наконец, это письмо Кюхельбекера, как и другие его письма другу-поэту, отличается выраженной литературоцентричностью и прочитывается в связи с формированием «лицейского текста» русской литературы.

В стихотворении поэта «19 октября 1836 года», посланном в письме Пушкину из Баргузина 18 октября 1836 г., а также таких его произведениях, как «Тени Пушкина», «19 октября 1837 года», «Три тени», «До смерти мне грозила смерти тьма», «Участь русских поэтов» и др., созданных в 1836–1846 гг., образ Сибири дается через преломление в индивидуальной судьбе ссыльного поэта и воспринимается как «темная даль», как «море темноты», как «край изгнания». Внешней границей сибирского региона выступает в них «Европы страж, седой Урал», а внутренними – «Енисей, и степи, и Байкал». Важно отметить, что в этих стихотворениях образы Овидия и Тассо соотносятся в сознании поэта один – с судьбой ссыльного Пушкина, другой – с десятилетием одиночного тюремного заключения Кюхельбекера до высылки его в Сибирь («Я стал знаком с Торкватовой судьбою»). Находясь в Сибири, лирический герой Кюхельбекера сравнивает свою жизнь, свою невозможность полностью посвятить себя творчеству с судьбой Тантала, испытывающего в подземном царстве вечный голод и жажду. Ср. в стихотворении «Два сонета»:

Но что? не я ли сам страдалец тот Тантал?
И я живал в раю; за чашею нектарной
Молитв и песней я на небе пировал!

И вот и я, как он, с Олимпа в бездну пал;
Бежит от уст моих засохших вал коварный;
Ловлю – из-под руки уходит плод янтарный! [21. С. 115].

Можно сказать, что противопоставление Европы (Париж), столицы России (Петербурга) и Сибири в стихотворениях Кюхельбекера, написанных в ссылке, получает преимущественно эстетическое преломление и осознается им как невозможность всецело отдаться поэзии, поэтическому творчеству («Отняли время и досуг творить»). Воплощением этой ситуации на уровне мифопоэтики становится образ Тантала, низвергнутого с Олимпа в «бездну». В этой связи пространственное восприятие Сибири в стихотворениях поэта соотносится с вертикалью, где «край из-

гнания» оказывается тождественным «бездне», «аду», а Западная Европа и европейская часть России – «раю» [23].

Одновременно в рецепции Сибири Кюхельбекером значимым оказывается и религиозный контекст. Так, например, в письме к племяннице Наталье Григорьевне Глинке от 1 июня 1839 г. из Баргузина он сообщает:

Сеяли мы пшеницу 1 мая рано поутру... <...> вдруг перед начатием посева мой товарищ стал креститься на восход солнца, я и брат его и сестра также, он стал кланяться в землю, мы за ним. Признаюсь, давно никакая молитва не производила на меня такого впечатления: мне казалось, что ожило время патриархов, время Авраама, когда под открытым небом приносили жертву Всемогущему [24. С. 74–75].

Сибирь в этом письме сравнивается с древней землей Ханаанской времен Авраама, Исаака и Иакова. В книге «Бытия» Авраам, как известно, приносил жертвы Яхве у дубравы Мамре близ Хеврона, с ним Яхве заключил «завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное» (17. С. 7–8); важно и то, что священник Всевышнего Мельхиседек благословил Авраама дарами хлеба и вина, которые выступают прообразами причастия [25. С. 26]. Образ Авраама, к которому поэт впервые обращается еще в лицейском стихотворении «Бессмертие есть цель жизни человеческой» (1814), прочитывается здесь во многом как автоописательная метафора сибирской жизни поэта с его «духовной жаждой», тоской по «поэтическому» и вынужденным занятием самой «прозаической прозой»: земледелием и скотоводством. Упоминания об этом содержатся в дневнике и лирике Кюхельбекера. Ср.:

Слава Богу, я, говоря по-сибирскому, сегодня отстрадался, т.е. кончил жатву и сенокос.

С 18-го <ноября> по нынешний день жил я в Варашанте и молотил хлеб.

Я <...> сегодня <...> высеял пять пудов хлеба.

Прожил я 8 дней в Арашанте, пользовался водами и сеял хлеб; кроме того, прочел я там романы: де Санглена «Клятва на гробе», Зубова «Астролог Карабахский», чей-то «Ужасный брак», да перечел «Дочь купца Жолобова». Лучший из всех последний.

Сегодня у меня на пашне служили молебен: хлеб мой, слава Богу, очень недурен [26. С. 387, 393, 401, 402, 411].

Ср. в лирике поэта:

Работы сельские приходят уж к концу,
Везде роскошные златые скирды хлеба;
Уж стал туманен свод померкнувшего неба,
И пал туман и на чело певцу... [26. С. 430].

Благодаря религиозному началу в творчестве поэта формируется «высшая», «вневременная» точка зрения в рецепции Сибири, которая во многом связана с обращением поэта к метаистории, к Вечности и преломляется, в частности, через особенности авторского восприятия пространства. Так, в дневнике Кюхельбекер неоднократно описывает одну и ту же пространственную модель: вид на окружающую природу с горы или возвышенности, которая метафорически соотносится с «позицией сверхзнания», с «даром сверхвидения», которым обладает поэт в силу своей причастности особой касте избранных – поэтическому братству [27. С. 62]. Ср.:

Сегодня я был на горе довольно высоко; искал своего быка, да и нашел. При этом случае удалось мне насладиться прекраснейшим видом: все окрестные деревни и город, как на блюде.

Вчера я был на Елозиной горе; вид с нее хорош...

Ходил я с девицами на Козлову гору и дорогой рассказывал им сказку Гофмана «Der Sandmann» («Песочный человек»). Вид с горы хорош, но не так обширен, как с Елозиной. Флора здешняя прелестна.

... сегодня я был на Козловой горе. Спустился с довольно крутого гладкого спуска в ложину предикую, преуединенную, в которой даже птицы почти не пугались меня. Вид с горы прекрасный [26. С. 369, 375, 381, 406].

Такое восприятие пространства в творчестве Кюхельбекера раскрывает «сопряжение реальности земной и надмирной», передает неразрывную связь эстетического и религиозного дискурсов [28. С. 199]. Оно во многом определяет его рецепцию Сибири («край изгнания», «Сибирская Италия», Ханаанская земля); его философию судьбы «изгнанника поэта», одинокого певца, забытого всеми, испытывающего постоянные противоречия между поэтическим началом и «духом зем-

ли»; философию творчества, соотносимую с образами Тассо, царя Давида из одноименной поэмы, Тантала, Прометея.

Восприятие Сибири Кюхельбекером неотделимо от имени Пушкина, поэтов пушкинского круга, образа Лицея и лицейских годовщин. Можно сказать, что в его дневнике 1836–1845 гг. представлен своего рода сибирский вариант «лицейского текста», преломляющийся через индивидуальную судьбу и творчество ссыльного поэта-декабриста. См., например,:

Сегодня день рождения покойного Пушкина. Сколько тех, которых я любил, теперь покойны!

В душе моей всплывает образ тех,

Которых я любил, к которым ныне

Уж не дойдет ни скорбь моя, ни смех.

Пережить всех – не слишком отрадный жребий! (запись от 26 мая 1840 г., Акша).

Кюхельбекер в Акше получил письмо от Жуковского из Дармштадта, и письмо, которое показывает высокую, благородную душу писавшего. Есть же, Боже мой, на твоём свете – люди! Сверх того, он прислал мне свои и Пушкина сочинения (от 9 ноября 1840 г., Акша).

Сегодня 30 лет со дня открытия Лицея. Теперь всем моим товарищам (оставшимся в живых) за сорок лет. Из тридцати тогда поступивших в Лицей <...> осталось <...> всего двадцать (от 19 октября 1841 г., Акша).

Тому 27 лет назад, 28-го мая, в день св. Вильгельма, т.е. в мои именины, и вместе тогда было Вознесение, как и вчера, сидел я в карцере и чуть было не был выключен из Лицея. Майские мои несчастья начались рано: в мае 1817 г., напр., моя ссора с Малиновским и горячка, следствие этой ссоры; да побег из больницы в пруд Алесандровского сада, где я чуть-чуть не утопился (от 29 мая 1842 г., Акша).

Вчера у меня был такой гость, какого я с своего свидания с Матюшкиным еще не имел во все 17 лет моего заточения, – Николай Пущин! <...> у него душа та же – пущинская, какая должна быть у брата Ивана Пущина (от 17 августа 1842 г., Акша).

Сегодня я ничего не читал, а написал письмо Малиновскому и переписывал «Толкование молитвы господней» (от 1 апреля 1845 г., Курган, «Толкование» было составлено Кюхельбекером и адресовано великому князю Александру Николаевичу. – И.П.).

Сегодня день рождения покойного Пушкина (от 26 мая 1845 г., Курган) [26. С. 380, 392, 407, 411, 422, 429].

По верному замечанию современной исследовательницы, в дневнике Кюхельбекера отражен «процесс возрастания человека духовного, который стремится возвыситься над телесно-душевной сферой, страдает от состояния «плотью дух мой подавлен», «грудь не вечностью полна» [29. С. 84]. В его «лицейском тексте» 1830–1840-х гг. структурообразующими оказываются образы Лицея (дома), поэзии (книги), лицейского круга (посвященных), Пушкина, которые дублируются и получают экзистенциальное прочтение через описание сибирского дома поэта в Баргузине, Акше, в деревне Смолино Курганского округа, Тобольске, через автобиографические и мифопоэтические образы поэта-изгнанника, через упоминание о членах его малой семьи и большой семьи ссыльных декабристов. Хронотоп этого текста организуется противопоставлением-сопоставлением центра и периферии, европейской части России и Восточной, а затем Западной Сибири. Временными координатами в нем выступают 19 октября, 26 мая – день рождения Пушкина, 10 июня – день рождения Кюхельбекера и 28 мая – день св. Вильгельма или Гильома Желонского (ок. 750–812), графа Тулузы.

Как видим, восприятие Сибири Кюхельбекером преломляется через его экзистенциальный опыт ссыльного, одинокого и непонятого (непрочитанного) поэта, как он пишет об этом, в частности, в дневнике 16 сентября 1842 г.:

Если человек был когда несчастлив, так это я: нет вокруг меня ни одного сердца, к которому я мог бы прижаться с доверенностью [26. С. 411].

В целом же сибирский период жизни и творчества поэта получает преимущественно религиозно-эстетическую трактовку. В этой связи и смерть поэта в переписке декабристов тоже осмыслиется в данном ключе. См., например, письмо С.П. Трубецкого А.Ф. Бригену от 16 сентября 1846 г. из Оёка. В нем Трубецкой пишет:

Известия твои о Вилг<ельме> Кюх<ельбекере> подтверждаются письмами из Тобольска. Он, кажется, не жилец на сем свете, и я полагаю, что его убивает поэтическая страсть его. Если б он имел частицу прозы своего брата, то был бы здоровее. Поэты с горячими чувствами долго не живут. Долго жили Гёте, Вольтер, люди холодные [30. С. 175–176].

Подводя итог, следует сказать, что восприятие Сибири лицеистами пушкинского выпуска раскрывается через разные поведенческие и культурно-рецептивные модели. Позиция Илличевского, осознающего себя столичным жителем в провинции, связана с выстраиванием диалога между центром и сибирским регионом, между «большой» литературой и отдельными «локальными» текстами на пространстве Российской империи. Реформаторская деятельность Сперанского в Сибири имела целью осуществить ее интеграцию в состав России на правах полноценной территории с современными методами управления и хозяйствования. Офицер-исследователь Матюшкин занимался изучением северо-восточных районов Сибири и был сторонником цивилизующей роли Российской империи по отношению к присоединенным окраинам. Восприятие Сибири декабристами Пушным и Кюхельбекером тесно связано с их экзистенциальным опытом. Если для Пушина этот опыт осознается как внутреннее родство с родной семьей, оставшейся в центральной России, и одновременно с многочисленной семьей ссыльных, выполняющих культуртрегерские задачи, то для Кюхельбекера Сибирь в большей мере воспринимается как освоение им в условиях ссылки разных социальных ролей и поведенческих практик (поэт, муж, отец, брат, учитель, крестьянин-землепашец).

Рецепция Сибири лицеистами пушкинского выпуска неотделима от «лицейского текста» как особой словесной и поведенческой модели в русской культуре первой половины XIX в. Образы Лицея, лицейского братства, лицейских годовщин, имя Пушкина и его произведения, образы и судьбы лицеистов выполняют здесь сюжетобразующую, текстопорождающую и коммуникативную функции. Доминантой этого текста становится преобладающее эстетическое отношение к миру, человеку и слову.

Литература

1. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 31. 1810–1811. СПб., 1830. № 24325 от августа 12. С. 310–323.
2. Поплавская И.А. Царскосельский лицей: две модели культурного строительства // Вестн. Том. гос. ун-та. 2003. № 277. С. 99–102.
3. Грот Я.К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1887. Т. 13, № 4. 320 с.
4. Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. Вып. 31–32.

5. Дельвиг А.А., Кюхельбекер В.К. Избранное / сост., вступ. ст., биогр. очерки и примеч. В.В. Кунина. М.: Правда, 1987. 640 с.
6. Герилев Д.Н., Дуреева Н.С. Роль реформ М.М. Сперанского в управлении Сибирью // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 413. С. 88–93.
7. Поплавская И.А. Лицейсты пушкинского выпуска в Томске: (К проблеме формирования сибирской культуры в первой половине XIX века) // От Карамзина до Чехова: к 45-летию научно-педагогической деятельности Ф.З. Кануновой. Томск, 1992. С. 117–134.
8. Поэты 1820–1830-х годов: в 2 т. Л.: Сов. писатель, 1972. Т. 1. 792 с.
9. Илличевский А.Д. Опыты в антологическом роде // Лирика лицейстов / вступ. ст., сост. и примеч. А. Утренева. М., 1991. 269 с. [Электронный ресурс]: URL: http://az.lib.ru/i/illichevskij_a_d/text_0020.shtml
10. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Л.: Наука, 1988. 544 с.
11. Геворкян С.Г. Офицеры русского Военно-морского флота у истоков отечественного мерзотоведения // Пространство и время. 2011. № 3(5). С. 194–202.
12. Корф М. Жизнь графа Сперанского: в 2 т. СПб., 1861. Т. 2. 388 с.
13. Русский архив. 1868. № 11. С. 1681–1811.
14. Письма Ф.Ф. Матюшкина из Сибири // Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю. М., 1948. С. 347–403.
15. Мнемозина. 1824. Ч. 1. С. 172–176.
16. Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю. М.: Изд-во Главсевморпути, 1948. 454 с.
17. Пуцин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М.: Худож. лит., 1988. 559 с.
18. Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
19. Поплавская И.А. Сюжетная поэтика писем И.И. Пуцина // Сибирский текст в русской культуре: сб. ст. Томск, 2002. С. 31–36.
20. Декабристы: Биографический справочник. М.: Наука, 1988. 465 с.
21. Кюхельбекер В.К. Сочинения / сост., подгот. текста, коммент. В. Рака, Н. Романова; вступ. ст. Н. Романова; коммент. В. Рака, Н. Романова. Л.: Худож. лит., 1989. 576 с.
22. Эткинд А.М. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 448 с.
23. Строев А.Ф. Мифы о Сибири в эпоху Просвещения // Сибирско-французский диалог XVII–XX веков и литературное освоение Сибири. Материалы международного научного семинара / под ред. Е.Е. Дмитриевой, О.Б. Лебедевой, А.Ф. Строева. М., 2016. С. 33–48.
24. Декабристы и их время: Материалы и сообщения / под ред. М.П. Алексеева, Б.С. Мейлаха. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 381 с.
25. Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1997. Т. 1. 672 с.
26. Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. 780 с.
27. Ложкова Т.А. «Ямбы» В.К. Кюхельбекера как лирический цикл // Урал. филол. вестн. 2016. № 4. С. 56–69.
28. Сидорин Е.Ю. Сонеты В.К. Кюхельбекера: опыт реконструкции религиозно-го контекста // Вестн. Кем. гос. ун-та. 2013. № 3 (55). Т. 1. С. 196–200.
29. Осанкина В.А. Библейский псалом в поэзии В.К. Кюхельбекера // Вестн. Челябин. гос. ун-та. 1998. № 1, т. 2. С. 78–86.

30. *Трубецкой С.П.* Материалы о жизни и революционной деятельности: в 2 т. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987. Т. 2. 602 с.

SIBERIA AS PERCEIVED BY TSARSKOYE SELO LYCEUM GRADUATES OF THE PUSHKIN'S ERA

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 84–106. DOI: 10.17223/24099554/8/5

Irina A. Poplavskaya, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: poplavskaj@rambler.ru

Keywords: Siberia, perception, lyceum students, Pushkin's era A.D. Illichevsky, F.F. Matyushkin, I.I. Puschin, V.K. Küchelbecker, M.M. Speransky, the "lyceum text" of Russian literature.

The research is supported by Russian Foundation of Basic Research (RFBR) Grant No. 17-14-70002 a (p) "Russian writers in Tomsk: Tomsk local text and regional literary process".

The perception of Siberia by four Tsarskoe Selo Lyceum graduates of the Pushkin's era reveals various ideological, behavioural and aesthetic concepts related to the imperial, colonial and national components in Russian history and literature of the first half of the 19th century. A.D. Illichevsky (1798–1837), whose father was governor in Tomsk, lived in Siberia in 1818–1821, where he perceived himself as a frontier man and constructed his behaviour according to the model of a "Petersburger in the province", pursuing cultural goals. His poems and letters form the basis for the cultural myth about the Lyceum and its students of the Pushkin's era. M.M. Speransky (1772–1839), the "godfather" of the Lyceum and Siberian Governor-General in 1819–1821 and the author of the "Siberian Code" intended to change Siberia with the help of reforms, to turn this huge space from the colonised outskirts into a full-fledged territory within the Russian Empire similar to its European part.

The cooperation with Speransky and G.S. Batenkov (1793–1863) in the development and management of Western and Eastern Siberia had a great influence on the perception of this region by Illichivsky and F.F. Matyushkin (1799–1872). As an officer and researcher, Matyushkin is perceived simultaneously as an ideologist and practitioner in the development of new territories of the Russian Empire. In his reception of Siberia Matyushkin focuses on its colonial status and lagging behind the centre in terms economy and culture, that is why he sees Siberia as "Russia in a hundred years."

In the perception of Siberia, he also adhered to the transcontinental concept, according to which Western and Eastern Siberia could become the centre of a united Euro-Asian-American continent, a connecting space between the Old and New Worlds. Matyushkin's letters about his stay in Siberia in 1820–1823 resemble a travel diary and reveal the writer's individual experience of space and time in Siberia in their mutual correlation and in comparison with Central Russia. Of all the Lyceum graduates of the Pushkin's era, the Decembrists I.I. Puschin (1798–1859) and V.K. Küchelbecker (1797–1846) had the longest connection with Siberia. Puschin, who had lived in Siberia for thirty years, from 1827 to 1856, perceived it through the image of the family. In exile, he first perceived Siberia as a prison house, a "family of prisoners", "Petrovsky zavod Union." Later, in 1839–1855, living on a settlement in Turinsk and Yalutorovsk, he wrote about the "Siberian family",

“inmates”, the craft brotherhood. In Pushchin’s federalist project of 1845, Siberia is drawing closer to the American States.

The basis for this convergence is the absence of serfdom in it and the availability of rich natural resources. Küchelbecker’s perception of Siberia is refracted through his existential experience and receives a predominantly aesthetic interpretation, connected with the inability to give himself entirely to poetry and poetic creativity (“They took my time and leisure, so I cannot create”). In his reception of Siberia Küchelbecker assigned an important role to the religious and philosophical principle, due to which his poetry developed a “higher”, “timeless” point of view, which is in many respects connected with the poet’s appeal to metahistory and Eternity. This stance is revealed, in particular, through the peculiarities of the author’s perception of space.

The reception of Siberia by the Lyceum graduates of the Pushkin’s era is inseparable from the “Lyceum text” as a special verbal and behavioural model in Russian culture of the first half of the 19th century. The images of the Lyceum, the Lyceum brotherhood, anniversaries, Pushkin’s name and his works, the images and destinies of the lyceum graduates have plot-forming, text-generating and communicative functions. The dominant of this text is the prevailing aesthetic attitude towards the world, man and word.

References

1. Russia. (1830) *Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda* [Complete Collection of Laws of the Russian Empire, since 1649]. Vol. 31. St. Petersburg: Tipografiya Vtorogo otdeleniya Sobstvennoy Ego Imperatorskogo velichestva kantselyarii. pp. 310–323.
2. Poplavskaya, I.A. (2003) Tsarskosel’skiy litsey: dve modeli kul’turnogo stroitel’sstva [Tsarskoye Selo Lyceum: Two models of cultural construction]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta - Tomsk State University Journal*. 277. pp. 99–102.
3. Grot, Ya.K. (1887) Pushkin, ego litseyskie tovarishchi i nastavniki [Pushkin, his lyceum comrades and tutors]. In: Kondakov, N.P. (ed.) *Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk* [Collection of the Department of the Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences]. Vol. 13(4). St. Petersburg: Tipografiya Imperatorskoy Akademii nauk.
4. Modzalevskiy, B.L. et al. (1927) *Pushkin i ego sovremenniki: Materialy i issledovaniya* [Pushkin and His Contemporaries: Materials and Research]. Issue 31–32. Leningrad: USSR Academy of Science.
5. Delvig, A.A., Küchelbecker, V.K. (1987) *Izbrannoe* [Selected Works]. Moscow: Pravda.
6. Gergilev, D.N. & Dureeva, N.S. (2016) The role of M.M. Speransky’s reforms in the administration of Siberia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 413. pp. 88–93. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/413/14
7. Poplavskaya, I.A. (1992) Litseisty pushkinskogo vypuska v Tomske: (K probleme formirovaniya sibirskoy kul’tury v pervoy polovine XIX veka) [Lyceum students of the Pushkin’s era in Tomsk: (To the problem of the formation of Siberian culture in the first half of the 19th century)]. In: Yanushkevich, Ya.S. (ed.) *Ot Karamzina do Chekhova: k 45-letiyu nauchno-pedagogich. deyatel’nosti F.Z. Kanunovoy* [From Karamzin to Chekhov: To the 45th anniversary of research and teaching activities of F.Z. Kanunova]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 117–134.
8. Kiselev-Sergenin, V. (ed.) (1972) *Poety 1820 – 1830-kh godov: v 2 t.* [Poets of the 1820s-1830s: In 2 vols]. Vol. 1. Leningrad: Sovetskiy pisatel’.

9. Illichevskiy, A.D. (1991) Opyty v antologicheskome rode [Anthological Experiments]. In: Utrennev, A. (ed.) *Lirika litseistov* [Lyric of the Lyceum Students]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. [Online] Available from: http://az.lib.ru/i/illichevskij_a_d/text_0020.shtml.
10. Chereyskiy, L.A. (1988) *Pushkin i ego okruzhenie* [Pushkin and his Entourage]. Leningrad: Nauka.
11. Gevorkyan, S.G. (2011) Ofitsery russkogo Voenno-Morskogo flota u istokov otechestvennogo merzlotovedeniya [Officers of the Russian Navy at the source of Russian permafrost]. *Prostranstvo i vremya*. 3(5). pp. 194–202.
12. Korf, M. (1861) *Zhizn' grafa Speranskogo: v 2 t.* [The Life of Count Speransky: In 2 vols]. Vol. 2. St. Petersburg: Izdanie Imperatorskoy publichnoy biblioteki.
13. *Russkiy arkhiv*. (1868). 11. pp. 1681–1811.
14. Matyushkin, F.F. (1948) Pis'ma F.F. Matyushkina iz Sibiri [Letters of F.F. Matyushkina from Siberia]. In: Wrangel, F.P. *Puteshestvie po severnym beregam Sibiri i Ledovitomu moryu* [A trip along the northern shores of Siberia and the Arctic Ocean]. Moscow: Glavsevmorput. pp. 347–403.
15. *Mnemozina*. (1824) 1. pp. 172–176.
16. Wrangel, F.P. (1948) *Puteshestvie po severnym beregam Sibiri i Ledovitomu moryu* [A trip along the northern shores of Siberia and the Arctic Ocean]. Moscow: Glavsevmorput.
17. Pushchin, I.I. (1988) *Zapiski o Pushkine. Pis'ma* [Notes on Pushkin. Letters]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
18. Tyupa, V.I. (2002) Mifologema Sibiri: k voprosu o “sibirskom tekste” russkoy literatury [Mythology of Siberia: On the “Siberian text” of Russian literature]. *Sibirskiy filologicheskij zhurnal – Siberian Philological Journal*. 1. pp. 27–35.
19. Poplavskaya, I.A. (2002) Syuzhetnaya poetika pisem I.I. Pushchina [The plot poetics of I.I. Pushchin's letters]. In: Kazarkin, A.P. (ed.) *Sibirskiy tekst v russkoy kul'ture* [Siberian Text in Russian Culture]. Tomsk: Sibirika. pp. 31–36.
20. Nechkina, M.V. (ed.) *Dekabristy. Biograficheskiy spravochnik* [The Decembrists. A Biographical Reference Book]. Moscow: Nauka.
21. Küchelbecker, V.K. (1989) *Sochineniya* [Works]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.
22. Etkind, A.M. (2014) *Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii* [Inner Colonisation. Imperial Experience of Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
23. Stroeve, A.F. (2016) Mify o Sibiri v epokhu Prosveshcheniya [Myths about Siberia in the Enlightenment]. In: Dmitrieva, E.E., Lebedeva, O.B. & Stroeve, A.F. (eds) *Sibirsko-frantsuzskiy dialog XVII – XX vekov i literaturnoe osvoenie Sibiri* [Siberian-French Dialogue of the 17th – 20th centuries and the literary development of Siberia]. Moscow: IMLI. pp. 33–48.
24. Alekseev, M.P. & Meylakh, B.S. (eds) (1951) *Dekabristy i ikh vremya: Materialy i soobshcheniya* [Decembrists and Their Time: Materials and Reports]. Moscow; Leningrad: USSR Academy of Sciences.
25. Tokarev, S.A. (ed.) *Mify narodov mira. Entsiklopediya: v 2-kh t.* [Myths of the Peoples of the World]. Vol. 1. Moscow: Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya.
26. Küchelbecker, V.K. (1979) *Puteshestvie. Dnevnik. Stat'i* [Journey. A Diary. Articles]. Leningrad: Nauka.

27. Lozhkova, T.A. (2016) "Yamby" V.K. Kyukhel'bekera kak liricheskiy tsikl [V.K. Küchelbecker's iambs as a lyrical cycle]. *Ural'skiy filologicheskiy vestnik – Ural Journal of Philology*. 4. pp. 56–69.
28. Sidorin, E.Yu. (2013) Sonety V.K. Kyukhel'bekera: opyt rekonstruktsii religioznogo konteksta [Sonnets of V.K. Küchelbecker: experience of reconstructing the religious context]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*. 3(55). pp. 196–200.
29. Osankina, V.A. (1998) Bibleyskiy psalom v poezii V.K. Kyukhel'bekera [A Biblical psalm in the poetry of V.K. Küchelbecker]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 1(2). pp. 78–86.
30. Trubetskoy, S.P. (1987) *Materialy o zhizni i revolyutsionnoy deyatel'nosti: v 2 t.* [Materials about Life and Revolutionary Activity: in 2 vols]. Vol. 2. Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.

А.Е. Козлов

«ДЕСЯТЬ ДНЕЙ НА БОСФОРЕ»: ТРАВЕЛОГИ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» КАК СОЦИАЛЬНЫЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

В статье рассматриваются травелогии «Русского вестника» (1860–1880-х гг.) как составляющие глобального идеологического проекта, реализуемого изданием. Несмотря на устоявшуюся репутацию консервативного (даже ультраконсервативного) органа, «Русский вестник» предлагал вниманию читателей травелогии разнообразной тематики. На примере «азиатских» травелогов рассматривается не только социальное проектирование, но и идеологическое моделирование «чужого» пространства, осуществляемое через искусственное присвоение инокультурных реалий, включение их в интегральную национальную картину мира. Обзор завершается анализом фельетонного текста «Десять дней на Босфоре», в котором посредством беллетристических приемов (игра с читателем, насыщенность аллюзиями) также решалась идеологическая задача.

Ключевые слова: «Русский вестник», травелог, Восток, идеологическое моделирование, «Десять дней на Босфоре».

В истории общественных идей второй половины XIX в. «толстый журнал», как известно, играл определяющую, ключевую роль. Зачастую представая социальной и идеологической платформой, журнал становился средством идентификации читателя: так, например, интересы разночинной интеллигенции и демократии 60-х гг. локализовались в «Современнике» и «Русском слове», либеральной и консервативной части общества – в «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и «Русском вестнике». Следуя этой логике, солидарный с той или иной идеологической линией читатель путевых очерков выбирал соответствующий тип путешествия – с бедным разночинцем по степи (пешком), с дворянином в покойной карете или по всему свету – по суше и морю с военным офицером. Такая идентификация далеко не всегда соответствовала реальному поло-

жению дел, тем не менее именно средствами журналистики и ее ключевых форм осуществлялись социальная демаркация, выбор «течений» и «направлений» [1–3].

Как известно, среди наиболее знаковых форм рассматриваемого периода традиционно выделяются *очерк* и *фельетон*, занимающие пограничное место между художественной литературой и публицистикой. Наряду с этими формами, принимая конвенциональность последней номинации, можно выделить и *травелог* – форму, содержательно определяемую сюжетом путешествия, тяготеющего, в свою очередь, к документалистике¹. По-прежнему актуально суждение М.В. Строганова и Е.Г. Милюгиной, которые утверждают: «Понятие *травелог* не так давно вошло в научный оборот и пока еще не затвердело в границах строгих дефиниций. Проблемы уяснения его жанровой сущности и временных границ связаны с разнообразием феноменов художественного и научного творчества, которые называют этим термином» [4. С. 17]. Представляя полижанровое явление, или синтетическую форму репрезентации события, травелог формируется на пересечении разных, поэтологически далеких жанров; так, очевидная ориентированность на документальность сближает его с публицистикой, в то же время приемы, которые используют повествователи, зачастую характерны для беллетристики и развлекательной литературы. Интерес широкого круга исследователей: историков, филологов, культурологов – к заявленной проблематике свидетельствует об универсальном характере травелога [5–8].

Кажется очевидным, что изучение толстожурнальных травелогов должно быть направлено, с одной стороны, на выявление типичных повествовательных особенностей, характерных как для журнала (и его «направления»), так и для журналистики изучаемого периода, и изучение стереотипов и моделируемых образов – с другой. В то же время можно утверждать, что большинство толстожурнальных травелогов представляют собой в прагматическом плане элементы социально-просветительского и идеологического проекта, коррелирующего с тактикой и стратегией толстого журнала.

Последнее замечание объясняет выбор материала исследования. В истории журналистики значение «Русского вестника» несомненно, поскольку большинство по-настоящему резонансных, преце-

¹ Представляется продуктивным рассмотрение травелога как особой жанровой деривации очерков (в следовании документальному вектору) и фельетона (в характерной игре с читателем).

дентных текстов эпохи, ставших ключевыми в истории русской культуры, было опубликовано именно в нем. В то же время неоднозначной кажется репутация издания, колеблющегося от либерального и прогрессивного до реакционного, консервативного (и даже — черносотенного).

Говоря о травелоге как ключевой форме времени, следует отметить, что за 25 лет существования «Русского вестника», руководимого М.Н. Катковым, появилось свыше 200 путевых очерков и иных форм, направленных на репрезентацию путешествия как опыта вседневного постижения действительности. При этом, около 160 травелогов было посвящено европейскому и азиатскому пространству. Как справедливо отозвался экономист и общественный деятель В. Безобразов, «...нет такого дурака на свете, который по своей воле стал путешествовать по России» [9. С. 610]. В другом своем очерке, намеренно игнорируя дорожные впечатления, он же писал: «Да едва ли и есть на Руси города, кроме столиц, где бы на путешественнике лежала тяжкая обязанность что-либо осматривать» [10. С. 266]. Такое отношение к «своему» было «общим местом» русского путевого очерка:

Я высунулся в окно, готовясь наслаждаться прекрасными видами, но пыль слепила глаза, лезла в нос, покрывала лицо... Я с досадой откинулся вглубь кареты, мысленно отправив читателя моих заметок в любое описание какого-нибудь путешествия... Авторы их торопаты на описание всевозможных картин природы!.. [11. С. 130].

Более того, складывается впечатление, что такая ситуация десятилетиями оставалась неизменной. Как писал спустя 15 лет В. Крестовский:

Русские люди, принадлежащие даже к образованной среде, вообще очень мало знают у нас наши собственные города и области, входящие в состав нашего отечества, то есть, говоря откровенно, понятий у нас о многих из городов нет никаких, или же самые смутные, и хорошо ещё, если мы знаем их по имени... [12. С. 302].

Тем не менее описание путешествия по России не встретило такого сочувствия у читателя журнала, как, например, экзотические травелоги того же автора. По-видимому, хорошо освоенное российское пространство воспринималось читателем как гомогенное: оно не нуждалось в идеологическом моделировании, создавая впечатление понятного и тотально изученного [13]. Пожалуй, единственным

топосом, неизменно привлекавшим к себе внимание, как и в прочих журналах, была Сибирь [14].

Карта мира, представленная в травелогах «Русского вестника», является любопытный материал, связанный с моделированием и ремоделированием эмпирического пространства. Фактически авторы травелогов открывали перед читателем, зачастую провинциальным, «оседлым», порой лишенным возможности путешествовать, социальное измерение иностранных стран и городов. Взгляд на это пространство сквозь толстожурнальный травелог зачастую формировал простейшую систему соотношений: *Азия = чужое, прошлое, Европа = свое, настоящее, Америка = будущее*, осложняемую имперской оптикой.

В то же время чужой, имагологически маркированный топос часто осмысляется в травелогах посредством метафорического интегрального элемента. Так, обращаясь к своим впечатлениям, оставшимся после поездки в Японию, А. Корнилов писал: «...японка жалобным завывающим голосом поет свою песню, перемешивая ее с жестами и декламацией. Она тотчас напугает вас русское кладбище и на нем воющую бабу» [15. С. 50]¹.

Не менее любопытно включение в идеологические травелоги разговоров или сцен из русской литературы. Так, находясь в Гонконге, А. Вышеславцев рассказывает об оказанном русским путешественникам дипломатическом приеме. О своем собеседнике автор путевых заметок отзывался с иронией:

Воспоминания его перенесли меня ко временам Арзамасского общества. Он рассказывал о друге своем, Карамзине, и говорил с восторгом о Державине. О новой русской литературе, начиная с Пушкина, он не имел понятия. Для нас это был человек минувшего, пришедший после сорокалетнего сна рассказывать о том, что он еще видел, засыпая [16. С. 142].

Таким образом, весь азиатский мир, вне зависимости от географических координат, объявлялся отсталым: незнание национальной, в частности русской, литературы становится здесь исчерпывающим свидетельством общей неразвитости².

¹ Не менее любопытны упоминания А. Корнилова о своеобразном подарке, сделанном японской делегацией, – постановке гоголевского «Ревизора» для русской дипломатической миссии.

² Несколько иначе А. Вышеславцев рассказывает о своем пребывании в Америке. Вслед за Циммерманом, признавая прогрессивность Нового Света, он в то же время пытается осмыслить происходящее через знакомые русскому читателю образы. Так, говоря о

В травелогах «восточноазиатского» вектора можно встретить характерные сюжетные ситуации, представляющие диалог двух сознаний: европейского, «пророссийского» (в ряде случаев «пра-») и чужого, азиатского. Как пишет И. Березин, рассказывая о пренебрежительном отношении арабов: «Признаюсь, европейцу, считающему себя в Азии венцом творения, очень прискорбно перенести такой ответ» [18. С. 632]. Показателен и диалог, приведенный этнографом:

– Иншалла! – отвечал мне в свою очередь мирза: Всевышний господь скоро возвеличит правоверием вашего государя Петра.

– Какого Петра, душа моя, Али?

– Вашего нынешнего государя.

– Император Петр, истинный шахиншах, царствовал тому сто с лишком лет, а ныне царствует Николай [18. С. 266].

Через подобные диалоги демонстрируется отрешенность азиатского мира от больших европейских событий. В этом контексте прочитывается и экзамен, инициируемый представителем турецкой таможни, который описывает в своих очерках сербский путешественник Ф. Бацетич, произвольно изменяя контуры Турции, Сербии и Российской империи:

Я хотел было по-прежнему очертить величину Турции, но мой проводник опытным взглядом напомнил мне быть осторожным. Я стал обводить пальцем границы владений падишаха, начиная от Молдавии, Сербии, Герцеговины, Албании, Эпира до самого Константинополя, туда же поместил Ионические острова, Грецию, все Черное море и, простите, снисходительный читатель, у страха глаза велики, захватил даже Крым и Одессу... [19. С. 664].

На вопрос изумленных таможенников путешественник отвечает: «Я хотел показать вам, как думают те, которые не знают турецкой силы и только марают бумагу, не понимая сами, что говорят и пишут» [19. С. 665]. Знаменателен и ответ: «Какие земли нужны были султану, он их отнял у Москова, а похуже ему остались» [19. С. 665]. При этом Сербия и Болгария в большинстве рассмотренных травелогов предстают не только продолжением «славянского мира», но и осмысляются как потенциальная часть Российской империи.

молодых американках, он завершает свое рассуждение словами: «...они делают все то, что происходит в семействе какого-нибудь Сквозника-Дмухановского, когда у него соберутся дочери судьи, и Земляники, и Добчинские с Бобчинскими» [17. С. 17].

Итак, большинство рассмотренных выше травелогов отчетливо публицистичны. Избирая форму художественного повествования, путешественники в то же время намеренно или непроизвольно, сообщая свое видение действительности, обращаются к социальному и идеологическому моделированию, в равной мере утверждая существующие стереотипы, так и, напротив, позволяя их преодолеть. Очевидно, что общей интенцией становится «метонимическое» прочтение пространства – через отдельного представителя, отдельный локус или культурный артефакт дается представление о целом, как правило, периферийном, относительно российского как европейского сознания.

Особое напряжение в путевых описаниях наблюдается в период 1870 – начала 1880-х гг., когда большая часть путевых очерков, записок, дневников и писем, публикуемых на страницах «Русского вестника», оказывается сосредоточенной на разрешении турецкого вопроса и дипломатическом кризисе в Константинополе¹. Знаменательно, что задолго до русско-турецкой военной кампании практически каждое посещение Константинополя в путевых записках становится эквивалентным его «присвоению» [36]. При этом можно констатировать неоднородность наблюдаемого материала: от нейтральных туристических заметок к концу 1870-х гг. происходит поворот в сторону мемуаров, принадлежащих военным и добровольцам, а также членам дипломатической миссии. Наблюдаемые ландшафты нередко становятся в указанных текстах объектом не только рефлексии, но и почти неприкрытых притязаний на территорию города и его главную достопримечательность – храм Св. Софии².

В этом контексте мы подробнее остановимся на фельетоне «Десять дней на Босфоре» (1883)³, в центре внимания которого оказы-

¹ См. некоторые из них: [19–35]. Данный список может быть продолжен, однако даже по этим источникам можно убедиться в некотором единстве нарративных и прагматических стратегий, чего нельзя сказать о рассмотренном фельетоне.

² Например, в опубликованных в 1880 г. письмах П.А. Каратыгина приводится фрагмент из его сочинения: «С надеждой твердою и верой во Христа // С любовью к Царю пойдут сыны России, // И снова заблестит сияние креста // На куполе святой Софии» [37. С. 142]. Исходя из общего идеологического пафоса консервативных изданий рассматриваемого периода, можно назвать это высказывание одной из имперских формул второй половины XIX в.

³ Имя автора травелога не установлено. Очевидно, речь идет о журналисте катковского круга, сотрудничавшем с «Московскими ведомостями» и, более того, поместившем там корреспонденцию на сходную тему. На наш взгляд, наиболее вероятной кажется принадлежность рассматриваемого текста сотруднику «Московских ведомостей» Н.Я. Гроту, Ю. Щербачеву или Е.П. Новикову. Последнему, долгое время прожившему в

вается не экзотическое пространство, а тривиальная и часто выходящая за пределы этически дозволенного реакция русских туристов. Публицистическое уступает в тексте место сатирическому, а принадлежность к травелогу во многом ограничивается названием. Учитывая то обстоятельство, что фельетоны вообще были мало свойственны и органичны поэтике «Русского вестника», есть основания предполагать особую прагматическую задачу, решаемую публикацией данного текста.

Повествование ведется от лица босфорского старожилы, гражданина Российской империи – праздного человека, не военного и не дипломата, по-видимому, долгое время жившего в Константинополе, кроме того, имевшего в Севастополе родственников. Собственно, приезд севастопольской тетки, о котором сообщается в тексте депеши: «Arrivons demain, embrassons tendrement. Petka Macha» [38. С. 198], и становится сюжетообразующим событием. При этом с первых страниц фельетона запускается своеобразный механизм интерпретации, действие которого отменяет неправомерные догадки читателя, давая ему взамен некоторые *проницательные* суждения:

Разумеется, я понял, что *petka* значило «тетка» и что множественное число в глаголах намекает о двух или нескольких посетителях; одно было для меня темно: как это моя тетушка, бесспорно умная женщина, вместо «embrassons tendrement» не поставила чего-нибудь понужнее, например, когда приблизительно должен прийти пароход или сколько именно с нею человек приезжает [38. С. 198].

Разгадав таким образом текст телеграммы, босфорский родственник, играя пассивную роль в будущей комедии положений, заказывает завтрак на троих.

В день приезда первоначальный план повествователя, как и его интерпретация, рушатся:

Однако что же это, насмешка? Еще какие-то русские дети... Все это общество несомненно очутится на моем попечении. Теперь букеты хоть в воду бросай, завтрак тоже пропал: я так голоден, что его на меня одного не хватит. Боже мой, еще трое... это уж слишком, остается самому вслед за букетами броситься в море [38. С. 199].

Константинополе, принадлежит серия публикаций, озаглавленных «Константинопольские письма». Однако эти указания носят исключительно характер предположений, не связанных с документально подтвержденной атрибуцией.

Стараюсь среди перекрестного огня расспросов и поцелуев незаметно пересчитать дорогих гостей. Их девять душ! [38. С. 200].

Так возникающий эффект обманутого ожидания (в сущности, навязанный читателю повествователем), демонстрирует в довольно комическом ракурсе предельное раздражение, вызванное появлением русских туристов (что является опознаваемой чертой русского форестьера), далее сменяемое неизбежным смирением. Повествователь подробно объясняет ход своих мыслей и дальнейших действий:

Итак, мне предстоит возить целый пансион по константинопольским примечательностям и окрестностям. Пансион пробудет здесь с лишком неделю, и мы успеем осмотреть если не все, то главное (всего смотреть и не стоит). Не воспользоваться ли этим случаем, чтобы сидя на месте описать вам «Путешествие из Константинополя» [38. С. 200].

Совпадение двух различных интенций – путешествия (точнее, путешествования) и письма, являясь распространенным нарративным приемом, становится одним из первых маркеров литературной подоплеку происходящего.

Действительно, далее перед читателем – «дневник одной недели», повествование о десятидневном путешествии, в котором принимают участие франкофилы Кроликовы, типичные «русские парижанцы», малолетние избалованные дети, точно сошедшие со страниц «Живописца» или «Трутня», капризные барышни – своего рода липецкие кокетки или крыловские дочки и, разумеется, тетка Маша, сочетающая в своем характере черты Афросиньи Сысоевны¹ и г-жи Простаковой. При этом, называя головной убор тетки *тарантасом*, повествователь не только показывает несообразность бытовых привычек русских туристов, но и, подчеркивая самую идею движения, указывает на один из прецедентных текстов в истории русского травелога. Так, с первых страниц, достигая повышенной плотности интертекста, автор травелога фактически разрушает каноническую модель реалистического повествования (в полной мере утвержденную «Фрегатом Паллада» И.А. Гончарова), возвращая своего читателя ко времени комедиографии екатерининской эпохи и первым сентиментальным путешествиям.

¹ Персонаж комедии М.И. Вережкина «Так и должно».

Организуя роли своих гостей, повествователь выстраивает предельно марионеточный сюжет, где каждый член «пансиона» выполняет однозначную функцию, определяемую его характером. Здесь можно увидеть довольно прозрачную аналогию, возникающую между эмпирическим читателем и условным типом: так, дети, задающие глупые вопросы и совершающие необдуманные поступки, соответствуют усредненному адресату детской литературы, искушенные франкофилы Кроликовы – типичным русским туристам, наконец, кокетничающие племянницы – читательнице (столь важному адресату, начиная с прозы Н.М. Карамзина). Все вопросы, которые сыплются на героя, так или иначе соотносятся с возможными вопросами моделируемого читателя, при этом характерологический круг, очерченный в произведении, позволяет представить несколько равно усредненных картин Босфора и Константинополя.

Проводя своих спутников по константинопольским достопримечательностям, рассказчик дает емкие описания увиденного: константинопольских садов (вторник), базаров (среда), зрелищ (воющих и танцующих дервишей, увиденных в четверг и пятницу), турецких мечетей и храма Св. Софии (суббота). Любопытны замечания, оставаемые об увиденном теткой героя. Так, получив предложение подняться на башню Сераскерата во дворце Магомета II, она отвечает: «С нас и Ивана Великого довольно <...> были мы там раз; ничего хорошего: высоко, страшно и на другой день ноги болят» [38. С. 245]. Точно так же, утомившись зрелищем экзотических видов, русская родственница, подобно обитателю мифологической Обломовки, восклицает: «Эх, теперь кваску бы!» [Там же. С. 252]. Этот возглас сопровождается ироническим комментарием:

Милая тетя! Четырьмя этими словами да сопровождающимся потягиванием, она, как волшебница, перенесла меня от цветущих и благоухающих павлоний, от махровых и выющихся роз <...> в далекую аллею, где вечно царствуют зеленые сумерки, где так вкусно обедается под жужжание пчел и шелест листьев, где каждый день подается сначала ботвинья со льдом, а в заключение простокваша...

Но подавим прилив патриотизма и не будем воспевать русских прохладительных блюд и напитков, поэзия которых останется темною для тех, кто не страдал тоской по родине под знойным небом Юга [Там же. С. 252].

Однако большую часть повествования герои путешествия существуют номинально. В любой момент возможным становится переключение повествовательного плана, когда марионеточные характеры устраниаются, а увиденное предстает в безличном модусе. Так, автору фельетона удастся подробно рассказать о местоположении Константинополя¹, сопроводив рассказ иллюстрированным описанием [38. С. 211–212], недавно открытым Robert College [Там же. С. 203–205], акцентировать внимание на социальных и гигиенических проблемах – бродячих собаках, бегающих по городу [Там же. С. 201–202], и нищих, а также в популярной форме представить особенности измерения времени по турецким часам [Там же. С. 211]. Отдельного внимания заслуживает описание денежного курса [Там же. С. 209–210], в котором политико-экономические тонкости излагаются с легкостью и непринужденностью раннего «Современника».

По истечении десяти дней повествователь торжественно везет *пансион* к ожидающему его пароходу. Закономерный вопрос о понравившемся и запомнившемся разрешается в духе анекдотического сюжета:

- А что вам больше всего понравилось?
- Во-первых, когда мы подъезжали, и потом, когда ночью пили на крыше чай [Там же. С. 257].

Отъезд родственников составляет заключительное фабульное звено: вместе с исчезновением литературных типов иссякает и энергия сюжета. Как видим, в заключительном ответе продемонстрирован нулевой результат осуществленной поездки: все сколько-нибудь экзотическое, составляющее подлинную поэзию места, не укладывается в прокрустово ложе обывательского воззрения, а потому оказывается отброшенным за ненадобностью. В то же время еще раз подчеркивается предельно усредненная картина мира, где путешествие в Константинополь, теряя свои краски, становится элементом филистерской повседневности и быта.

Шуточный фельетонный путеводитель, построенный на нелепом приезде родственников, выполнен в духе английской юмористиче-

¹ В ряде случаев повествователь апеллирует к своему детскому и, более того, школьному опыту: «Сужу отчасти по самому себе: в гимназии, в младших классах я считался чуть не первым учеником по географии, а между тем на экзамене, глядя на карту малого масштаба, отвечал, что столица Турции стоит на берегу Черного моря, и получил отличный балл. Про Золотой рог учитель географии не спросил и хорошо сделал: я решительно не сумел бы ответить, потому что не знал, что это – река, дворец или мечеть» [38. С. 212].

ской литературы. Легкий сюжет и опознаваемые характеры создают иллюзию полного присвоения пространства, а повествователь, точно сошедший со страниц «Пиквикского клуба», будучи праздным лицом, существующим вне привычных иерархий (не дипломат, не доброволец и не военный), воспринимался, по всей видимости, в рамках привычной национальной и социальной идентичности. Этот рассчитанный, по-видимому, эффект, превращал шуточный текст в популярное пособие для цивилизованного туриста: развлекая читателя, анонимный автор в то же время настойчиво, но ненавязчиво давал точные представления о некогда заповедном Константинополе. Этим, в частности, объясняется специфика повествования, балансирующего между привычным имперским полюсом и совокупной карикатурой, в которой отразились все пороки и глупости современных русских туристов.

Приведенные выше примеры, равно как и последний разбор фельетона, показывают разнообразные прагматические установки, реализуемые русским толстожурнальным травелогом. Как известно, травелогисты довольно часто являлись элементами тиражной продукции, то многократно воспроизводя некогда сказанное и описанное (включая прямые заимствования из путеводителей), то представляя апробированный инструмент идеологического влияния редакции и определяя мировоззрение читателя, то «заполняя» пустые места, порой неожиданно возникающие лакуны в толстых журналах. Тем не менее совершенно разные по своему качеству, собранные вместе, они позволяют с большей точностью реконструировать социальные и идеологические задачи, стоящие перед изданием в целом. Очевидно, что, открывая перед читателем возможность социального освоения пространства и моделируя его через стереотипы и универсалии, автор травелога мог в любой момент перейти от такого социального и эмпирического проектирования к идеологическому. В этом случае за освоением пространства неминуемо следовало его присвоение, построенное на идеологических координатах.

В то же время травелогисты «Русского вестника» входят в интенсивное взаимодействие с иными жанрами беллетристики и публицистики, следствием чего становятся как изменение контуров периферии, так и трансформация жанрового ядра. Этим, возможно, и определяется, с одной стороны, исследовательская оптика, позволяющая рассматривать травелогисты и с точки зрения их поэтики (т.е. как художественные тексты), и с точки зрения нарратива (как выска-

звания в широком смысле этого слова), и с точки зрения прагматики (как элементы публицистического дискурса) и произвести демаркацию между вершинными, или классическими, образцами путевой прозы (от Карамзина до Гончарова) и периферийной продукцией, часто отличающейся злободневностью, но бесполезной с точки зрения эстетических задач.

Таким образом, очерки, письма, путевые заметки – разнообразные жанровые формы, репрезентирующие событие путешествия, безусловно, делали читателя сопричастным мировой хронике, по своему синхронизируя биографическое время с фундаментально-историческим [39]. Сказанное выше позволяет рассматривать их в первую очередь как элементы социального и идеологического проекта, при реализации которого задачи эстетики становились чем-то второстепенным, уступая место прагматике, что, в сущности, сближает рассмотренные травелоги «Русского вестника» с публицистикой изучаемого периода.

Литература

1. Зыкова Г.В. Поэтика русского журнала. М.: Макс Пресс, 2005. 203 с.
2. Трофимова Т.А. «Положительное начало» в русской литературе XIX века («Русский вестник» М.Н. Каткова): дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. 184 с.
3. Печерская Т.И. Травелог в «Русском слове»: к вопросу о редакционной тактике журнала // Русский травелог XVIII–XX веков / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск, 2015. С. 482–502.
4. Строганов М.В., Милюгина Е.Г. Русская культура в зеркале путешествий. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2013. 176 с.
5. Алексеев П.В. Русский ориентальный травелог как жанр путевой прозы конца XVIII – первой трети XIX века // Филология и человек. 2014. № 2. С. 34–46.
6. Анисимов К.В. Восточный травелог русской литературы XIX в.: «воображение» имперских окраин и поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 5–21.
7. Банах И.В. Нарративная структура жанра путешествия (на материале русской литературы конца XVIII – первой трети XIX в.): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2004. 21 с.
8. Мамуркина О.В. Художественный нарратив в путевой прозе второй половины XVIII века: генезис и формы: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2012. 188 с.
9. Безобразов В. Из путевых записок // Русский вестник. 1864. Т. 51. С. 264–308.
10. Безобразов В. Из путевых записок // Русский вестник. 1861. Т. 34. С. 264–308.
11. М.С. Прогулка в Нижний Новгород // Русский вестник. 1860. Т. 29. С. 128–143.
12. Крестовский В. От Белостока до Беловежской пуши // Русский вестник. 1876. Т. 121. С. 523–566.
13. Душечкина Е.В. «От Москвы до самых до окраин...»: Формула протяжения России // Риторическая традиция и русская литература. СПб., 2003. С. 108–125.

14. Меднис Н.Е. Кавказ и Сибирь как два тоposa русской литературы и культуры XIX века // Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы. Новосибирск, 2016. С. 21–36.
15. Корнилов А. Из Японии // Русский вестник. 1859. Т. 14. С. 43–55.
16. Вышеславцев А. Гонконг // Русский вестник. 1861. Т. 28. С. 105–160.
17. Вышеславцев А. От Таити до Буэнос-Айреса // Русский вестник. 1861. Т. 30. С. 5–68.
18. Березин И.Н. Сцены в пустыне // Русский вестник. 1856. Т. 5. С. 258–285.
19. Бацетич Ф.М. Из путевых записок: Сербия и Турция // Русский вестник. 1875. Т. 119. С. 661–717.
20. С. [Новиков Е.П.] Константинопольские письма // Русский вестник. 1867. Т. 69. С. 5–60.
21. Берг Н.В. Мои скитания по белу свету: Из Яффы домой // Русский вестник. 1867. Т. 71. С. 195–216;
22. Новиков С.Н. От Константинополя до Александрии: Дневник, веденный на пароходе // Русский вестник. 1868. Т. 74. С. 514–559.
23. С. [Новиков Е.П.] Письма о Греции // Русский вестник. 1868. Т. 77. С. 427–461.
24. С. [Новиков Е.П.] Письма о Греции // Русский вестник. 1868. Т. 78. С. 140–164, 365–398.
25. Скалон Д.А. Путешествие по Востоку и святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1782 году // Русский вестник. 1876. Т. 123. С. 505–570.
26. Арбузов Н.К. Воспоминания Русского туриста: Двухмесячное пребывание в Константинополе в смутное время // Русский вестник. 1876. Т. 124. С. 873–889.
27. Арбузов Н.К. Воспоминания Русского туриста: Двухмесячное пребывание в Константинополе в смутное время // Русский вестник. 1876. Т. 125. С. 462–490.
28. М-к. Поездка из Константинополя в Сараево в 1874 году // Русский вестник. 1876. Т. 125. С. 628–677.
29. Щербачев Ю.Н. Из Константинополя в Каир в 1876 году // Русский вестник. 1879. Т. 140. С. 138–223.
30. Леонтьев К. Мои воспоминания о Фракии // Русский вестник. 1879. Т. 140. С. 256–289.
31. Леонтьев К. Мои воспоминания о Фракии // Русский вестник. 1879. Т. 141. С. 206–214.
32. Леонтьев К. Мои воспоминания о Фракии // Русский вестник. 1879. Т. 143. С. 155–182.
33. Вышеславцев А.В. Между храмов и развалин // Русский вестник. 1880. Т. 145. С. 5–79.
34. Аристид М. Прямым путем и околицей: Отрывок из воспоминаний о путешествии в летнее время 1876 года по Румынии, Сербии и Турции // Русский вестник. 1880. Т. 148. С. 533–569.
35. Гурьев В.В. Письма священника с похода 1877–1878 // Русский вестник. 1880. Т. 150. С. 120–157.
36. Козлов А.Е. «Десять дней на Босфоре»: к вопросу об анонимности травелога // Текстология и историко-литературный процесс. М., 2016. С. 95–104.
37. Письма П.А. Каратыгина // Русский вестник. 1880. Т. 148. С. 119–180.
38. Н. Десять дней на Босфоре // Русский вестник. 1883. Т. 164. № 3. С. 198–257.

39. Янушкевич А.С. От картины мира к образу мира: история становления имагологического текста в русской словесной культуре // Имагология и компаративистика. 2014. № 2. С. 5–16.

«TEN DAYS ON BOSPHORUS»: TRAVELOGUES OF *RUSSEKIY VESTNIK* AS A SOCIAL AND IDEOLOGICAL PROJECT

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 107–123. DOI: 10.17223/24099554/8/6

Alexey E. Kozlov, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: alexey-kozlov@rambler.ru

Keywords: *Russkiy Vestnik*, travelogue, East, ideological modelling, “Ten Days on Bosphorus”.

The article deals with travelogues of *Russkiy Vestnik* [The Russian Messenger] (1860–1880) as components of a global ideological project of the edition. Despite the well-established reputation of a conservative (even ultra-conservative) edition, *Russkiy Vestnik*, like most periodicals, offered the readers travelogues on various topics. For example, travelogues of the “Asian” topic considered ideological modelling of the “alien” space, implemented through the artificial appropriation of other peoples’ realities, their inclusion in the integral national picture of the world. The overview concludes with an analysis of the feuilleton text “Ten Days on Bosphorus” in which, through fiction (play with the reader, saturation with allusions), the ideological task was also solved.

Examples given in the article, as well as the analysis of the feuilleton, show a variety of pragmatic attitudes implemented by the Russian travelogue of the thick magazine. As is known, travelogues were often elements of circulation products that repeatedly reproduced what was once said and described (including direct borrowings from guidebooks) and were an approved tool of ideological influence of the editorial board that determined the reader’s worldview, “filled in” the empty spaces, the unexpected gaps in thick magazines. Nevertheless, completely different in quality, set together they allow to more accurately reconstruct the social and ideological tasks the edition had to solve. Obviously, giving the reader the possibility of social development of space and modelling it through stereotypes and universals, the author of the travelogue could move from the social and empirical design to the ideological one at any time. In this case, the development of space was inevitably followed by its appropriation built on ideological coordinates.

At the same time, the travelogues of *Russkiy Vestnik* intensively interact with other genres of fiction and journalism, the result of which is both the change in the contours of the periphery and the transformation of the genre core. This may determine the research optics which allows to treat travelogues in terms of their poetics (as artistic texts), their narrative (as utterances in the broad sense of the word) and their pragmatics (as elements of journalistic discourse), and to demarcate between the apical or classical samples of travel prose (from Karamzin to Goncharov) and peripheral products, often differing in topicality, but useless in terms of aesthetic tasks.

Thus, essays, letters, travel notes – the various genre forms representing the event of the trip – certainly made the reader a partaker of the world chronicle, synchronising the biographical time with the fundamental historical one in their own way. The foregoing allows to consider travelogues primarily as elements of a social and ideological project, in the implementation of which the problems of aesthetics was a secondary task, giving way

to pragmatics, which, in essence, gives the discussed travelogues of *Russkiy Vestnik* a common ground with the journalism of the period under study.

References

1. Zykova, G.V. (2005) *Poetika russkogo zhurnala* [Poetics of the Russian periodical]. Moscow: Maks Press.
2. Trofimova, T.A. (2007) “*Polozhitel’noe nachalo*” v russkoy literature XIX veka (“*Russkiy vestnik*” M.N. Katkova) [“A positive element” in Russian literature of the 19th century (M.N. Katkov’s *Russkiy Vestnik*):]. Philology Cand. Diss. Moscow.
3. Pecherskaya, T.I. (2015) Travelog v “Russkom slove”: k voprosu o redaktsionnoy taktike zhurnala [Travelogue in *Russkoe Slovo*: on the issue of the editorial tactics of the magazine]. In: Pecherskaya, T.I. (ed.) *Russkiy travelog XVIII–XX vekov* [Russian travelogue of the 18th–20th centuries]. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University.
4. Stroganov, M.V. & Milyugina, E.G. (2013) *Russkaya kul’tura v zerkale puteshestviy* [Russian culture in the mirror of travel]. Tver: Tver State University.
5. Alekseev, P.V. (2014) Russkiy oriental’nyy travelog kak zhanr putevoy prozy kontsa XVIII – pervoy treti XIX veka [Russian Oriental Travelogue as a genre of travel prose of the end of the 18th – first third of the 19th century]. *Filologiya i chelovek*. 2. pp. 34–46.
6. Anisimov, K.V. (2014) The eastern travelogue of the 19th century Russian literature: the imagination of imperial peripheries in the perspective of narrative poetics (introductory observations). *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1. pp. 5–21. (In Russian).
7. Banakh, I.V. (2004) *Narrativnaya struktura zhanra puteshestviya (pa materiale russkoy literatury kontsa XVIII – pervoy treti XIX vv.)* [The narrative structure of the travel genre (on the material of Russian literature of the end of the 18th – first third of the XIX centuries)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Minsk.
8. Mamurkina, O.V. (2012) *Khudozhestvennyy narrativ v putevoy proze vtoroy poloviny XVIII veka: genezis i formy* [Artistic narrative in the travel prose of the second half of the 18th century: genesis and forms]. Philology Cand. Diss. St. Petersburg.
9. Bezobrazov, V. (1864) Iz putevykh zapisok [From travel notes]. *Russkiy vestnik*. 51. pp. 264–308.
10. Bezobrazov, V. (1861) Iz putevykh zapisok [From travel notes]. *Russkiy vestnik*. 34. pp. 264–308.
11. M.S. (1860) Progulka v Nizhniy Novgorod [A trip to Nizhny Novgorod]. *Russkiy vestnik*. 29. pp. 128–143.
12. Krestovskiy, V. (1876) Ot Belostoka do Belovezhskoy pushchi [From Bialystok to Belovezhskaya Pushcha]. *Russkiy vestnik*. 121. pp. 523–566.
13. Dushechkina, E.V. (2003) “Ot Moskvy do samykh do okrain...”: Formula protyazheniya Rossii [“From Moscow to the very outskirts ...”: The formula for the extension of Russia]. In: *Ritoricheskaya traditsiya i russkaya literatura* [Rhetoric Tradition and Russian Literature]. St. Petersburg: St. Petersburg *SU.
14. Mednis, N.E. (2016) Kavkaz i Sibir’ kak dva toposa russkoy literatury i kul’tury XIX veka [The Caucasus and Siberia as two topoi of Russian literature and culture of the 19th century]. In: Pecherskaya, T.I. (ed.) *Russkiy travelog XVIII–XX vekov: marshruty, toposy, zhanry i narrativy* [Russian travelogue of the 18th–20th centuries: routes, topos, genres and narratives]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.

15. Kornilov, A. (1859) Iz Yaponii [From Japan]. *Russkiy vestnik*. 14. pp. 43–55.
16. Vysheslavtsev, A. (1861) Gonkong [Hong Kong]. *Russkiy vestnik*. 28. pp. 105–160.
17. Vysheslavtsev, A. (1861) Ot Taiti do Buenos-Ayresa [From Tahiti to Buenos Aires]. *Russkiy vestnik*. 30. pp. 5–68.
18. Berezin, I.N. (1856) Stseny v pustyne [Scenes in the desert]. *Russkiy vestnik*. 5. pp. 258–285.
19. Batsetich, F.M. (1875) Iz putevykh zapisok. Serbiya i Turtsiya [From travel notes. Serbia and Turkey]. *Russkiy vestnik*. 119. pp. 661–717.
20. S. [Novikov, E.P.] (1867) Konstantinopol'skie pis'ma [Constantinople Letters]. *Russkiy vestnik*. 69. pp. 5–60.
21. Berg, N.V. (1867) Moi skitaniya po belu svetu. Iz Yaffy domoy [My wanderings around the world. From Jaffa home]. *Russkiy vestnik*. 71. pp. 195–216;
22. Novikov, S.N. (1868) Ot Konstantinopolya do Aleksandrii. Dnevnik, vedennyi na parokhode [From Constantinople to Alexandria. Diary written on a steamer]. *Russkiy vestnik*. 74. pp. 514–559.
23. S. [Novikov, E.P.] (1868) Pis'ma o Gretsii [Letters about Greece]. *Russkiy vestnik*. 77. pp. 427–461.
24. S. [Novikov, E.P.] (1868) Pis'ma o Gretsii [Letters about Greece]. *Russkiy vestnik*. 78. pp. 140–164, 365–398.
25. Skalon, D.A. (1876) Puteshestvie po Vostoku i svyatoj Zemle v svite velikogo knyazy Nikolaya Nikolaevicha v 1782 godu [Journey through the East and the Holy Land in the retinue of Grand Duke Nikolai Nikolaevich in 1782]. *Russkiy vestnik*. 123. pp. 505–570.
26. Arbuzov, N.K. (1876) Vospominaniya Russkogo turista. Dvukhmesyachnoe prebyvanie v Konstantinopole v smutnoe vremya [Memoirs of a Russian tourist. A two-month stay in Constantinople in troubled times]. *Russkiy vestnik*. 124. pp. 873–889.
27. Arbuzov, N.K. (1876) Vospominaniya Russkogo turista. Dvukhmesyachnoe prebyvanie v Konstantinopole v smutnoe vremya [Memoirs of the Russian tourist. A two-month stay in Constantinople in troubled times]. *Russkiy vestnik*. 125. pp. 462–490.
28. M-k. (1876) Poezdka iz Konstantinopolya v Saraevo v 1874 godu [A trip from Constantinople to Sarajevo in 1874]. *Russkiy vestnik*. 125. pp. 628–677.
29. Shcherbachev, Yu.N. (1879) Iz Konstantinopolya v Kair v 1876 godu [From Constantinople to Cairo in 1876]. *Russkiy vestnik*. 140. pp. 138–223.
30. Leont'ev, K. (1879) Moi vospominaniya o Frakii [My memories of Thrace]. *Russkiy vestnik*. 140. pp. 256–289.
31. Leont'ev, K. (1879) Moi vospominaniya o Frakii [My memories of Thrace]. *Russkiy vestnik*. 141. pp. 206–214.
32. Leont'ev, K. (1879) Moi vospominaniya o Frakii [My memories of Thrace]. *Russkiy vestnik*. 143. pp. 155–182.
33. Vysheslavtsev, A.V. (1880) Mezhdru khamov i razvalin [Between the temples and the ruins]. *Russkiy vestnik*. 145. pp. 5–79.
34. Aristid, M. (1880) Pryamym putem i okolitsey. Otryvok iz vospominaniy o pute-shestvii v letnee vremya 1876 goda po Rumynii, Serbii i Turtsii [Directly and via outskirts. An excerpt from memories of a travel in the summer of 1876 in Romania, Serbia and Turkey]. *Russkiy vestnik*. 148. pp. 533–569.
35. Gur'ev, V.V. (1880) Pis'ma svyashchennika s pokhoda 1877–1878 [Letters of a priest from the campaign of 1877–1878]. *Russkiy vestnik*. 150. pp. 120–157.

36. Kozlov, A.E. (2016) [“Ten Days on Bosphorus”: on the anonymity of the travelogue]. *Tekstologiya i istoriko-literaturnyy protsess* [Textology and historical literary process]. Proceedings of the conference. Moscow: BukiVedi. pp. 95–104. (In Russian).

37. Russkiy vestnik. (1880) Pis'ma P.A. Karatygina [Letters by P.A. Karatygin]. *Russkiy vestnik*. 148. pp. 119–180.

38. N. (1883) Desyat' dney na Bosfore [Ten Days on the Bosphorus]. *Russkiy vestnik*. 164:3. pp. 198–257.

39. Yanushkevich, A.S. (2014) From the world picture to the world image: the history of the imagological text formation in Russian literary culture. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 2. pp. 5–16. (In Russian).

УДК 82.091

DOI: 10.17223/24099554/8/7

Э.М. Жиликова

КАВКАЗСКИЙ СЮЖЕТ Л.Н. ТОЛСТОГО

В статье рассматривается вопрос о развитии концепции кавказских народов в творчестве Л.Н. Толстого: от изображения горцев как природных, несколько идеализированных типов («Казак») к утверждению их общечеловеческой природы («Кавказский пленник») и возведению в романский тип человека, в судьбе которого нашли отражение важнейшие черты русской жизни конца XIX в. («Хаджи-Мурат»). Ставится вопрос о художественных способах воссоздания образа кавказских горцев.

Ключевые слова: «Казак», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», Гомер, хиазматическая симметрия, Ксенофонт, «Анабасис».

Тема Кавказа присутствует в творчестве Л.Н. Толстого с 1850-х по 1900-е гг. Вопрос об отношении писателя к войне на Кавказе и изображение коренного кавказского населения при всей изученности творчества Толстого во многом остается открытым. Бесспорным в истории изучения этого вопроса является указание на три хронологических этапа в обращении писателя к теме: 1) 1851–1862 гг. – время пребывания Толстого на Кавказе, непосредственное участие в военных действиях («Набег», «Рубка леса») и завершение этого этапа написанием повести «Казак»; 2) 1872 г. – создание рассказа «Кавказский пленник»; 3) 1896–1904 гг. – время работы над «Хаджи-Муратом».

Все три периода отмечены огромным интересом Толстого к горцам, но содержание этого интереса и характер описания меняются в соответствии с эволюцией художественного сознания писателя.

I

В период пребывания Толстого на Кавказе (1851–1854 гг.) и в последующее десятилетие его внимание сосредоточено на доброжелательном интересе к горцам – их этнографии и фольклоре. На Кавказ Толстой приехал прекрасно подготовленным в Казанском университете, где он изучал арабский и турецко-татарские языки;

брал уроки восточных языков у профессора Мирзы Мамед-Али-Кезам-Бени (1802–1870), известного востоковеда, который считал, что нельзя изучать язык народа, не вникая в своеобразие народного быта, нравов, обычаев [1].

Толстой собирает, записывает песни, сказки, проникаясь глубокой симпатией к горцам. Позже он пошлет А.А. Фету образцы народного творчества, и тот переложит их в стихи. В круг близких друзей Толстого входят горцы из Старого Юрта – Садо Мессирбиев и чеченец Дурда.

При этом Толстой принимает непосредственное участие в войне в качестве фейерверкера 4-го класса. Вопрос о понимании Толстым характера войны с горным Кавказом представляется сложным и не имеет однозначного решения. В течение XVIII – первой половины XIX в. происходила колонизация Кавказа в форме сражений, набегов, истребления (вырубки) леса. Толстой попал в хорошо отработанную систему угнетения, где жестокие формы истребления нивелировались картинами мирного сожительства горцев и русских на завоеванной территории. Так, в IV главе «Казачков» Толстой пишет о родстве гребенских казаков с чеченцами, завязавшемся с того времени, когда «староверы бежали из России»:

Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев. <...> Еще до сих пор казачьи роды считаются родством с чеченцами, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. <...> Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски [2. Т. 3. С. 164–165].

К тому же в сознании Толстого оппозиция русских и горцев в момент пребывания его на Кавказе была заслонена философскими и нравственными исканиями реального, неромантизированного Кавказа на русском материале. В «Набеге» и «Рубке леса» он создает очерки типов русских солдат и офицеров как демонстрацию антитезы естественной и искусственной (выдуманной, романтической) жизни. Воплощение естественности Толстой находит в природе, в поведении простых людей (солдат, офицеров), свободных от романтической аффектации в духе Марлинского. Сражающиеся горцы фигурируют под названием «неприятель»: «Неприятель, не дожида-

ясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь»; или: «В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то, сзади слышен стон раненого» [2. Т. 2. С. 24–25]. Но при этом Толстой фиксирует грабительский характер войны русских:

Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загорается стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом поднимается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старался поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю [Там же. С. 26–27].

Сложность позиции Толстого и героя его в вопросе о характере войны между русскими и горцами дважды закрепляется в прямых генерализациях. Первая появляется в описании «таинственной прелести звуков ночи»:

Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобным? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственнейшим выражением красоты и добра [Там же. С. 21].

Второй раз в рассказе «Набег» вопросительная интонация снимается отказом принять «победный кураж русских»:

Зрелище было истинно великолепное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним – и это движение, и одушевление, и крики [Там же. С. 26].

Понимание несправедливости войны прямо зафиксировано в записи дневника от 6 января 1853 г.:

Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Хорошо ли я делаю? Боже, настави меня и прости, ежели я делаю дурно [Там же. Т. 21. С. 85].

В процессе работы над «Казаками» у Толстого в отношении горцев вырабатывается концепция, построенная на включении народа Кавказа в общечеловеческое пространство. Во многом это была следствием чтения Гомера, усвоением гомеровского уравнивания людей разных национальностей и религий в развитии человеческого общества. Один из приемов Толстого, ведущий традицию от Гомера, – хиазм в построении глав. Известно, что работа над «Казаками» продолжалась в течение 10 лет. Толстой разрабатывал сотни набросков характеров, сцен, многие из которых переписывались, переставлялись. «Такая перекладка листов из рукописи в рукопись была одним из приемов работы Толстого, причем очень часто, перенося отдельные листы и целые главы, он придавал тексту иную последовательность» [3. С. 372]. Исследователь Пауль Фридрих в работе «Толстой, Гомер и генотипическое влияние» [4] показал, что в результате перестановок первая часть повести (I, II и III главы) оказались хиазматичны трем последним главам (XLII, XLI и XL). Глава III, замыкающая первую часть, и глава XL, начинающая финал повести, означившийся крахом Оленина, соотносятся по роли пейзажа и появлению в этих главах одного из древних народов Кавказа – ногайцев.

Две главы – III и XL – обнимают счастливое пребывание Оленина на Кавказе. Глава III – кульминация первой части: глава I – отъезд Оленина из Москвы, он на пороге новой жизни; глава II – «воспоминания и мечты» в пути, и глава III – явление Кавказа, кавказских гор перед Олениным. Важной деталью этой главы является тот факт, что на горы Оленину указывает ямщик-ногаец:

Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

– Что это? Что это такое? – спросил он у ямщика.

– А горы, – отвечал равнодушно ногаец [2. Т. 3. С. 162].

Чрезвычайно важно, что у Толстого причастным к красоте, открывшейся взору Оленина, оказывается равнодушный, безымянный ногаец¹.

Глава XL – начало краха Оленина: Марьяна, Лукашка и другие казаки не признали в нем своего товарища, Оленин чувствовал с их стороны равнодушное презрение. Этому состоянию недоумения и одиночества соответствует пейзаж, как и в главе III, но на этот раз дается картина бескрайней голой степи:

Солнце только что начинало подниматься. В верстах трех от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности [2. Т. 3. С. 292].

Степь столь же величественна, как горы, но отличается своей суровостью и прозаичностью. И в этой степи Оленину встречаются только ногайцы:

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший со своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины [Там же. С. 293].

¹ В черновом варианте («Новое начало «Кавказского романа») отсутствовал весь опус с открывшейся картиной гор. Воображение Оленина занимают романтические мечты о будущих победах: «Я хожу один по горам, узнаю народ и места и возвращаюсь. Я ничего не отвечаю на вопросы. Я составляю план мирного покорения Кавказа» [5. С. 295]. В конце появляется предложение, выделенное абзацем: «А горы все стоят вокруг меня цепью, потоки шумят и абреки рыщут с разных сторон и боятся моего имени» [Там же. С. 296]. Эта концовка в каноническом тексте утратит романтическое самолюбование и мечты о «плане мирного покорения Кавказа» и станет зерном, из которого прорастёт эпическая концепция единения человека с миром: «Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более <...> И дороги, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ – всё это казалось теперь уж не шуткой. <...> Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...» [2. Т. 3. С. 163].

Бедные нищие ногойцы рисуются Толстым как ветхий вечный народ, которому дела нет до переживаний Оленина. Они являются частью самой природы – гор, степи – и значимы самим своим существованием. То есть Толстой, поверх основной идеи своего «Кавказского романа», связанной с духовными исканиями русского интеллигента, установил эпические рамки в восприятии Кавказа как пространства, духовно и фактически принадлежавшего горцам.

В повести выводятся образы чеченцев, мстящих за убитого. Характерно, что их изображение связано с описанием земли:

Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и означеновалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки [2. Т. 3. С. 294–295].

Выделением этого пространства Толстой как бы подчеркивал природную, первозданную сущность горцев. При изображении брата убитого Лукашкой чеченца Толстой говорит о его «не ненависти, а холодном презрении к казаку»: «Брат убитого сидел не шевелясь и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного тут ничего не было» [Там же. С. 232]¹. В описании его внешности Толстой сравнивает чеченца с сильной хищной свободолюбивой птицей:

Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться [Там же. С. 296].

Следует добавить, что герой «Казаков» разделяет глубокую симпатию к горцам, высказываемую казаком Ерошкой. Но при этом очевидно, что Толстой, вступивший в полемику с романтическим

¹ В черновике («Из второй редакции первой части «Кавказского романа». 2-е письмо Ржевского к своему приятелю») в описании чувств чеченца Толстой более подробен: «Чеченец, который приехал выкупать его, был очень похож на него. Трудно тебе описать ту молчаливую строгую ненависть, которую выражало его худое лицо. Он ни слова не говорил и не смотрел ни на кого из казаков, как будто нас не было. На тело он тоже не смотрел. Он приказал приехавшему с ним татарину взять тело и гордо и повелительно смотрел за ним, когда он нес его в каюк с казаками. Потом, не сказав ничего, он сел в каюк и переплыл на ту сторону» [5. С. 240].

изображением Кавказа, не нарушающий принципов реалистического изображения горцев, тем не менее дает их в несколько идеальном плане, подчеркивая самобытность, дикость, сильные чувства или природную сущность. В этой «реалистической демонизации» отразился момент лично Толстым переживаемого чувства вины перед притесняемым Кавказом, невозможности разрешить проблему свободы и неволи.

II

Новое обращение к кавказской теме произошло в 1872 г. Этот период, после завершения «Войны и мира» и начала работы над «Анной Карениной», отмечен в жизни и творчестве Толстого началом перехода на позиции патриархального крестьянства и пересмотром эстетических установок: он отказался от манеры писать по-старому, широко и субъективно, увлекается древнегреческими авторами и народным творчеством. Читает в оригинале Платона, Эзопа, Ксенофонта, Гомера.

В письме к С.С. Урусову в конце декабря 1870 г. Толстой замечает:

Я ничего не пишу. Занят же страстно уже три недели греческим языком. Дошел я до того, что читаю Ксенофонта почти без лексикона. Через месяц же надеюсь читать так же Гомера и Платона [2. Т. 18. С. 692].

В феврале 1871 г. он пишет А.А. Фету:

... с утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Невероятно и ни на что не похоже. Но я прочел Ксенофонта и теперь à libre ouvert читаю его... Как я счастлив, что на меня бог послал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все <...> в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени вроде «Войны» я никогда не стану. И виноват, ей-богу, никогда не буду. Ради Бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говоря уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят... [2. Т. 18. С. 693–694].

«Писать ему хочется, – записывает в дневнике от 27 марта 1871 г. С.А. Толстая. – Мечтает о произведении столь же чистом и изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература» [6. С. 438].

Толстой пишет рассказ «Кавказский пленник» для «Азбуки», первоначально печатает в журнале «Заря», а затем помещает в «Четвертую русскую книгу для чтения».

В произведении на первый план выдвинута пушкинская традиция, к которой у писателя диалектически сложное отношение. Толстой разделяет пушкинскую симпатию к горцам, к Кавказу, что предопределило заглавие рассказа, как и поэмы Пушкина: изображение сюжета о спасительной любви черкешенки к русскому, ряд деталей в описании природы [7. С. 35]. Однако Толстой вступает в полемику с Пушкиным в изображении горцев и способов письма. «Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому, что рассудил, что так надобно. А потому, что даже Пушкин мне смешон...», — пишет он в письме к Н.Н. Страхову в марте 1872 г. [2. Т. 18. С. 706]. Толстой ищет простые, первозданные, народные формы отношения, лишённые всякой болезненности. Такими качествами отличалась древнегреческая литература. Моделью для «Кавказского пленника» мог послужить «Анабасис» Ксенофонта.

«Анабасис», или Отступление десяти тысяч — главное произведение древнегреческого историка, в котором он описал отступление греческих наёмников-гоплитов из Мессопотамии на север к морю. Гибель персидского царя Кира оставила им нанятых греческих ратников в середине незнакомой, враждебной страны. Фактически греки оказались в плену у кардухов, армян, тиохов, халибов — народов, живущих в Малой Азии.

«Кавказский пленник» восходит к «Анабасису» (как одному из источников) целым рядом совпадений — в выборе сюжета, манере повествования, характере описаний, пейзажей. Повествование в «Кавказском пленнике», как и в «Анабасисе», ведётся от первого лица. Положение греческого войска, пробивающегося к морю, преодолевая сопротивление окружавших его врагов, как и образ мужественного и сильного Ксенофонта, соотносятся с сюжетом «Кавказского пленника» и образом Жилина.

Сам Ксенофонт, известный военачальник-афинянин и писатель, предстал в книге спасителем греческого войска.

В качестве одного из вновь избранных стратегов он входит в число предводителей отступающих греков <...>. От него исходят лучшие, спасительные советы, он предводительствует в военных столкновениях, ведёт ответственные дипломатические переговоры, опасные порывы забывших дисциплину солдат [8. С. 205–206].

Образ Ксенофонта отмечен победным началом.

По словам М.С. Альтмана, у Толстого «Жилин – это какая-то действительно нескудеющая жила, он, как и подобает сказочному герою, выходящему из всех испытаний невредимым, неутомимо упорно живуч, всякое дело у него спорится, силушка по жилушкам у него, как у былинного богатыря, так и переливается» [7. С. 21]. М.С. Альтман указывает на связь образа Жилина с былинным героем, что вполне допустимо в новых исканиях Толстого, но не отменяет влияние греческого источника.

Из разрозненных наблюдений о географических, климатических условий, из описания вооружения, образа жизни народов, в плену у которых оказались эллины, складывается яркая картина жизни Малой Азии на грани V–IV вв. до н. э. Так, Ксенофонт пишет о дерзости и храбрости кардухов:

Кардухи были настолько проворны, что им удавалось убежать даже после того, как они подходили к эллинам на близкое расстояние. У них ведь не было другого оружия, кроме луков и пращей. Это прекрасные стрелы из лука, а величина их лука равнялась 3 локтям и длина стрел 2 локтям с лишним; во время стрельбы они натягивали тетиву, наступая левой ногой на нижнюю часть лука. Стрелы их пробивали щиты и панцири [9. С. 89].

Но одновременно Ксенофонт отмечает их жестокость, дикость в сравнении с эллинами. Объективность тона, простота и спокойствие изложения, отсутствие лишних слов и украшений в стиле при изображении как эллинов, так и их противников стали образцом для Толстого.

В «Кавказском пленнике» горцы рисуются в общечеловеческом плане, но, в отличие от «Казачков», лишены идеализации. Им свойственны пороки и недостатки, как любой нации. Так, в главе I рассказа два раза в отношении горцев встречается определение «вонючие»: «вонючие татары», «вонючая татарская спина». Это восприятие Жилина, но оно воспринимается как истинное на фоне тех страданий, которые переносят Жилин и Костылин. Татары у Толстого жестоки в обращении с пленниками – людьми ли, лошадьми ли. За взрослыми следуют дети: «...окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него». Неприязнь к русским усиливается религиозными представлениями (история старика, убившего сына за переход того к русским).

Но вместе с тем татары наделены у Толстого достоинствами нравственного порядка. Жилину помогает бежать татарская девочка

Дина. В неторопливой манере прослеживается история ее отношений с пленным. Вначале испуганное детское любопытство, потом, тронутая его куклами, она проникается к нему интересом, а затем великодушно помогает ему бежать. Основа всего – сострадательное чувство к человеку: «Помолчала, посидела и говорит, – Иван! тебя убить хотят <...> А мне тебя жалко» [2. Т. 10. С. 227].

Толстой наделяет своего рассказчика, обыкновенного среднего русского офицера, необычайно зорким глазом и даром наблюдательности. Так, в повесть входят объясняющие характеры татар описания жилища, еды, одежды, нравов, природы. Это картины, имеющие реальные источники, увиденные и собранные Толстым в 1850-е гг. во время его пребывания на Кавказе. Структурно же они, по манере письма, выполнены в 1870-е гг. и напоминают «Анабасис» Ксенофонта. Например, описание жилища:

Ксенофонт	Толстой
Дома здесь были подземные, с верхним отверстием наподобие отверстия колодца, но широкие внизу. Впуски для скотины были вырыты в земле, а люди спускались вниз по лестнице. В домах находились козы, овцы, коровы и птицы со своими детенышами; весь скот питался в домах сеном. Там хранились также пшеница, ячмень, овощи и ячменное вино в крateraх. В уровень с краями сосудов в вине плавал ячмень, и в него воткнут был тростник, больших и малых размеров, но без коленцев, кто хотел пить, должен был взять тростник в рот и тянуть через него вино [9. С. 99].	Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки – всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки [2. Т. 10. С. 213].

Дело не в простой схожести реалий быта: разные эпохи, разные народности. Картины сближаются тоном, точным, почти научным характером описания; здесь нет места субъективности. Обращает на себя внимание синтаксис предложений: за подлежащим (или отсутствием его) следует неопределенно-личное сказуемое, предпола-

гающее множественное число в лице создателя. Толстой придавал огромное значение языку: «Я написал совсем новую статью в «Азбуку» – Кавказский пленник. <...> Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших» [10. С. 278–279].

Особого внимания заслуживает описание природы в «Кавказском пленнике». Близость можно отметить в выборе типа местности: горы, покрытые лесом, ущелья, долины. Природа у Ксенофонта, помимо описания интерьера, служит ритмообразующим элементом повествования. Например, описание из II главы IV книги:

Между тем наступил вечер, и стратеги приказали добровольцам наскоро поесть и отправиться в путь <...>. Условились, что в случае, если удастся занять вершину, они ночью будут отражать ее, а с наступлением утра дадут трубный сигнал и тогда занявшие вершину пойдут на тех врагов, что сторожат находящийся на виду перевал, а остальные эллины, снявшись с места, поспешат на помощь. Сговорившись таким образом, они в числе 2000 человек отправились в путь.

Шел сильный дождь. А Ксенофонт повел арьергард к находившемуся на виду перевалу <...>.

Ночь эллины провели там, а на рассвете, молча, в боевом порядке пошли на врагов. Пал туман, благодаря чему они незаметно подошли на близкое расстояние, а когда эллины и варвары увидели друг друга, затрубила труба и, подняв боевой клич, эллины бросились на врагов [9. С. 86–87].

Краткие «врезки» описания природы у Ксенофонта не просто указывают время, но ритмически выстраивают процесс подготовки к бою. У Толстого подобный способ изображения природы выполняет еще и функцию психологического анализа, обретающего новые формы. Он имеет подчеркнуто объективный характер и распространяется равно на Жилина и на девочку, на Жилина и преследующих его татар.

В последней главе рассказа Толстой сравнивает глаза Дины с «звездочками»: «Глазки так и блестели, как звездочки». Это сравнение дублируется в описании вечера: «Вот сидит вечером Жилин и думает: «что будет?» Всё поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил» [2. Т. 10. С. 227]. Через абзац образ Дины и образ звездного неба сомкнутся: «Поглядел вверх, – звезды высоко на небе блестят; и над самую ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся» [Там же]. С этого момента образ звездного неба (с

красным заревом, с месяцем) становится у Толстого, как у Ксенофонта, ритмообразующим, отмеряющим и знаменующим этапы его побега и погони татар.

Оглянулся Жилин, видит – налево за горой зарево красное загорелось, месяц встает. «Ну, – думает, – до месяца надо лощинку пройти, до лесу добраться».

<...> пошел по дороге, – ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямоком пути верст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку, – побелел уже свет над горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины всё светлее, светлее становится <...>.

Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор, – бело, светло совсем, как днем. На деревьях все листики видны. <...>

Всю ночь шел. <...> Уж стал месяц блестеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел [2. Т. 10. С. 227–228].

Завершением сюжета у Толстого стала встреча Жилина с казаками. Эту картину по содержанию (конец плена, обретение свободы), по напряженности эмоций и по сходству поэтических форм выражения можно соотнести с одной из кульминаций «Анабасиса», когда греки достигли моря, с которым связывали свою свободу:

Когда солдаты авангарда вошли на гору, они подняли громкий крик. Услышав этот крик, Ксенофонт и солдаты арьергарда подумали, что какие-то новые враги напали на эллинов спереди, тогда как жители выжженной области угрожали им сзади <...> Между тем крик усилился и стал раздаваться с более близкого расстояния, так как непрерывно подходившие отряды бежали бегом к продолжавшим все время кричать

Вышел на край – совсем светло, как на ладанке перед ним степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров. Вгляделся, видит: ружья блестят, казаки, солдаты. Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает: «избави бог тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдешь». Только подумал – глядь: налево на буг-

солдатам, отчего возгласы стали громче, поскольку кричащих становилось больше. Тут Ксенофонт понял, что произошло нечто более значительное. Он вскочил на коня и в сопровождении Ликия и всадников поспешил на помощь. Скоро они услышали, что солдаты кричат: «Море, море!» и зовут к себе остальных. Тут все побежали вперед, в том числе и арьергард, и стали гнать туда же выючный скот и лошадей. Когда все достигли вершины, они бросились обнимать друг друга, стратегов и лохагов, проливая слезы [9. С. 101].

ре стоят трое татар, десятины на две. Увидали его, – пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. *Замахал руками, закричал, что духу своим: – Братцы! выручай! братцы!* Услышали наши, – выскочили казаки верховые, пустились к нему – наперерез татарам. Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а *сам себя не помнит, крестится и кричит: – Братцы! братцы! братцы!* <...> Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А *Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает: – Братцы! Братцы!* [2. Т. 10. С. 229–230].

Как пишет Б.М. Эйхенбаум, «“Кавказский пленник” – чистейшая графика. Это вовсе не подражание фольклору, а этюд, художественная задача которого состоит в чистоте и красоте рисунка, в четкости линий, в ясности и элементарности сюжета. Нет никакой психологической раскраски, никаких отступлений в сторону, никаких описательных подробностей» [11. С. 72]. Б.М. Эйхенбаум говорит о греческом компоненте в рассказе: «Недаром Толстой так увлекался Гомером: получилось нечто вроде миниатюрной «Одиссеи», противостоящей не только современной литературе, но и собственной грандиозной «Илиаде» – «Войне и миру» [Там же. С. 73].

Таким образом, ориентация Толстого на греческие источники, в том числе и «Анабасис» Ксенофонта, делала объективность в изображении как русских, так и горцев условием художественности.

III

Третий этап обращения к кавказской теме падает на рубеж веков – 1896–1904 гг. Толстой создает повесть, в которой главным героем выступает чеченец, «знаменитый своими подвигами наиб Шамиля» [2. Т. 14. С. 24] Хаджи-Мурат. Толстой связал судьбу Хаджи-

Мурата с российскими проблемами, тем самым концепция личности героя приобрела эпический масштаб и трагическая судьба его получила общероссийский характер. Толстой показал, что Хаджи-Мурат обстоятельствами самой жизни поставлен в безвыходное трагическое положение. С одной стороны, давление русских, ненавидимых горцами. В главе XVII описан аул, разоренный набегом, – разрушенные сакли, убитые, сожженные улы, загаженный фонтан, испуганные дети и женщины:

О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения [2. Т. 14. С. 99].

Толстой делает различие в русских. Вина падает на царя и весь его генералитет. Он рисует простых солдат, которым приказывали совершать набеги, описывает жизнь и смерть добродушного солдата Авдеева, жизнь мужиков в деревне, дружбу Хаджи-Мурата с офицером Бутлером, симпатизирующую ему Марью Дмитриевну, показывая их подневольность и зависимость от Воронцовых, Чернышева, Лорис-Меликова, самого царя Николая I. Челядь вокруг императора и он сам изображаются как бездушная машина лжи, равнодушия, игры мелких самолюбий и деспотических решений.

С другой стороны, кровные враги Хаджи-Мурата – Гамзат и Шамиль, взявшие в свои руки Кавказ, укрепившись на народной ненависти к русским, управляющие без закона и справедливости. Семья Хаджи-Мурата оказалась в плену Шамиля. Зажатый между двумя этими силами, Хаджи-Мурат мучительно колеблется и... погибает.

Изображения Николая I и Шамиля даются параллельно, подмечается сходство их – в неограниченности власти и равнодушии к судьбам людей. Так, в портрете Николая I и Шамиля Толстой подмечает общее выражение – безжизненность лица. «Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами [Там же. С. 88].

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он

вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто – кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, *безжизненным взглядом*, слушал, что ему говорили [2. Т. 14. С. 92].

Та же черта отмечается Толстым у Шамиля, например, при въезде его в Ведено:

Хотя Шамиль и узнал среди ожидавших его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же *неизменно каменным лицом* проехал мимо них...» [Там же. С. 105].

Контрастом им описан Хаджи-Мурат. Толстой акцентирует внимание на детской улыбке героя, покорявшей женские сердца.

Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был *самый простой человек, улыбнувшийся такой доброй улыбкой*, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем [Там же. С. 46].

Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, *улыбался, и улыбка его понравилась* Марье Васильевне так же, как и Полторацкому [Там же. С. 48].

Хаджи-Мурат <...> улыбнулся *той особенной, детской улыбкой, которой он пленил* еще Марью Васильевну [Там же. С. 67].

Это «*детское доброе выражение*» в складках посиневших губ запечатлелось на лице погибшего Хаджи-Мурата.

Одухотворенность сурового лица дополняется упоминанием о «*быстрых черных*» глазах героя, красота которых победно и трагически дублируется описанием глаз восторженного мальчика, сына Садо: «Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился *черными, как спелая смородина, блестящими глазами* на приехавших» [Там же. С. 25]. Такие же глаза были у сестры мальчика: «...*такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице*» [Там же. С. 28]. И при описании разоренного русским набегом аула Толстой пишет о судьбе «*того красивого, с блестящи-*

ми глазами мальчика, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата»: «Он был проткнут штыком в спину» [2. Т. 14. С. 98].

Образ Хаджи-Мурата обретает в повести романнный статус [12. С. 7]. Герой изображается в самый решительный момент его жизни: в финале он действует, выходя из состояния томительного ожидания и колебаний. Но на протяжении всей повести Хаджи-Мурат предстает типом героя, характерным для русской жизни конца XIX в.: трагическое лицо, поставленное в ситуацию отсутствия выбора, а потому обреченное на напряженные колебания. Толстой возводит Хаджи-Мурата в романнный тип целым рядом приемов, наделяя героя мотивом воспоминаний, окружая историю рассказом о цветке репея и сопровождая его решительные минуты описанием соловьиного пения [13. С. 556–584].

Таким образом, в художественном мире Толстого образ Кавказа, коренных жителей края занимает важное место, он прошел глубокую и сложную эволюцию, прочертив движение нравственной и эстетической позиции писателя от пронизанного глубоким уважением и сочувствием изображения кавказских горцев как нескольких идеальных типов к пониманию их общечеловеческой природы и, наконец, возведению образа героя кавказской истории в ранг человека, в судьбе которого нашли отражение важнейшие особенности русской жизни конца XIX в.

Литература

1. Виноградов Б.С. Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1959. 238 с.
2. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. М.: Худож. лит., 1979.
3. Опульская Л.Д. Творческая история «Казаков» // Толстой Л.Н. Казаки. М., 1963. С. 350–392.
4. Fridrich P. Tolstoy, Homer and genotypical influence // Comparative literature. Eugene, 2004. Vol. 56, № 4. Autumn. P. 288–293.
5. Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 415 с.
6. Толстая С.А. Дневники: в 2 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 1. 606 с.
7. Альтман М.С. Читая Толстого. Тула: Приок. кн. изд-во, 1968. 168 с.
8. Максимова М.И. Ксенофонт и его «Анабасис» // Ксенофонт. Анабасис. Греческая история. М., 2010. С. 201–210.
9. Ксенофонт. Анабасис. Греческая история. М.: АСТ, 2010. 640 с.
10. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 61. 423 с.
11. Эйхенбаум Б.М. Толстой. Семидесятые годы. Л.: Сов. писатель, 1974. 359 с.
12. Лакин В.Я. Завещание Льва Толстого // Толстой Л.Н. Хаджи Мурат. Махачкала, 1969. С. 2–16.
13. Шкловский В. Избранное: в 2 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 1. 638 с.

THE CAUCASIAN PLOT OF LEO TOLSTOY

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 124–141. DOI: 10.17223/24099554/8/7

Emma M. Zhilyakova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: emmaluk@yandex.ru

Keywords: *The Cossacks*, *The Prisoner of the Caucasus*, *Hadji Murat*, Homer, chiasmatic symmetry, Xenophon, *Anabasis*.

The article discusses the issue of the development of the concept of Caucasian peoples in the works of Leo Tolstoy: from the image of the mountaineers as natural, somewhat idealized types (*The Cossacks*) to the assertion of their universal nature (“The Prisoner of the Caucasus”) and the introduction to the novel type of a person whose fate reflects the most important features of Russian life of the late 19th century (*Hadji Murat*). The question is raised about the artistic ways of recreating the image of the Caucasian mountaineers.

During Tolstoy’s stay in the Caucasus (1851–1854) and in the following decade, his attention is focused on the benevolent interest in the mountaineers – their ethnography and folklore. While working on *The Cossacks* Tolstoy develops a concept built on the inclusion of the people of the Caucasus in the common human space. In many respects this was the result of reading Homer, the assimilation of Homer’s equalisation of people of different nationalities and religions in the development of human society. Tolstoy, who entered into controversy with the romantic image of the Caucasus which does not violate the principles of a realistic portrayal of mountaineers, nevertheless shows them in an ideal plan, emphasising originality, savagery, strong feelings or nature. This “realistic demonisation” reflected Tolstoy’s feeling of guilt over the oppressed Caucasus, over the inability to resolve the problem of freedom and captivity.

Tolstoy again turns to the Caucasian theme in 1872. In the short story “The Prisoner of the Caucasus” Tolstoy seeks simple, primordial, folk forms of a relationship devoid of any morbidity. Ancient Greek literature was distinguished by such qualities. Xenophon’s *Anabasis* could be the model for “The Prisoner of the Caucasus”. Tolstoy’s story has a number of coincidences in the choice of plot, the manner of narration, the nature of descriptions, landscapes with *Anabasis* as one of the sources.

The third stage of Tolstoy’s turn to the Caucasian theme is at the turn of the century – 1896–1904. Tolstoy creates a story in which the protagonist is the Chechen Hadji Murat. Tolstoy set the fate of Hadji Murat in connection with Russian problems, thus the concept of the character’s personality acquired an epic scale and its tragic fate was all-Russian in nature. Throughout the story, Hadji Murat appears as a type of a character typical of Russian life at the end of the 19th century: a tragic person set in a situation of the lack of choice, and therefore doomed to tense hesitations.

References

1. Vinogradov, B.S. (1959) *Kavkaz v tvorchestve L.N. Tolstogo* [Caucasus in the works of L.N. Tolstoy]. Groznyy: Checheno-Ingushskoe knizhnoe izd-vo.
2. Tolstoy, L.N. (1979) *Sobranie sochineniy: v 22 t.* [Works: in 22 vols]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
3. Opol’skaya, L.D. (1963) *Tvorcheskaya istoriya “Kazakov”* [The creative history of “The Cossacks”]. In: Tolstoy, L.N. *Kazaki* [The Cossacks]. Moscow: USSR AS. pp. 350–392.

4. Fridrich, P. (2004) Tolstoy, Homer and genotupical influence. *Comparative literature*. 56:4. Autumn. pp. 288–293.
5. Tolstoy, L.N. (1963) *Kazaki. Kavkazskaya povest'* [The Cossacks. The Caucasian story]. Moscow: USSR AS.
6. Tolstaya, S.A. (1978) *Dnevniky: v 2 t.* [Diaries: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
7. Al'tman, M.S. (1968) *Chitaya Tolstogo* [Reading Tolstoy]. Tula: Priokskoe knizhnoe izd-vo.
8. Maksimova, M.I. (2010) Ksenofont i ego "Anabasis" [Xenophon and his "Anabasis"]. In: Xenophon. *Anabasis. Grecheskaya istoriya* [Anabasis. Greek history]. Moscow: AST.
9. Xenophon. (2010) *Anabasis. Grecheskaya istoriya* [Anabasis. Greek history]. Moscow: AST.
10. Tolstoy, L.N. (1953) *Polnoe sobranie sochineniy: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 61. Moscow: GIKhL.
11. Eykhenbaum, B.M. (1974) *Tolstoy. Semidesyatyie gody* [Tolstoy. The Seventies]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
12. Lakshin, V.Ya. (1969) Zaveshchanie L'va Tolstogo [The will of Leo Tolstoy]. In: Tolstoy, L.N. *Khadzhi Murat* [Hadji Murat]. Makhachkala: Dagestanskoe knizhnoe izd-vo.
13. Shklovskiy, V. (1983) *Izbrannoe: v 2 t.* [Selected works: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/24099554/8/8

Л.Н. Сарбаш

ИНОНАЦИОНАЛЬНОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ XIX В.: РЕЦЕПЦИЯ ПОЛИЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВОЛЖЬЯ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В статье анализируется инонациональное в русской литературе и публицистике XIX в., рецепция полиэтноконфессионального Поволжья в характерных проявлениях этнографизма. Исследуется репрезентация нерусского, архетипы национального сознания, обычаи и образы волжских народностей в изображении русских писателей.

Ключевые слова: инонациональное, русская литература XIX в., творческая рецепция, полиэтноконфессиональное Поволжье, этнографизм, локальные культуры.

Девятнадцатое столетие – время активного роста русского самосознания, актуализировавшего в литературе вопросы соотношения «своего» и инонационального – «иноного», «другого». Одно из знаковых явлений эпохи – формирование и закрепление образа нерусского, и не только в традиционном аспекте русско-европейского взаимодействия в характерной дихотомии «Россия – Европа», «Восток – Запад». В условиях этнического многообразия Российской империи русские писатели обращались к «внутренним» народам, к «духовной множественности» (Д. Лихачев) российского бытия. Русская литература в русле общей культурной тенденции эпохи (изучение России в историко-географическом, экономическом, этнографическом направлении и осознание ее как государства-империи, населенного многочисленными народностями) вводила в свое эстетическое пространство инонациональные миры, «осваивала» различные российские «инокультуры», создавала представление о «народах разноразличных», составляющих «Русскую землю» (В.И. Даль). Рецепция инонационального, жизни и верований нерусских народностей Волги – творческое воплощение поликультурного и этноконфессио-

нального российского пространства, изображение которого расширялось в творческом процессе от десятилетия к десятилетию.

Поволжье представляло собой большое этноконфессиональное смешение народов, по меткому определению писателя Евгения Чирикова, это «великий Ноев ковчег» России, где вместе собрались все народы Европы и Азии и «все их боги, злые и добрые, со всеми чадами и домочадцами: великоросс, малоросс, татарин, чуваш, черемисин, мордвин, немец, еврей, персиянин, калмык... Христиане разных толков, последователи Будды, Магомета, грозного ветхозаветного Иеговы, Заратустры, первобытные язычники» [1. С. 95]. Писатель отмечает, что по прошествии веков на Волге мирно уживаются «разноплеменные народы», происходит взаимопроникновение народных мировоззрений: «русский» бог «Никола-угодник» сделался «Праведным Судьей» у чуваша-язычника, а гору Богдо, священную гору калмыка-буддиста, русский мужик называет Святою горою и снимает перед ней набожно шапку!» [Там же. С. 96].

Имагология российского пространства, «этнография психологическая» (Н. Надеждин) в полной мере проявляется в русской литературе XIX в., которая участвует в «освоении» инонациональной почвы российской действительности. Специфика жизненного уклада, обрядовая сторона жизни, религиозно-мифологические верования, поэтическое творчество нерусских народов Поволжья – чувашей, мордвы, вотяков (удмуртов), черемисов (марийцев), татар, башкир, малороссов («запорожцев за Волгой»), немцев, калмыков – появляется в творчестве русских писателей: в многочисленных заметках, в литературно-этнографических статьях, в идейно-художественной системе сочинений В.В. Измайлова, А.Ф. Воейкова, М.И. Невзорова, Д.В. Давыдова, Ф.Н. Глинки, А.Ф. Раевского, Т.С. Беляева, П.М. Кудряшева, И.И. Железнова, И.В. Селиванова, Н.Я. Аристова, А.Ф. Леопольдова, А.С. Пушкина, А.И. Герцена, И.И. Лажечникова, С.Т. Аксакова, И.С. Аксакова, В.И. Даля, М.В. Авдеева, А.К. Толстого, П.И. Мельникова-Печерского, А.А. Потехина, А.Н. Островского, С.В. Максимова, А.Ф. Писемского, Ф.Д. Нефедова, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Г.И. Успенского, К.К. Случевского, Н.Д. Телешова, Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.Г. Короленко, Вас.Ив. Немировича-Данченко, А.А. Коринфского, А.П. Валуевой и многих других.

Репрезентация инонационального в русском литературном процессе XIX в. предстает в нескольких направлениях: нерусское как

религиозно-мифологическая этнография – обряды и обычаи, религиозно-мифологические верования; нерусское в типической характеристологии времени как социальная этнография; нерусское как осмысление духовно-нравственного опыта и ценностного мира других народов.

Инонациональная картина бытия передается русскими писателями через архетипы национального сознания, русский и нерусский фольклор: легенды, исторические и топонимические предания, обрядовые песни раскрывают этнокультурные особенности, духовно-нравственные идеалы многочисленных народов Поволжья. Фольклор как явление художественного синтеза проявляет в литературном творчестве русских писателей разнообразные поэтические начала. М.М. Бахтин отмечал, что одна национально-культурная традиция становится ярче через призму восприятия другой, именно тогда видится отличие от «своей» и своеобразие «иной»: «...чужая культура только в глазах *другой* культуры раскрывает себя полнее и глубже» [2. С. 354].

Одним из первых писателей, обратившихся к изображению иноэтнических явлений Российского государства, жизни и быта нерусских народностей, был писатель-этнограф В.И. Даль. Башкирская тема особенно широко представлена в творчестве Даля. Будучи чиновником особых поручений при губернаторе В.А. Перовском, писатель изъездил практически всю Оренбургскую губернию, интересуясь жизнью и поэтическим творчеством населяющих ее народностей, собрал много фольклорных и лингвистических материалов. На основе легенд, преданий, бытописания башкир и других национальностей огромного края Далем были написаны многочисленные статьи и созданы художественные произведения, связанные с жизнью русских и «коренных обитателей» Оренбуржья: «Замечания о башкирцах», «О кумысе», «Скачка в Уральске», «Скачки в Уральске и Оренбурге», «Охота на волков», «Башкирская русалка», «Полунощник», «Уральский казак», «Осколок льду», «Бикей и Мауляна», «Майна», «Новые картины русского быта» («Обмирание»), «Рассказ об осаде крепости Герата». Повесть В.И. Даля «Башкирская русалка» создана на фольклорном материале: в ее основе, как отмечает М. Рахимкулов, древнейшее эпическое сказание о Зая-Туляке и Хыу-Хылу [3. С. 462].

Художественным способом воссоздания нерусского является мифологическая характеристология: при описании природы Башкирии наблюдается органическое соединение конкретного географическо-

го описания местности – топонимов, гидронимов, цифровых параметров пещер – с поэтической башкирской мифологией, архаическими этнологическими сказаниями и топонимическими легендами. Реальные исторические и этнического характера сведения «соседей» в повествовании, тесно переплетаются и «срачиваются» с преданиями устного народного творчества, с многочисленными башкирскими легендами – о каменной собаке в пещере Шуллиюганташи; о жилище дью-париев, находящихся в подземной мельнице Тименетау; об озере Елкикичкан – царстве могучего падишаха водяных, наградившего смелого Кунгрбая табуном лошадей. Аналогичная легенда реализуется и в сказе: отец русалки дает Зая-Туляку на обзаведение табун отличных, выплывших из озера коней, от которых произошла, как замечает рассказчик, знаменитая порода димских башкирских лошадей. Характеристика родовых знаков башкир сопровождается поэтическими преданиями о Чингис-хане [4. С. 330–331].

В.И. Даль разнообразен в способах художественной инкорпорации этнографического материала. Башкирское создают этнорегионализмы тюркского происхождения, обозначающие разные стороны национальной жизни (чапан, юрта, чебызга-курай, кумыс, крут, сабы, турсук, тамга, уран); маркером этнического является национальный костюм, который подробно описывается; актуализатором башкирского выступают названия демонологических существ (шайтан, дью-пари, джин, подводный падишах, див). Этнографическая насыщенность, достоверность этнических деталей, «живая, внутренняя верность действительности» (В.Г. Белинский) – характерная особенность писателя в изображении инонациональной жизни. В сюжетно-композиционной системе «Башкирской русалки» происходит объединение разнородных повествовательно-жанровых элементов, в результате чего и создается яркая инонациональная мифологема. Можно со всей определенностью сказать, что В.И. Даль явился не только родоначальником русской литературно-этнографической школы, но и основоположником ее инонационального направления.

Начало формированию инонациональной этнографии в русском литературном процессе XIX в. было обозначено произведениями П.М. Кудряшева («Прощание башкирца с милой», «Песнь башкирца перед сражением», «Песнь башкирца после сражения») и Т.С. Беляева («Куз-Курпач, Башкирская повесть, писанная на Башкирском языке одним курайчем и переведенная на Российский в до-

линах гор Рифейских, 1809 года», «Песнь Курайча Рифейских гор»). Лирический цикл П.М. Кудряшева об участии башкир в Отечественной войне 1812 г. – вольный перевод народных башкирских песен. Русский писатель вводит образы мусульманской культуры, которые придают изображаемому национальный колорит: башкир клянется священной книгой «Алкораном», «пророком Божиим» Магометом; ожидающим сражения ниспослано благословение Аллаха; смерть дарует погибшему рай, который предстает в кораническом контексте грядущих наслаждений:

Вам счастье, радости в раю;
Там гурий девственных лобзанье,
Их ароматное дыханье,
Объятия, улыбка, взгляд –
Блаженством храбрых наградят! [5. С. 200].

П.М. Кудряшев намечает пути литературного соположения разных национально-культурных традиций. Башкирский цикл П.М. Кудряшева показателен как значимый фактор художественного развития: в русском творческом процессе появляется произведение, транслирующее инонациональный фольклор и воспроизводящее события 1812 г. от лица героя-инородца. Важно и обращение русского поэта к башкирской народной песне: по существу, это было началом собирания башкирского народного творчества.

«Песнь Курайча Рифейских гор» Тимофея Беляева, повествующая об участии башкирских воинов в войне 1812 г., представляет собой фольклорную стилизацию: в произведении присутствуют образы и мотивы башкирского народного творчества; башкиры определяются в русле устно-поэтической традиции как народ, «семью зовущийся родами» (по преданию, на основе царской грамоты башкиры поделили земли на семь родов); Рифейские горы (древнее название Уральских гор) предстают как родина башкир, битва уподобляется свадебному пиру «тую»; встречаются башкирские слова и выражения, которым даются авторские пояснения – «батырь», «туй-гун», «туй», «курайча» и др. «Песнь Курайча Рифейских гор» представляет собой мифопоэтическое осмысление исторического события, которое предстает в эсхатологическом масштабе как вселенская битва божественных и сатанинских сил – древнего мусульманского Дадьжала («ложного мессии»), которого Аллах низвергнул в бездну, кого христиане называют антихристом. Курайча объясняет башки-

рам – обитателям Рифейских гор – духовное значение, сакральный смысл 1812 г.:

Народ! Внемлите весть благую,
Урус погану рать и злую
Попрал, стоптал, под ноги смял.
Джигиты наши подоспели,
Как снежны бури, налетели,
И враг на Запад побежал [6. С. 499].

В башкирской мифопоэтической традиции (Урал «страна семи родов») трактуется и результат победы: из великого испытания рождается «осьмой род» – новое сообщество народов, в которое вошли башкиры-«семиродцы»:

Из дальних зрю толпами
Аулов едущий народ,
Семью зовущийся родами,
В осьмой присвоенный им род [Там же. С. 500].

Обращение к инонациональной этнографии и фольклору как характерная художественная тенденция времени активно заявляет о себе в литературе и публицистике XIX в. – в сочинениях В. Зефинова («Рассказы башкирца Джантюри. Из воспоминаний о войне с французами»), И.И. Лажечникова («Некоторые поверья Мордвы»), П.И. Мельникова-Печерского («Общественные моления эрзян», «Эрзянская свадьба», «Мокшанская свадьба», «Очерки Мордвы»), И.В. Селиванова («Мордва»), М.В. Авдеева («Горы», «Поездка на кумыс»), А.Ф. Писемского («Татары», «Астраханские армяне», «Калмыки»), С.В. Максимова («Куль хлеба и его похождения», «Край крещеного света»), Д.Н. Мамина-Сибиряка («Баймаган», «Лебедь Хантыгая», «Слезы царицы», «Майя», «Ак-Бозат»), Ф.Д. Нефедова («Зигда», «Ушкуль»), Н.Д. Телешова («Сухая беда», «Живой камень»), Н.Г. Гарина-Михайловского («В сutoлке провинциальной жизни», «Зора»), А.М. Горького («Немой», «Знахарка») и многих других.

Инонациональное направление русской этнографической школы XIX в. продолжает и развивает С.В. Максимов. Русский писатель обратился к осмыслению национального бытия, созданию этнопсихологических образов многочисленных российских народностей. В четырех частях цикла «Край крещеного света» С.В. Максимов одним из первых создает целостное художественно-этнографическое

изображение российских народов, отмечая их национальную специфику и черты самобытной культуры. Произведение предназначалось для народного чтения, написано простым и доступным языком и в дореволюционной России выдержало более девяти изданий. «Край крещеного света» преследовал и просветительскую цель: знакомство с национально-культурным своеобразием народов, составивших Российскую империю, приобщение читателя к духовным устоям многонационального Отечества.

Все части книги построены по одному сюжетно-композиционному принципу: указывается численность того или иного народа и ареалы расселения, род занятий и уклад жизни, этнографическая характеристика – праздники, обычаи и обряды, обращается внимание на свойственные тому или иному народу древние религиозно-мифологические верования. С.В. Максимов работает в жанре очерка, отличительная черта которого – достоверность изображения: писатель отмечал, что в основе его произведений лежат только личные наблюдения, «голые факты, целостно взятые из жизни». Писатель видел большие возможности очерковых форм в художественном исследовании разнообразных сторон народной жизни в ее конкретике и бытописании. Изображая народы Поволжья, писатель отмечает их трудовое, культурно-историческое «присутствие» в большом российском мире; создает этнические образы-«лица», связывая с каждой из народностей определенные общественно-культурные и национально-религиозные константы. Каждая глава снабжается эпиграфом – русскими и нерусскими пословицами, в которых содержится своеобразная этноконстанта в определении национального.

Черемисы (марийцы) селились в глуши, это «лесной народ», и русский мужик находит для этого соответствующее определение: «Первого черемиса леший родил, оттого они все в лесу сидят» [7. С. 49]. Чуваши определяются у русских собирательным именем «Василий Иванович», что объясняется у Максимова историческим преданием: иеромонах Вениамин Пуцек-Григорович крестил чувашей толпами и любил якобы давать им свое светское имя «Василий», а восприемником был дьякон Иван Афанасьев. За определением чуваша как «Василия Ивановича» следует ироническая диалогическая сценка: «Поп Васька дома?» – «А кто там?» – «Я – Василий Иванович» [Там же. С. 55].

Писатель знакомит русского читателя с огромным поликультурным пространством Российской империи – укладом жизни, религи-

озно-мифологическими верованиями, обычаями и обрядами нерусских народов, что было чрезвычайно значимо как в культурно-исторической тенденции эпохи, так и в развитии русского литературного процесса. С.В. Максимов развивает этнографическое направление, осваивающее инонациональную типологию, преследующее цель изображения национально-культурного своеобразия нерусского. Иноэтнический материал актуализировал очерковую форму, использующую новые способы типизации, структурообразующим началом которых является этнографизм. Этнокультурной типологией обусловлен и принцип циклизации очерков, являющийся характерной особенностью произведения «Край крещеного света».

В произведениях русских писателей значимы инонациональные эпизоды, передающие локальные этнокультуры Поволжья. В идейно-художественной системе произведений М.И. Невзорова, В.И. Дала, С.Т. Аксакова, Н.С. Лескова, А.А. Потехина, Н.Д. Телешова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.Г. Короленко, Вас.Ив. Немировича-Данченко и многих других писателей нерусский текст не только создает этнопсихологический тип, иную национально-культурную традицию, но и помогает понять ментальность русского человека, специфику его национального характера и мировосприятия.

В повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» русский Иван Флягин «заявлен» в ситуации взаимодействия с нерусским миром, в условиях полиэтнического жизненного пространства. Повествование об инонациональном ведется от лица героя, через призму восприятия которого и предстают нерусские: «чувашин», татары с их степными обычаями, люди «индийского бога» Талафы; однако повествовательный ракурс не мешает передаче нерусских реалий жизни. Инонациональное, в частности чувашское, предстает в своей национальной конкретике и самобытности: упоминается злое божество старой чувашской веры Киреметь, которому чувашаи приносили жертвенные дары, Николай Чудотворец («Николач бок»), который в качестве «русского Бога» особенно почитался крещеными народами Поволжья.

В цикле Н.Г. Гарина-Михайловского «В сутолоке провинциальной жизни» выделяются своей яркостью и этнографической насыщенностью этнические эпизоды, в которых также предстает чувашская мифология: языческие боги – «добрый Тура», злой Ирик и весенний праздник Уяв, при изображении которого дается описание национального костюма и хоровода. В христианском погребении

нии Зораиба писатель отмечает присутствие черт древней чувашской обрядности: «Пекли блины, закатывали в них сальные свечи и бросали собакам. Грызлись собаки, хорошо грызлись, и веселые были похороны. Пьяные напились чуваша, пели песни» [8. С. 374]. В религиозных верованиях чувашей четко обозначена мифологема: умершие посещают устраиваемые поминки и принимают в них непосредственное участие: на могилу отливало пиво, клались хлебные и мясные яства, которые съедались собаками. Хорошим знаком почитался у чувашей визг собак: это означало, что умершие явились на поминки и разделили с живыми трапезу.

В цикле Н.Д. Телешова «По Сибири», в повести «Сухая беда», одним из основных героев является инородец Максимка. Инонациональный обычай – чувашская «сухая беда» – становится сюжетной основой всего произведения. В повести Н.Д. Телешова, как и в рассказе В.И. Даля «Сухая беда», чувашская «тыпъ шар» связывается с глубинным проявлением бытия – с народными нравственно-этическими представлениями о справедливости и правде, о наказании обидчика. Герой осознает, что «Хаяр-Кереметь» (злое чувашское божество старой веры) не властна над русским Кургановым. Максимка решается на «сухую беду», «тыпъ-шар» – самоубийство, которое сделает Курганова несчастным на всю жизнь, заставит нравственно мучиться и приведет к смерти. Древнее чувашское «тыпъ-шар» для героя прежде всего победа над «проклятым куштаном» Кургановым, долгая и мучительная нравственная гибель врага. В повести дается яркая картина жизни чуваша Максимки: его жизнь на родной Волге, обряд развода с женой – разрыв «сурбана», игра на шыбыре – народном музыкальном инструменте. Создавая нерусского персонажа, писатель выделяет лексически его речь, в качестве кодификатора этнического дает чувашские слова – «йомзя», «куштан», «хозя», «шыбыр», «пюремечи», «сурбан», «Кереметь», теппулдор, тамок хуран; приводит чувашское название Млечного Пути – «Дорога Диких гусей». Нерусское передает «иные» этнокультурные константы русского мира.

Бинарная оппозиция «русский – нерусский» предстает в произведениях писателей в характерной репрезентации: инонациональное – «иное», «другое», но при этом не «чужое», часть русского мира. «Чувашские» эпизоды произведений Н.С. Лескова, Н.Г. Гарина-Михайловского, Н.Д. Телешова создают яркий образ поликультурного мира Волги.

В русской литературе XIX в. следует выделить оригинальное структурно-жанровое образование (разновидность путевого очерка), которое можно определить как «путешествие по Волге», описывающее Волгу и ее природу, города и многочисленные народности, населяющие великую реку с ее верховья до «Букеевской Орды»: сочинения М.И. Невзорова («Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.»), Ф.Д. Нефедова («Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее притокам»), А.Н. Островского («Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода»), А.А. Потехина («Путь по Волге в 1851 г.», «С Ветлуги»), С.В. Максимова («Куль хлеба и его похождения»), В. Сидорова («По России. Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до Каспия»), А. Лепешинской и Б. Добрынина («Волга»), Вас.Ив. Немировича-Данченко («Великая река. Картины из жизни и природы на Волге»), А.А. Коринфского («Волга. Сказания, картины и думы») и многих других.

В «путешествии по Волге» календарное время и хронологический принцип классического путешествия заменяется пространственно-географическим топосом – Волгой. Хронотоп Волги как дороги-пути становится структурообразующим фактором волжского травелога, характерным свойством которого является этнографизм. В «Путешествии в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.» М.И. Невзорова мусульманский контекст (пространное описание богослужения, тексты многочисленных молитв, эпиграфика, дающая экзистенциальные представления мусульманина о мироздании и человеке) создает яркий образ татарского мира Поволжья.

В многочисленных произведениях «путешествия по Волге» активно задействованы волжская мифология, русский и нерусский фольклор – песни, исторические легенды и предания. Вас.Ив. Немирович-Данченко в произведении «Великая река. Картины из жизни и природы на Волге» отмечает полиэтничность Поволжья, его культурно-национальное многообразие. Палуба парохода представляет собой интереснейшее зрелище, своеобразную «этнографическую выставку». Писатель дает антропологическую характеристику народностей, показывает своеобразие их национальной «физиономии»: славянские лица с «мясистыми» носами и скуластые, «монгольские» лица тюркских народов. Видятся писателем и ментальные черты: отмечается восточная сдержанность татар, которым трудно принять открытость, общительность, «громкость» русских женщин.

Писатель изображает поликультурное пространство, представляющее в сопряжении различных национальных культур, особо отмечает разнообразную этническую характерологию Нижнего Поволжья:

Какая смесь одежд и лиц <...> Калмычки в красных платьях, гелюнг в желтой рясе. <...> какой-то скуластый и громадный монгол <...> Начиная от Астрахани, вверх по Волге до Казани, затем по Волге до Соликамска <...> везде на пристанях, на лавках, на улицах встретишь татар <...> Между татарами и калмыками – солидные, медлительные хохлы, не изменившие на чужбине ни своему костюму, ни своему типу [9. С. 139].

В произведении представлен уникальный волжский синтез, в основе которого национальное многообразие и межэтническое взаимодействие как форма сосуществования национально-культурных миров. В путевом очерке Немировича-Данченко создается полиэтнический образ Волги как матери русского народа и нерусских российских этносов. В создании иносационального образа писатель активно использует русский и нерусский фольклор, легенды древней Волги – сказания о Сковорце и Дятле, Бориславе, двенадцати инородческих богатыршах, бабе-«ватамане», Стеньке Разине, Жигулях, Девичьих горах. Писатель использует структурный параллелизм поэтических источников – мордовский и русский варианты легенды о плененной княжне во времена Булгарского царства. Фольклоризм как поэтическая характерология «путешествия по Волге», усложняющая сюжетно-жанровую систему произведения, способствует проявлению в очерковом повествовании эпической основы.

Особый интерес в русской литературе и публицистике XIX в. представляют произведения, связанные с рецепцией немцев Поволжья. Немецкий мир Волги предстает в сочинениях А.В. Салтыкова («Записки путешественника в Сарепту»), В.В. Измайлова («Путешествие в полуденную Россию»), А.Ф. Воейкова («Письмо из Сарепты», «Сарепта тихая, селение Христа!», «Путешествие из Сарепты на развалины Шерри-Сарая, бывшей столицы Золотой Орды»), А.Ф. Леопольдова («Несколько слов о колонистах», «Исторический очерк Саратовского края», «Поездка в Низовое Поволжье»), Я. Сабурова («Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ»), Д.Л. Мордовцева («Сарепта»), И.С. Аксакова («Письма из провинции»), Н.С. Лескова (образ гернгутера в произведениях «Железная воля», «Островитяне», «Колыванский муж»), В. Сидорова («По Рос-

сии. Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до Каспия»), А. Лепешинской и Б. Добрынина («Волга»), Вас.Ив. Немировича-Данченко («Великая река: картина из жизни и природы на Волге»), А.А. Коринфского («Волга. Сказания, картины и думы») и многих других.

Дневники В.А. Жуковского, в которых он обращается к немецким реалиям Волги, также представляют несомненный интерес. Русские писатели создают яркий образ немецкого мира: культуры, национального уклада жизни, быта, акцентируя внимание на своеобразии самосознания немцев, ментальных черт народа. Немецкий мир Волги в изображении русских писателей – это пласт европейской германской культуры внутри огромного полиэтноконфессионального региона Поволжья. В контексте рецепции различных культурно-национальных констант – русской, татарской, калмыцкой – особенно ярко выделяется немецкая характерология.

В путевых заметках В.В. Измайлова «Путешествие в полуденную Россию» дается яркий запоминающийся образ Сарепты – процветающей немецкой колонии, основанной религиозной общиной братьев-гернгутеров в 1765 г. Философские поиски счастливого человека и идеального человеческого устройства писатель связывает именно с немецкой Сарептой, которая представляет собой «торжество человеческих обществ» и «семейство братии». В жизни сарептян В.В. Измайлов отмечает соединение естественности и культуры, привычки к физическому труду с духовно-нравственным началом – жизнью сердца [10].

В.А. Жуковский в стихотворении «К Воейкову» («Добро пожаловать, певец...») создает образ Сарепты как «братство христиан простое», которое чрезвычайно близко его мирозерцанию. «Религией сердца» именует поэт литургию гернгутеров, а страстно ожидаемое воскресение Спасителя – эмоционально-лирическое переживание стихотворения:

Они смиренно к небесам
Возводят взор с мольбой хвалебной
И служат сердцем божеству,
Отринув мрак предрассужденья...
Что уподобим торжеству,
Которым чудо искупленья
Они в восторге веры чтут?..
И в трепете благоговенья

Все братья той минуты ждут,
Когда им звон – благовеститель
Провозгласит: воскрес Спаситель! [11. С. 98].

Русские публицисты акцентировали внимание на религиозно-нравственной стороне жизни немецких гернгутеров. А. Лепешинская и Б. Добрынин выделяли духовную жизнь сообщества гернгутеров как особую специфику, которую усматривали в высокой миссии Евангелического братства, стремящегося осуществить «истинно благочестивую жизнь» в духе христианства [12. С. 256]. Изображение немцев Поволжья, и особенно Сарепты, в русской литературной мысли XIX в., как правило, дается в общественно-историческом и культурно-этнографическом контексте сопоставления, посредством чего и происходит этнокультурная самоидентификация.

В поэтическом цикле А.А. Коринфского «Волга. Сказания, картины и думы» возникает широкое этническое полотно Поволжья. В стихотворении «Немецкий рай» описываются процветающие немецкие поселения, давно появившиеся на российской земле, «фатерлянд»:

С Баронска до Сарепты
И там, и здесь, и тут
Столетние над Волгой
Колонии цветут.
Рейнштадт и Унтервальден,
И Гакельберг... [13. С. 129].

В цикле Коринфского в контексте обусловленного жизнью сопоставления возникает своеобразие волжских национально-культурных реалий: «соседство» национальных миров выделяет характерологию каждого, одно этническое своей спецификой и особостью оттеняет другое. Немецкое (европейское, «германское») на Волге сменяется степным калмыцким миром («азиатским»). Поэтическое соединение различных культурно-национальных констант создает яркий образ Волги, на необъятных просторах которой собран российский «Ноев ковчег». Немецкий текст русской литературы, существенно расширяя границы изображения российской действительности в ее культурно-историческом проявлении, передает этнокультурные константы национальной жизни немцев Поволжья и полихромный мир Волги как уникальное явление Российского государства.

Творческая рецепция инонационального – новая смысловая и поэтическая содержательность русской литературы и публицистики XIX в., передающая картину нерусского бытия Поволжья, множественность российских культур, характеризующих космос русской цивилизации.

Литература

1. *Чириков Е.Н.* Волжские сказки // Собр. соч.: в 17 т. М., 1916. Т. 16. С. 94–120.
2. *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
3. *Рахимкулов М.* Комментарии к «Башкирской русалке» // Башкирия в русской литературе: в 6 т. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1989. Т. 1. С. 462–463.
4. *Даль В. (Казак Луганский).* Полное собрание сочинений. СПб; М., 1897. Т. 7. 369 с.
5. *Кудряшев П.М.* Песнь башкирца после сражения // Вестник Европы. 1828. № 15. С. 198–201.
6. *Беляев Т.С.* Песнь Курайча Рифейских гор // Поэты 1790–1810-х годов / вступ. ст. и сост. Ю.М. Лотмана. Л., 1971. С. 497–503.
7. *Максимов С.В.* Край крещеного света: в 4 ч. СПб., 1873. Ч. 2. 82 с.
8. *Гарин-Михайловский Н.Г.* Собрание сочинений: в 5 т. М.: Гослитиздат, 1958. Т. 4. 722 с.
9. *Немирович-Данченко Вас.Ив.* Великая река. Картины из жизни и природы на Волге. СПб., 1902. 158 с.
10. *Сарбаш Л.Н.* Немецкий мир Волги: образ Сарепты в «Путешествии в полу-денную Россию» В.В. Измайлова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 6. Ч. 2. С. 25–27.
11. *Жуковский В.А.* Собрание сочинений: в 4 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 1. 480 с.
12. *Лепешинская А., Добрынин Б.* Волга. М., 1911. 294 с.
13. *Коринфский А.А.* Волга: сказания, картины и думы. М., 1903. 158 с.

THE FOREIGN IN RUSSIAN LITERATURE AND JOURNALISM OF THE 19TH CENTURY: PERCEPTION OF THE POLYETHNOCONFESSIONAL VOLGA REGION IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 142–157. DOI: 10.17223/24099554/8/8

Ludmila N. Sarbash, Chuvash State University (Cheboksary, Russian Federation).

E-mail: sarbash.lu@yandex.ru

Keywords: foreign, Russian literature of 19th century, creative perception, polyethno-confessional Volga region, ethnography, local cultures.

The article analyses the foreign in Russian literature and journalism of the 19th century, the reception of the polyethnoconfessional Volga region in the characteristic manifestations of ethnography. The representation of the non-Russian, the archetypes of the national consciousness, customs and rituals of the Volga peoples in the depiction of Russian writers is studied.

The imagology of the Russian space, “psychological ethnography” (N. Nadezhdin) is fully manifested in nineteenth-century Russian literature which participates in the “assimi-

lation” of the foreign soil of Russian reality. The specifics of the way of life, the ritual aspect of life, the religious mythological belief, the poetic creativity of the non-Russian peoples of the Volga region – the Chuvash, the Mordvins, the Votyaks (Udmurts), the Chereemis (Mari), the Tatars, the Bashkirs, the Little Russians (“Zaporozhye people beyond the Volga”), the Germans, the Kalmyks – appears in the work of Russian writers in numerous notes, in literary and ethnographic articles, in the ideological and artistic system of works by V.V. Izmaylov, A.F. Voeikov, M.I. Nevzorov, D.V. Davydova, F.N. Glinka, A.F. Raevsky, T.S. Belyaeva, P.M. Kudryashev, I.I. Zheleznov, I.V. Selivanov, N.Ya. Aristov, A.F. Leopoldov, A.S. Pushkin, A.I. Herzen, I.I. Lazhechnikov, S.T. Aksakov, I.S. Aksakov, V.I. Dahl, M.V. Avdeev, A.K. Tolstoy, P.I. Melnikov-Pechersky, A.A. Potekhin, A.N. Ostrovsky, S.V. Maksimov, A.F. Pisemsky, F.D. Nefedov, N.S. Leskov, M.E. Saltykov-Shchedrin, G.I. Uspensky, K.K. Sluchevsky, N.D. Teleshov, L.N. Tolstoy, D.N. Mamin-Sibiryak, N.G. Garin-Mikhailovsky, V.G. Korolenko, V.I. Nemirovich-Danchenko, A.A. Korinsky, A.P. Valuev and many others.

The representation of the foreign in the Russian literary process of the nineteenth century appears in several directions: non-Russian as a religious mythological ethnography – rituals and customs, religious mythological beliefs; non-Russian in the typical characterology of time as social ethnography; non-Russian as a comprehension of the spiritual and moral experience and the value world of other nations. An alien picture of life is presented by Russian writers through archetypes of national consciousness, Russian and non-Russian folklore: legends, historical and toponymic legends, ritual songs show the ethno-cultural characteristics, spiritual and moral ideals of numerous peoples of the Volga region.

References

1. Chirikov, E.N. (1916) *Sobranie sochineniy: v 17 t.* [Works: in 17 vols]. Vol. 16. Moscow: Moskovskoe knigoizdatel'stvo. pp. 94–120.
2. Bakhtin, M.M. (1986) *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow: Iskustvo.
3. Rakhimkulov, M. (1989) Kommentarii k “Bashkirskey rusalki” [Commentaries on “The Bashkir Mermaid”]. In: Rakhimkulov, M. (ed.) *Bashkiriya v russkoy literature: v 6 t.* [Bashkiria in Russian literature: in 6 vols]. Vol. 1. Ufa: Bashk. kn. izd-vo.
4. Dahl, V. (Kazak Luganskiy). (1897) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 7. St. Petersburg; Moscow: Izd. t-va M.O. Vol'f.
5. Kudryashev, P.M. (1828) Pesn' bashkirtsa posle srazheniya [Song of a Bashkir after the battle]. *Vestnik Evropy*. 15. pp. 198–201.
6. Belyaev, T.S. (1971) Pesn' Kuraycha Rifeyskikh gor [Song of the Quraysa of the Riphean mountains]. In: Lotman, Yu.M. (ed.) *Poety 1790–1810-kh godov* [Poets of the 1790s–1810s]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
7. Maksimov, S.V. (1873) *Kray kreshchenogo sveta: v 4 ch.* [The region of baptized world: in 4 parts]. Pt. 2. St. Petersburg: Izd. t-va “Obshchestvennaya pol'za.
8. Garin-Mikhailovskiy, N.G. (1958) *Sobranie sochineniy: v 5 t.* [Works: in 5 vols]. Vol. 4. Moscow: Gos. izd-vo khudo-zhestv. lit.
9. Nemirovich-Danchenko, V.I. (1902) *Velikaya reka. Kartiny iz zhizni i prirody na Volge* [A great river. Pictures from life and nature on the Volga]. St. Petersburg: Izd. P.P. Soykina.

10. Sarbash, L.N. (2016) German world of the Volga: image of Sarepta in “A Journey to the Midday Russia” by V. Izmailov. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 6:2. pp. 25–27. (In Russian).
11. Zhukovsky, V.A. (1959) *Sobranie sochineniy: v 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 1. Moscow: Goslitizdat.
12. Lepeshinskaya, A. & Dobrynin, B. (1911) *Volga* [The Volga]. Moscow: Tip. t-va I.D. Sytina.
13. Korinfskiy, A.A. (1903) *Volga: skazaniya, kartiny i dumy* [The Volga: legends, pictures and thoughts]. Moscow: M.V. Klyukin.

Сузи Франк

СОЛОВЕЦКИЙ ТЕКСТ. Часть 2¹

Статья представляет собой попытку описания «соловецкого текста» русской литературы. Ее вторая часть посвящена современной разновидности «соловецкого текста», которую можно назвать опытом национально-исторической типизации. Анализируются «Поездка на острова» Юрия Нагибина (1986), «Соловецкие парадоксы» Юрия Бродского (1998), «Обитель» Захара Прилепина (2014) и «Авиатор» Евгения Водолазкина (2016). Делается вывод о моделирующей семантике Соловков, предстающих символом травматической исторической памяти. Варианты примирения и принятия национального прошлого определяют современную динамику «соловецкого текста».

Ключевые слова: Соловки, Соловецкий монастырь, Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), «соловецкий текст», символическая континуальность, эволюция локального текста, Ю. Нагин, «Поездка на острова», Ю. Бродский, «Соловецкие парадоксы», З. Прилепин, «Обитель», Е. Водолазкин, «Авиатор».

III. Вслед Солженицыну

«Архипелаг ГУЛаг» А.И. Солженицына является исходным интертекстуальным пунктом для возникающей позже, в позднесоветскую и постсоветскую эпоху, последней разновидности «Соловецкого текста», которую можно назвать **опытом национально-исторической типизации**. Это определение подразумевает взгляд на историю Соловков как на этапы формирования самоидентичного топоса, обладающего огромным символическим потенциалом в отношении ко всей России.

Четыре текста, на которых я хочу остановиться подробнее, «Поездка на острова» Юрия Нагибина (1986), «Соловецкие парадоксы» Юрия Бродского (1998), «Обитель» Захара Прилепина (2014) и «Авиатор» Евгения Водолазкина (2016) особенно очевидно наследуют концепцию Солженицына в одном пункте, а именно, в антро-

¹ Первая часть статьи опубликована в предыдущем номере журнала. – *Примеч. ред.*

пологизации кода описания: первым следствием этого становится мощная тенденция к обобщению, которая, однако, у каждого из трех следующих за Солженицыным авторов отмечаем один и тот же национально-исторический поворот.

Прежде всего для наследников Солженицына оказывается важным тот антропологический уровень, на который он возводит историю Соловков. Юрий Нагибин, Юрий Бродский, Захар Прилепин и до некоторой степени Евгений Водолазкин исходят из поэтики Солженицына и – каждый по-своему – придерживаются антропологического кода описания. Однако они отклоняются от дескрипции Солженицына, фокусируя свое внимание не на общей истории системы ГУЛаг, а специально на истории Соловков, исходя при этом из стремления показать непрерывность этой истории, повторяющийся возврат к одной и той же ситуации-конstellляции и, таким образом, тождественный самому себе характер этого топоса. При этом они подчеркивают национальную значимость Соловков: для них Соловки – это не только источник, отправной пункт и синекдоха раскинувшейся на всю страну сети ГУЛаг, но и символический топос, важный для истории всей страны, являющийся, однако, одним из пунктов на карте тех топосов, которые национальное сознание наполняет определенным символическим смыслом. Я полагаю, что именно эти наследники Солженицына создали мифопоэтику Соловков, сконструировав историческую константность самоидентичного *genius loci* и сотворили «соловецкий текст», сопоставимый по признаку структурированности и национальной принадлежности с «петербургским текстом» Топорова и Лотмана и «сибирским текстом» Лотмана и Тюпы.

Нагибин

Посещение Соловков, предпринятое во время журналистского турне по Русскому Северу, вдохновило советского писателя Юрия Нагибина на многие рассказы. Непосредственно Соловкам посвящены два его текста: «Куличок-игумен» [1] и «Поездка на острова. Повесть» [2]. Некоторые другие рассказы опосредованно и фикцио-

нально-имплицитно связаны с соловецкими впечатлениями писателя, как, например, «Терпение» или рассказ «Встань и иди»¹.

«Куличок-игумен» (1985) – это чисто исторический рассказ на сюжет из эпохи Ивана Грозного, главным героем которого является игумен Филипп. Год спустя после написания рассказа Нагибин вставил его в очерк «Поездка на острова», гибридное по своей жанровой специфике произведение, соединяющее в себе признаки травелога и исторического, описывающего современность XX в. в сопоставлении с веком XVI нарратива, в котором возникают реминисценции недавней современности – Архипелаг и СЛОН. Центральным сюжетно-композиционным элементом этого текста стал внедренный в него в качестве текста в тексте рассказ «Куличок-игумен», посвященный Филиппу и Ивану Грозному. В рамочном повествовании, ведущемся от имени повествователя-посредника Егошина, современность осмыслена как отблеск прошедших времен. Их семантические и прежде всего этические оппозиции проявляются в настоящем в своем измельчавшем облике:

– Ты мне, сука, за все заплатишь. Вся вонь от таких, как ты. Вечно ты мне поперек лезешь, всю жизнь. Интеллигент паршивый!..

«Знакомая мелодия, – подумал Егошин. – Но неужели это правда?.. Значит, я все-таки не зря коптил небо, если мешал таким, как этот?.. *Ах, как измельчал, как измельчал ты в новом образе, Колычев!*.. Да и враг твой – мелочь... Но это ничего... ничего... Я еще буду... когда-нибудь опять. И тогда прикончу Железную старуху зла...» [З. С. 248]².

Последовательность исторических эпох в этой перспективе выступает как повтор и вариация одних и тех же констелляций. И точно такой же константой, обеспечивающей возможность этих повторов, предстает позиция человека, отвергающего историческую память и руководствующегося предвзятым мнением о современности:

¹ Рассказ «Встань и иди» [З. С. 19–131] – вымышленная история семьи, воспоминания сына о ссыльном отце, постоянно перемещаемого из одного лагеря в другой; при этом Соловки не являются местом действия и в перечне лагерей никак не упомянуты.

² Аллюзия на рассказ А. Платонова «Железная старуха» (1951), в форме трогательно-наивной детской фантастики поднимающий вечные вопросы бытия – самосознание, сущность добра и зла и пр. Герой рассказа – одержимый жаждой знания маленький мальчик Егор, вступающий в борьбу с «железной старухой», в существовании которой он сомневается и смертельно угрозу которой хотел бы уничтожить.

– Культ личности! – сочувственно вздохнул сержант Мозгунов.

– Да! – подхватил Борский. – Но мы его преодолели и вычеркнули из памяти. По этому принципу русскую историю можно очистить от татарского ига, Ивана Грозного, Смутного времени, почти всех Романовых, а также от эпохи волонтаризма и оставить лишь безупречное настоящее.

– Нет, товарищ Борский, – возразил думающий русский человек, милиционер Мозгунов. – О настоящем нам после скажут... [3. С. 247].

Поэтому неудивительна сухая справка экскурсовода, сообщающего, что о временах СЛОН не сохранилось никакой информации:

А женского монастыря тут не было? – ни к селу ни к городу, двусмысленным, сулящим юмор голосом спросил рыжий озорник.

– Нет! – резко сказал гид. – Здесь все было только для мужчин: монастырь, тюремные камеры. Позднее – воспитательная колония, затем СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения.

Жестокая справка охладила остроумца, он стушевался.

– Хотелось бы услышать подробнее о СЛОНе, – сказал Борский.

– Никаких архивных документов об этом периоде не осталось, – сухо ответил гид.

– Вот те раз! Десять лет существовал лагерь, ликвидирован перед самой войной – и *никаких следов. Это же не времена игумена Филиппа или Потемкина-Таврического.*

– *Никаких следов*, – повторил гид [Там же. С. 236–237].

Нагибин предлагает эксплицитную параллель между активными созидательно-творческими временами Филиппа и столь же активной творчески-созидательной позицией сосланных на Соловки советских интеллигентов:

– После революции сюда присылали на перевоспитание тех представителей ленинградской интеллигенции, преимущественно научно-технической, что саботировали мероприятия Советской власти. Они очень много сделали для острова. Можно сказать, продолжили созидательную работу игумена Филиппа.

– Что-то это напоминает... – задумчиво сказал Борский. – Да ладно... Все же непонятно, как при такой осведомленности о глухих временах Ивана Грозного ничего не известно о недавнем прошлом [Там же. С. 237].

Далее рамки предложенной интерпретации выходят за пределы истории на уровень обобщения, а сама интерпретация выдвигается в плоскость универсальной гуманистической этики:

– Да здравствует воинствующий гуманизм! – с каким-то бедным весельем произнес экскурсовод. – Ну, мне пора сесть дальше разумное, доброе, вечное.

Они пожали друг другу руки и разошлись.

– Насладились боевой славой? – спросил Борский.

– Какая там слава! Если б не вы, он бы меня уколошил. Но вообще я рад, что это было.

– А я – нет! Зачем лезть не в свое дело?

– Мне показалось, что впервые в жизни я полез в свое дело. Ужасно жалею, что никогда никуда не лез... Кстати, вы непоследовательны. Вспомните наш разговор в аэропорту.

– Что тут общего? Там было нарушение закона. А этот – уголовной юрисдикции не подлежит.

– Вот почему вы остались в стороне?

– Если хотите – да. И повод был ничтожный.

– Моя бабушка говорила: нет зла большого и зла малого. Зло – оно всегда зло. И неужели утаенные киоскершей газеты важнее осквернения памятника?

– Тогда будьте последовательны. Рыжий кочевряжился на саркофаге, другие на него мочатся или валят девочек... Наймитесь сюда сторожем вместо той старухи с распухшими ногами.

Почему он злится? Потому что недоволен собой?.. Тогда это хорошее в нем. А может, последовать его совету? Выйти на пенсию и поступить сюда сторожем?..

– Возможно, я так и сделаю, – серьезно сказал Егошин.

– Старое дитя!.. Не связывайтесь вы с этим охлагоном. Поверьте моему опыту: это не просто фальшак, дешевка, он опасен.

– Вы считаете, тут пахнет убийством? – с нарочито серьезным видом спросил Егошин.

– Надеюсь, что нет! – Странная, медленная, нежная улыбка всплыла из глубины существа Борского и завладела лицом, наделив его непривычной мягкостью. – А вы никогда не задумывались, как легко убить человека?

– В практическом или этическом плане? – Егошина поразило дикое несоответствие слов Борского его улыбке. Может, улыбка относилась не к самому вопросу, а к тому доверию, какое тот впервые кому-то оказывал.

– Практический аспект не интересен: так или иначе способ всегда находят. Если же возникает этическое сомнение, то это невероятно трудно. Но вся соль в том, что этический момент почти никогда не возникает. У Раскольникова он возник, поэтому самые умные исследователи считают, что он вовсе не убивал ни старуху процентщицу, ни жалкую Лизавету. Убивали и убивают – много и охотно – те, перед кем такой вопрос не возникает. Из всех так называемых извечных запретов людям легче всего переступить именно этот. Гарантируйте безнаказанность – человечество исчезнет с лица земли в гомерически короткий срок. Убийство станет почти единственным способом общения между людьми, даже самыми близкими. Между близкими – в первую очередь.

– Если вы хотели меня запугать, – Егошин улыбался несколько натянуто, – то, кажется, достигли цели [З. С. 243–244].

Разделяя в рассказе «Куличок-игумен» солженицынский пессимизм в отношении нравственной природы человека, Нагибин в «Поездке на острова» несколько смягчает финал рассказа, который становится не таким безнадежным:

Ты мне, сука, за все заплатишь. Вся вонь от таких, как ты. Вечно ты мне поперек лезешь, всю жизнь. Интеллигент паршивый!..

«Знакомая мелодия, – подумал Егошин. – Но неужели это правда?.. Значит, я все-таки не зря коптил небо, если мешал таким, как этот?.. Ах, как измелъчал, как измелъчал ты в новом обрзе, Колычев!.. Да и враг твой – мелочь... Но это ничего... ничего... Я еще буду... когда-нибудь опять. И тогда прикончу *Железную старуху зла...*»

– Ладно, – сказал он ясным и звучным голосом. – Брось болтать пустое, Малюта, делай, зачем пришел!..

И рыжий верзила, что стоял напротив него, будто что-то вспомнил. Нет, то были не воспоминания, а догадка, что ему подсказывают его истинную суть. Он смешно, наивно наклонил к плечу голову, силясь постигнуть конечный смысл услышанных слов или разгадать отзвук, который они породили в нем.

И какое-то доверчивое выражение появилось на его грубом лице, он верил, что сейчас все объяснится до конца. Но Егошин молчал, глядя выжидающе ему в лицо. Рыжий потупился, потом вскинул голову, быстро шагнул к маленькому человеку, стоящему над черной водой, и протянул вперед руки... [Там же. С. 248–249].

Бродский

В годы перестройки положение вещей радикально изменилось. Попытки осмыслить ГУЛаговское прошлое перестали подавляться. Воспоминания и свидетельства очевидцев начали издаваться, по крайней мере, в отрывках (по большей части такие публикации появлялись в журнале «Огонек») – как, например, мемуары Д.С. Лихачева (отдельное издание: [4]) или появившиеся в 1988 г. воспоминания писательницы Веры Пановой о ее последней встрече с мужем, Борисом Вахтиным, в пересылочном пункте Кемь. В 1988 г. на студии Мосфильм режиссером Мариной Голдовской был снят фильм «Власть соловецкая», который впервые донес до широкой публики свидетельства переживших репрессии соловецких узников – в том числе Д.С. Лихачева.

В эти годы в Соловках сформировалась группа молодых историков, и результаты предпринятой ими непосредственно на месте исследовательской деятельности дали много авторитетных материалов для изучения истории СЛОН, для музейной документации и политических мероприятий по увековечению памяти соловецких узников (памятники). Первыми важными – и по сей день, вероятно, важнейшими – шагами на этом пути стали организация выставки, посвященной истории СЛОН и истории Соловецкого монастыря, а также отчасти осуществленная идея установки памятников в виде каменных блоков всем жертвам СЛОН и ГУЛага в разных городах России (Соловецкие камни, 1989–1990).

Одним из этих молодых исследователей был Юрий Бродский, приехавший в рамках журналистского расследования на Соловки в качестве фотографа, оставшийся на островах и в 1990-х гг. создавший базу источников истории СЛОН, которая стала важной вехой для дальнейших исторических исследований: «Соловки. Двадцать лет особого назначения»¹. Этот том содержит репрезентативное собрание свидетельств очевидцев-узников СЛОН, выживших в лагере или умерших в нем: материал тома рубрицирован по профессиональному и возрастному критериям. Несмотря на то, что сам Бродский не историк, ему удалось определить дальнейшие пути символической концептуализации Соловков в предпосланном его тому программном эссе «Соловецкие парадоксы»².

¹ Первопубликация на итальянском языке в Милане (1988).

² Это эссе многократно выходило отдельным изданием и переведено на многие языки. На русском языке перепечатано в 2002 г. в программном издании: первом томе историко-литературного альманаха «Соловецкое море» [5].

В этом эссе Бродский, хоть и неявным образом, следует за Солженицыным и Нагибиным. Он тоже пытается осмыслить Соловки как своего рода общечеловеческий символ, причем делает это, подобно Нагибину, в сравнительно-исторической ретроспективе. При ее помощи Бродский показывает историческую континуальность, берущую свое начало в Средних веках и актуальную до сего дня: амбивалентность символических коннотаций топоса, вибрацию его смыслов между полюсами многочтимого святого места, уединенной обители духовности и веры, с одной стороны, и топоса насильственного отторжения от социума, топоса, в котором власть центра самоутверждается самым жестоким способом, – с другой.

Именно здесь Бродский находит характерный семантический парадокс Соловков, который на протяжении столетий неизменно проявляется в разнообразных конкретно-исторических деталях. Видя в нем символ «всемирной картины борьбы зла с добром», Бродский возводит семантику соловецкого топоса до степени общечеловеческой. Тем не менее именно из этого парадокса, который столетиями подтверждает свою актуальность повторяющимися фазами своей истории – стремлением к неповиновению или мученичеством тысяч и тысяч жертв, Бродский выводит принципиальную возможность выхода из порочного круга и реинтерпретации семантики Соловков. Это утверждение Бродский мотивирует указанием на то, что даже крест как символ может подвергаться перекодировке: перед тем как крест стал христианским символом спасения, он – в контексте Римской империи – был символом торжествующего насилия репрессий. Тем самым Бродский до некоторой степени делает Соловки символом второго порядка, символическим топосом, способным творить символы, и его значение не ограничивается только структурно-механистическим потенциалом процесса символотворения (процесса, который с точки зрения культурной семиотики или теории обряда присущ любому лиминальному топосу): соловецкий топос обладает однозначной и мощной этической импликацией: даже там, где зло вновь и вновь доминирует над добром, добро может победить.

Прилепин

В эпоху Путина Соловки переживают церковный ренессанс. Возрастает поток туристов и паломников. Создаются группы экспертов, разрабатывающих туристические концепции и прилагающие

усилия к их преобразованию (прежде всего, стоит вопрос о том, передать ли Соловки в полное подчинение церкви или нет); свидетельство этому в недалеком прошлом – фильм «Остров» Павла Лунгина (2008). В 2014 г. новый и до сих пор самый значительный из романов Захара Прилепина «Обитель» был удостоен первой премии национального конкурса «Большая книга», а в 2016 г. появился роман Евгения Водолазкина «Авиатор», в котором жанр исторического романа обогащен элементами научной фантастики.

Уже само заглавие романа Прилепина соответствует вышеупомянутой риторической фигуре метонимического обобщения *pars pro toto*: «Обитель» – это рематическое обозначение монастыря, встречающееся уже в исторических документах и, по свидетельствам документальных источников XIX в., употребительное в обиходной речи обитателей Соловков. Однако в романе Прилепина речь идет не о монастыре, а об эпохе СЛОН: в жанре актуального в последнее время исторического романа Прилепин переносит это типичное обозначение монастыря на ГУЛАг, тем самым уподобляя их друг другу, и вслед за Нагибиным и Бродским утверждает ту же самую историческую константность местной семантики.

В изображаемом Прилепиным мире советский лагерь и церковь пока еще не находятся в оппозиции, но и не окончательно совмещаются. С точки зрения протагониста из числа лагерной администрации, почти парадоксом – и в этом Прилепин эксплицитно соотносится с концепцией Бродского – выглядит то, что духовные лица и белогвардейцы занимают высокое положение в лагере, а архиереи охраняют собственность большевиков¹.

С точки зрения разных персонажей разные эпохи сравниваются между собой и каждый раз – по признаку сходства. Так, например, происходит в эпизоде, в котором начальник лагеря Эйхманис указывает на то, что монастырь всегда был в высшей степени обороноспособной и до зубов вооруженной крепостью. Или когда он же замеча-

¹ Ср.: «Василий Петрович наверняка завел тему о парадоксах Соловков – не кажется ли вам забавным, что в стране победившего большевизма в первом же организованном государством концлагере половину административных должностей занимают главные враги коммунистов – белогвардейские офицеры? А епископы и архиепископы, сплошь и рядом подозреваемые в антисоветской деятельности, сторожат большевистское и лагерное имущество!» [6. С. 57]. Известную парадоксальность или, во всяком случае, резкую гетерогенность Соловков увидел уже Нагибин: в его текстах она находит свое имплицитное выражение в наблюдениях над составом соловецких узников, среди которых были и злодеи, и в высшей степени достойные люди, впрочем и те и другие – высокого ранга [3. С. 236].

ет, что в системе СЛОН под арест заключено гораздо меньше духовных лиц, чем белогвардейцев или даже членов самого ОГПУ, и что именно клирикам живется относительно лучше (именно эту цель преследует и вымышленное действие романа):

– Рассказывают, что мы убили русское священство, – тихо продолжил он. – Как бы не так. В России сорок тысяч церквей, и в каждой батюшка, и над каждой батюшкой свое начальство. А в Соловках их сейчас одна рота длиннополых – 119 человек! И то самых настырных и зловредных. Где же остальные? А все там же. Проповедуют о царстве Антихриста. Нет, Феофан? – вдруг крикнул Эйхманис и еще громче скомандовал: – Заткнись!..

– Да ладно бы только проповедовали! – кривя улыбку, продолжил Эйхманис, голос его стал жестяной и бешеный. – Никто ж не рассказывает, что было обнаружено в Соловецком монастыре, когда мы сюда добрались в 1923-м. А было обнаружено вот что. Восемь трехдюймовых орудий. Два пулемета. 637 винтовок и берданок с о-о-огромным запасом патронов. Феофан! – снова, неожиданно и яростно, рыкнул Эйхманис. – На кого хотели охотиться? На тюленей? Из пушек? А? Заткнись!

– Мы понимаем, что это такое? – спросил Эйхманис, точно уже спрашивая не сидевших здесь, а кого-то, находящихся за их спинами. – Непрístupная крепость, которую англичане взять не смогли, а царь Алексей Тишайший десять лет осаждал. И она полна оружием, как пиратский фрегат. Монахи здесь, между прочим, издавна были спецы не только по молитвам, но и по стрельбе. И что вы приказали бы предпринять советской власти? Оставить здесь монастырь? Это... прекрасно!.. Прекрасное добросердечие. Но, думаю, вполне достаточно, что мы их всех не расстреляли немедленно, и даже оставили тут жить... Пушки, правда, отобрали... Но если Феофан напишет бумагу, что ему требуется пушка, – я рассмотрю... [б. С. 277–278].

И даже сам служитель культа, игумен Иоанн, которого все любовно величают «владычка», не делает различия между монастырем и советской властью:

– Но надо помнить, милые, – говоря это, чуть прихрамывающий владычка Иоанн посмотрел на Артема, пошедшего справа, и тут же на мгновение обратил взор к идущему слева Василию Петровичу, – адовы силы и советская власть – не всегда одно и то же. Мы боремся не против людей, а против зла нематериального и духов его. В жизни при власти Советов не может быть зла – если не

требуется отказа от веры. Ты обязан защищать святую Русь – оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит под нами и греется нашей слабой заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а все иное – земная суета. Вы можете пойти в колхоз или в коммуны – что ж в том дурного? – главное, не порочьте Христова имени. Есть начальник лагеря, есть начальник страны, а есть начальник жизни – и у каждого своя работа и своя нелегкая задача [6. С. 44–45].

Распознаваемость исторической непрерывности даже в ее вариациях подчеркнута тем, что Прилепин противопоставляет великим историческим персонажам (игумену Филиппу, например) их ничтожных современных двойников и тем самым обозначает историческую деградацию топоса. На материале разных исторических эпох Прилепин сопоставляет многих одноименных персонажей. Так распадается на разные персонификации антропоним «Филипп», вовлекаясь таким образом в игровое поле парадокса. Сначала Филипп репрезентирован как бесспорный святой, как пример недостижимого величия:

И святой Филипп жил в безбрачии. И оглядываюсь я порой и думаю, может, и остались вокруг только дети Путши и Скуратовы дети, дети Еловца и Кобылины дети? И бродят по Руси одни дети убийц святых мучеников, а новые мученики – сами дети убийц, потому что иных и нет уже?

Владычка вдруг заплакал, негромко, беспомощно, по-стариковски, стыдясь себя самого – никто не мог решиться успокоить его, только ходившие по церкви встали, и разговаривавшие на своих нарах – стихли [Там же. С. 513].

Рядом с историческим игуменом Филиппом возникает современный «Филиппок»: преступник, которого зовут «юродивым» [Там же. С. 73] из-за его инфантильно-наивной, почти идиотической и одновременно разоблачающей манеры поведения:

Звали его Филиппом – Афанасьев узнал. Убил Филиппок свою матушку и по той причине оказался в Соловецкой обители [Там же. С. 86].

Интертекстуальным претекстом для юродской вариации образа Филиппа мог бы послужить рассказ Нагибина «Куличок-игумен», где Иван IV, желающий призвать Филиппа в метрополию несмотря на его «юродство», под которым подразумевается сдержанная реак-

ция игумена на лестное предложение, критикует игумена следующим образом:

– Очнись, Филипп! Не юродствуй. Ты ныне не Соловецкой земле, а всей Руси служить будешь. Не унижайся, игумен. Бери, что дают, и стань наравне со славнейшими. Не зли меня, Филипп. Не доводи до худого [3. С. 206].

Далее с этим современным ничтожным Филиппом оказывается сопоставим игумен Иоанн, которого любовно величают диминутивом «владычка»:

Продолжалось то меньше трети минуты. Владычка вздохнул и вытер глаза рукавом. – Но и этих надо любить, – сказал он и осмотрел всех, кто был вокруг. – Сил бы [6. С. 513].

И в-третьих, первый и самый долголетний начальник СЛОН, латыш Эйхманис, постоянно сопоставляется с Филиппом и даже приравнивается к нему¹.

В приложенном к роману вымышленном дневнике его тайной возлюбленной Федор Иванович Эйхманис часто обозначен просто инициалом Ф. В этой редукции антропонима до инициала, на поверхности нарратива вызванной только необходимостью соблюдать тайну связи, легко усматривается возможность ассоциации с Филиппом, подтвержденная и в характеристике Эйхманиса: несмотря на то, что он в качестве начальника лагеря охарактеризован как человек в высшей степени неоднозначный, акцент на его заслуживающих уважения многочисленных инновационных и способствующих прогрессу мероприятиях тоже намекает на возможность соотнесения его фигуры с фигурой архитектора инноваций и автора многих учреждений игумена Филиппа, который сделал из затерянного в глуши сонного средневекового монастыря своего рода форпост хозяйственного, культурного и духовного прогресса Нового времени. В авторских примечаниях к роману находим следующую запись:

13 марта 1925 г. организуется Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения (СОАОК): приказ по Управлению Соловецким лагерем особого назначения. Председатель краеведов, как ни удивительно, Федор Эйхманис.

¹ Напротив, у Нагибина с инновационными мероприятиями Филиппа сравнивается деятельность соловецких узников [3. С. 237], ср.: «Там со времен игумена Филиппа, подалее от монастыря, разводили скотину. Эйхманис традиции не стал нарушать: издали был слышен бычий рев, виднелись огромные скотные дворы, пахло» [6. С. 257].

12 мая 1925 г. очередным приказом УСЛОНа северо-восточная часть Большого Соловецкого острова объявлена заповедником. На территории заповедника запрещалась вырубка леса, охота, сбор яиц и пуха. Позже по инициативе Эйхманиса был заложен питомник лиственниц и других хвойных, которые были рассажены по всему острову.

(Послушное воображение рисует молодого мужчину – вот у него саженец в руках, вот он держит в ладонях нежнейшего птенца лимонного цвета.)

Соловецкие краеведы (по совместительству – заключенные) и бывший организатор спецпокушений во главе краеведов – с успехом занимаются акклиматизацией ондатры и вопросами рационализации лесопользования.

Эйхманис и его спецы изучают острова архипелага, скиты на Анзере, неолитические лабиринты на Большом Заяцком острове, Фаворскую часовню на острове Большая Муксалма, разыскивают и описывают землянки отшельников.

Весомая цифра: 138 научных учреждений СССР переписываются с краоведами Эйхманиса.

Летом 1926 г. к Эйхманису приезжают столичные гости – профессор Шмидт (АН СССР), профессор Руднев (Центральное бюро краеведения), профессор Бенкен (ЛГУ). Профессора, мягко говоря, удивлены результатами работы и настаивают на преобразовании СОАОКа в самостоятельное Соловецкое общество краеведения (СОК).

СОК организован в ноябре 1926 г.

В декабре публикуется первый сборник научных материалов СОКа. В последующие годы их будет опубликовано еще двадцать пять. Ценность многих монографий поныне несомненна.

Далее: еще одна забава латышского стрелка – музей, под который выделили Благовещенскую церковь и утепленное прясло крепостной стены возле Белой башни.

После случившего в монастыре пожара (вопреки легенде большевики не имели к нему никакого отношения: зачем им жечь собственный лагерь) в музей идет 1500 единиц хранения монастырского архива, 1126 старых книг и рукописей, две с половиной тысячи икон, деревянная и оловянная посуда основателей монастыря, келейный белокаменный крест преподобного Савватия, чудотворная Сосновская икона Корсунской Божией Матери в серебропозлащенной ризе ручной художественной работы, образ Спаса Нерукотворного, написанный преподобным Елеазаром Анзерским, художест-

венная парча, коллекция отреставрированных древних бердышей, копий, стрел, пушек, пищалей. Всего 12 тысяч экспонатов.

Ну и заодно: программки лагерных театров, лагерные газеты и журналы, фотографии бодрого быта лагерников, их литературные сочинения и прочие рукотворные изделия эзка. А что, тоже история.

Одновременно по приказу Эйхманиса открыт еще один музей в части Спасо-Преображенского собора. В алтаре – экспозиция по иконописи <...> [6. С. 733–734].

Далее в вымышленном дневнике возлюбленной начлага Галины записано, что Эйхманис организовал перезахоронение мощей основателей монастыря (их эксгумация осуществлялась тоже по его инициативе) и позаботился о том, чтобы был сокращен срок заключения Нафталия Френкеля, будущего генерал-лейтенанта НКВД.

Все это делает прилепинский образ Эйхманиса мерцающим и даже более позитивным, нежели негативным – это фигура, которой свойственны все ужасные черты прототипов – деятелей ГУЛага, но которая может вызвать и положительные эмоции своими действиями по устройству и развитию многочисленных местных исследовательских учреждений, собиранию архивов и сохранению в музеях духовного наследия богатой истории Соловков¹.

Очевидно, что в характеристике Эйхманиса вопрос о его национальной принадлежности играет важную роль. Между этической и нравственной амбивалентностью Эйхманиса и неопределенностью его национальной принадлежности устанавливается причинно-следственная связь. Его возлюбленная, Галина, по этому поводу замечает в своем дневнике:

Он сказал как-то: «У латышей нет своего характера – характер им заменяет исполнительность и точность. Они подумали, что вся Россия станет их страной, – у них же не было страны, только немецкие господа. Но Россия опять извернулась и становится сама собой. Она как соловецкий валун: внутрь ее не попасть. Латыши остались ни при чем, и поздно это поняли».

¹ Д.С. Лихачев тоже отмечает, что Эйхманису, несмотря на его жестокость, нельзя отказать в признании его заслуг по сохранению культурных ценностей Соловков и организации исследовательских учреждений: «Во главе Соловецкого общества краеведения в середине 20-х гг. стоял эстонец Эйхманс (его фамилию в воспоминаниях бывших соловчан часто пишут «Эйхман» – это неправильно). Человек относительно интеллигентный. Получилось так, что из заведующего Музеем он стал начальником лагеря и при этом чрезвычайно жестоким. Но к Музею он питал уважение, и Музей даже после его отъезда вплоть до трагического лета 1932 г. сохранял особое положение» [4. С. 201].

(Я когда видела валун на кладбище, вспомнила про тот валун, о котором он говорил, и так сложилось у меня в сознании, что это один и тот же валун.)

Ф. закончил так: «Дело большевиков – не дать России вернуться в саму себя. Надо выбить колуном ее нутро и наполнить другими внутренностями».

У Ф., конечно, нет никакой национальности [6. С. 722].

Не ответственны ли за амбивалентность топоса люди, не принадлежащие к русской нации?

Несомненно, что для Прилепина борьба добра со злом, и в его тексте сражающихся на Соловках, – это чисто русская борьба. Уже из процитированных выше слов игумена Иоанна явствует, что продекларированная в них историческая континуальность, неизменная самоидентичность Соловков принадлежит Руси-России: хотя она и описана как почти совершенно омраченная «тенью», она все же заслуживает сохранения, и особенно на фоне многочисленных других, не-русских внешних сил и непрошенных гостей, от которых она изображена защищающейся.

В другом эпизоде Прилепин эксплицитно описывает Соловки как синекдоху России, которая отражается в островах как в фокусе линзы:

Соловки – это отражение России, где все как в увеличительном стекле – натурально, неприятно, наглядно! [Там же. С. 58].

Прилепин подхватывает, хотя и опосредованно, как до него это уже сделал Бродский, «девиз» СЛОН и делает его интерпретационным кодом русской истории: «Сначала на Соловках, потом на всей Руси». Тем самым он основывается на просьбе Ивана IV игумену Филиппу стать митрополитом: только Филипп может быть полномочным представителем Руси, поскольку раньше он нес ответственность за Соловки¹.

Как утверждает Прилепин, вкладывая соответствующее изречение в уста начальника лагеря Эйхманиса, амбивалентным топосом, обремененным негативными коннотациями, Соловки стали исключительно по вине их узников, отбросивших на это святое место тень своих грехов:

¹ Несколько ранее Нагибин подобным образом охарактеризовал деятельность Филиппа как попытку сделать Соловки миниатюрным подобием России – в частности, его стремление представить на островах всю флору и фауну страны [3. С. 165].

Ф. – владычке Иоанну (запомнила): – Знаю, к чему клонишь! Кло- нишь к тому, что нам все вернется. Все уже вернулось вам! Крестья- нин Семен Шубин провел на Соловках 63 года – за произношение на святые дары и святую церковь богохульных слов! 63! И половину в одиночке сидел! Вот какая всемилостивая и всеблагая! Вот ее дары... Последний кочевой атаман Сечи Запорожской Петр Кальнишевский 25 лет тут просидел, из них шестнадцать – в каменном мешке. Погу- лять его выводили три раза в год – на Пасху, Преображение и Рожде- ство. Это очень православно, да! Иноки сдали митрополита Филиппа – бывшего соловецкого настоятеля – Грозному. Молчали бы! А Филип- пу тут Христос являлся – в Филипповой пустыни! И его иноки – отда- ли, и Филиппа удушили. Вы теперь что хотите, чтоб на Соловках бы- ло? Пальмы чтоб тут росли?.. (Владычка Иоанн слушал, улыбался, тихо кивал головою, как будто слушал дорогого ему ребенка, а тот по- вторял Символ веры) [6. С. 725–726].

Семантика топоса, исторические события, в нем происходив- шие, предстают повторением все той же основополагающей ситуа- ции: там, где может случиться лучшее и человек может жить спо- койно, случается худшее, и люди действуют вопреки всем заповедям – христианским заповедям! морали. Советский лагерь только повторяет то, что творили сами монахи.

Итак, не подхватывает ли Прилепин пессимистический гума- низм «Архипелага ГУЛаг» Солженицына?

Я полагаю, что Прилепин делает следующий после Нагибина шаг в направлении возврата Соловкам позитивных коннотаций, поскольку он не делает этот топос исключительным символом неизбежной победы зла и тем самым – символом антигуманного человечества, подобно Солженицыну и Нагибину. Напротив, для Прилепина Соловки облада- ют значительным потенциалом добра – и в этом он смыкается с Брод- ским. Правда, неограниченная возможность реализации этого потен- циала еще впереди – и эту перспективу текст Прилепина оставляет открытой: будут ли ей способствовать другие нации или же сумрачная природа, впрочем, в целом подходящая для человека – на этот вопрос в тексте нет ответа. Вышеприведенные цитаты по поводу русского – не- русского вполне можно сравнить с утверждениями: «Человек – это та- кое ужасное» [Там же. С. 718] или «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» [Там же. С. 746]. Тем самым Прилепин вновь обыг- рывает название своего романа: слово «обитель» в этом контексте мо- жет быть понято и как православно-христианская метафора вселенной, и, значит, – опять-таки России.

Водолазкин

Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» (2016) – это воспоминание об иллюзиях и травмах советской эпохи; в нем писатель задается вопросом, возможно ли объяснить ее последующим поколениям и сохранить в исторической памяти. И этот вопрос неизбежно влечет за собой следующий: если возможна интеграция ужасов ГУЛага в историческую память, то возможно ли искупление вины, которой обременили себя деятели ГУЛага? Соответственно, это поднимает и проблему справедливости, и проблему смысла исторических событий. И здесь Соловки – не просто место действия, но и в качестве метафоры национальной *conditio* важны на символическом уровне.

Вымышляя биографию героя, Иннокентия Петровича Платонова, Водолазкин сводит в непосредственном – так сказать, физическом – контакте эпохи сталинизма и постсоветских поздних 1990-х гг.: Платонов – это своеобразный воскрешенный Лазарь, продукт эксперимента «*Лаборатории по замораживанию и регенерации*» ОГПУ, действовавшей в системе СЛОН на Соловках, успешно размороженный и тем самым возвращенный к жизни русскими учеными 1990-х гг.

Таким образом Водолазкин искусно соединяет две главные составляющие популярного жанра фэнтези: научную фантастику и мотив воскресения из мертвых, нагружая их оба национально-историческими смыслами.

Имя Иннокентий, как это может показаться, свидетельствует о невинности героя, но так ли это? В 23-летнем возрасте он был обвинен в убийстве агента ГПУ и сослан на Соловки, где подвергся жестоким пыткам и выжил, в конце концов, возможно, только потому, что добровольно согласился подвергнуться первому опыту замораживания на человеческом материале – до этого эксперименты проводились только на крысах. Действие романа, разворачивающееся в 1990-е гг., вводит читателя в процесс постепенного восстановления памяти героя при помощи терапии, способствующей последовательному контакту героя с вещами и людьми из его прежней жизни. При этом выясняется, что Иннокентий действительно виновен в убийстве, за которое был сослан, но мотивом его преступления было восстановление справедливости, вернее, кара за преступление: статуэткой Фемиды, стоявшей в доме, где он вырос, он убил рабочего колбасной фабрики Николая Ивановича Зарецкого, бывшего тайным агентом ГПУ и донесшего на хозяина квартиры, профессора Воронина, обвинив его в контрреволюционной деятельности, за что

профессор и был вскорости расстрелян. Не случайно, конечно, упоминается и о том, что Иннокентий, еще будучи ребенком, отколол от этой статуэтки весы, попытавшись сделать их подвижными и, значит, более интересными. Эта маленькая деталь и еле ощутимый намек на Раскольникова свидетельствуют о том, что восстановление справедливости не так-то просто, как может показаться на первый взгляд; не только сам воскресший из мертвых Иннокентий начинает все больше сомневаться в правомерности своего поступка по мере того, как к нему возвращается память – на этой мысли выстроена вся система персонажей романа, в которой даже худший злодей, гэнэушник Воронин, выглядит неоднозначной фигурой.

По мере возвращения памяти Иннокентий спрашивает себя, а не виновно ли общество в преступлении Зарецкого? И не был ли он просто инструментом справедливости, а не преступником?

А <...> может, он тогда и не виноват, что на отца Анастасии наступал? Может быть, общественные условия виноваты? Гейгер-то, я думаю, так и считает. Но ведь не общественные условия на профессора стучали, а Зарецкий. Значит, он совершил преступление, и то, что его тюкнули по голове, оказалось наказанием. Справедливым, подчеркиваю, наказанием злодея, хотя об этом мало кто знал. Сложнее все выглядит в отношении того, кто его тюкнул. Он – злодей или инструмент справедливости? Или – и то, и другое? [7. С. 343].

Воскресший Иннокентий хотел бы нарисовать портрет Зарецкого – с очевидными покаянными намерениями, чтобы отдать справедливость – в обратном, реабилитирующем смысле – тому, кого он убил, защищая справедливость:

Если бы ко мне в полной мере вернулось мое умение, я нарисовал бы Зарецкого. Портрет человека, скорбно склонившегося над колбасой. Нарисовал бы не насмешливо – а сочувственно. Если не с любовью, то, по крайней мере, с жалостью. Его ведь некому было пожалеть, и ни одной слезы не пролилось на его похоронах. Ни одной.

Вообще говоря, мне кажется, что, когда человека описываешь по-настоящему, не можешь его не любить. Он, даже самый плохой, становится твоим произведением, ты принимаешь его в себя и начинаешь чувствовать ответственность за него и его грехи – да, в каком-то смысле и за грехи. Ты пытаешься их понять и по возможно-

сти оправдать. А с другой стороны: как понять поступок Зарецкого, если он сам его не понимает? [7. С. 355–356].

Ненависть Иннокентия становится неоднозначной даже по отношению к его мучителю Воронину. Когда он смотрит документальный фильм о СЛОН с кадрами 1920-х гг., он чувствует частью самого себя своего врага, ныне живущего только в его памяти, и задается вопросом – не в себе ли самом он его ненавидит?

Начальника узнал, мерзавца Ногтева. Кстати, о мерзавцах: показалось мне, что мелькнул где-то и Воронин. Он, не он?

Взять Воронина – кто он сейчас? Груда костей – если его, конечно, не сожгли. Тогда-то какой страх на всех наводил, а теперь – прах, серая фигурка в кадре. Вот я его мерзавцем назвал, продолжаю ненавидеть. Только ведь, если это сейчас происходит, то, получается, ненавижу его нынешнего, а он уже понятно кто. Кого же я тогда ненавижу? Если же я все это чувствую к нему тогдашнему, значит, он – не прах? Может быть, оставшись в моей памяти, Воронин стал частью меня, и я ненавижу его в себе? [Там же. С. 188–189].

И наконец, когда выясняется, что Воронин еще жив, эта неоднозначность достигает своего апогея в его манере держаться, столь же нейтрализующей эксцессы:

Воронин в упор смотрит на Иннокентия: – Покаяний не жди. Женщина, вздохнув, заглядывает в чашку. – Почему? – спрашивает Иннокентий. Закрыв глаза, Воронин тихо, но внятно произносит: – Я устал. Устал. Вернувшийся Чистов показывает нам на часы. Мы уходим.

Как удивительно устроена жизнь. Воронин оказался единственным, кто остался, чтобы свидетельствовать о моем времени. Я искал мертвых, чтобы они свидетельствовали – если не словами, так хотя бы своим присутствием, – а тут живой нашелся.

Он сказал: покаяний не жди. В который раз спрашиваю себя: почему? Для чего-то же он был оставлен живым до ста лет – не для покаяния ли? Он великий преступник, и Всевышний, возможно, все оттягивал его уход, давая ему возможность одуматься. Воронин сказал, что устал. Все решили, что это было сигналом к окончанию встречи. А я думаю, что он говорил о своем состоянии, когда нет уже ни злости, ни раскаяния. Душа погружается в сон [Там же. С. 363–364].

Воронин не то чтобы демонстрирует раскаяние и молит о прощении – но все его поведение, так же как и исполненная по-

нимания реакция Иннокентия, внушают некоторую надежду на возможность преодоления чувства вины, обременяющего воспоминания о прошлом.

Смягчение антагонистической оппозиции добра и зла осуществляется и за счет пространственно-временного расположения участников действия. Парные образы формируют структуру романа в той же мере, что и противопоставленные. Эти конstellляции связывают между собой две эпохи и в то же время обостряют рефлексию о добре и зле.

Старой Анастасии, любимой девушке юного Иннокентия, приходит на смену Настя, ее внучка, которая становится женой воскресшего Иннокентия. Так сближаются разные исторические эпохи, и с Настей Иннокентию до некоторой степени удастся осуществить то, в чем ему было отказано с Анастасией – счастливое супружество, увенчанное ожидаемым рождением ребенка.

Обвиненному в контрреволюционной деятельности, арестованному и расстрелянному профессору Воронину (отцу старой Анастасии) противостоит истязатель Иннокентия, случайный однофамилец жертвы репрессий, гэлэушник Воронин: в свою очередь, его образ перекликается с образом доносчика Зарецкого.

Структурной насыщенностью обладает не только оппозиция Иннокентий – Зарецкий, но и оппозиция Иннокентий – Воронин, тоже являющаяся предметом рефлексии Иннокентия. Воронин и Иннокентий, палач и жертва, связаны между собой еще и тем, что они являются единственными оставшимися в живых свидетелями и современниками сталинской эпохи. Эту связь в романе Водолазкина особенно отчетливо обозначает имеющая несколько плакатный характер ассоциативная интертекстуальная отсылка к роману «Робинзон Крузо»: пространственная изоляция героя Дефо становится символическим заместителем изоляции во времени в романе «Авиатор»:

<...> все у Робинзона – последнее, ничему нет замены. Родившее его время осталось где-то далеко, может быть, даже ушло навсегда. Он теперь в другом времени – с прежним опытом, прежними привычками <...> [7. С. 42].

Подобно Робинзону Иннокентий, так же как и его прежний учитель Воронин, реликт своей ушедшей в прошлое эпохи, они оба изолированы в новой современности как на острове, они оба – един-

ственные ее живые свидетели – островок прошлого в настоящем¹. Как эта пространственно-временная метафористика влияет на семантизацию Соловков? Ниже я вернусь к этому вопросу. Но сначала – еще несколько соображений о концепции истории в романе Володзкина.

Рефлексия о ходе истории вообще и о злодеянии в частности постоянно возникает в романе:

Вот Гейгер не верит в коллективное движение к гибели, не видит для него рациональных причин. А причины-то бывают и иррациональные. *Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения...* Так оно, конечно, не всегда и не для всех людей (тут Гейгер прав), но – для большого их количества! Достаточного, чтобы превратить страну в ад. Мой кузен подается в опричники, сосед идет стучать на профессора Воронина. Коллега Воронина Аверьянов дает на него чудовищные показания. Почему?!

Ну, Бог с ним, с кузеном, он слабый человек, утвердиться хотел. У Аверьянова, допустим, зависть – естественное для коллеги чувство. Но зачем стучал Зарецкий – из принципиальных соображений? Так ведь не было у него принципов (и соображений, подозреваю, тоже). Деньги? Да никто их ему не давал. Он ведь и сам мне по пьяни сказал, что не знает, отчего стучал. А я знаю: от переизбытка дерьма в организме. Оно, это дерьмо, росло в нем и ждало общественных условий, чтобы выплеснуться. Вот и дождалось [7. С. 342].

И что же это за объяснение – «дерьмо в организме»? Во всяком случае, это нечто такое, что не подчиняется высшим законам истории и ее движения, но в то же время оно и не признает полной свободы действия человека, но напротив, заставляет его действовать во зло – очень часто помимо его собственной воли, и обоснование имеет парадоксально-биологический характер, более общеантропологический, нежели расистский. Это «объяснение» возникает только после того, как все возможные нравственные позиции обнаружили свою относительность. И что же из этого следует? Как «объяснение»

¹ Ср.: «В моей прежней квартире я иногда чувствую себя будто на острове – среди моря чужой жизни. Бедный Робинзон Крузо»; «Робинзон за грехи был заброшен на остров и лишен своего родного пространства. А я лишился своего родного времени – и тоже ведь за грехи. <...> Подумал вдруг о лишенных времени и пространства: да ведь это мертвецы. Получается, что мы с Робинзоном – полумертвые. А может быть, и мертвые – для тех, кто нас знал в прежнем времени и прежнем пространстве» [7. С. 290, 297].

может прояснить вопрос относительно перспектив «интеграции травмы ГУЛага в национальное сознание? Какой исторический нарратив может быть далее предложен?

Роман Водозазкина реактуализирует жанр исторического романа весьма специфическим способом – и это позволяет провести параллели между ним и другими образцами этого жанра, прилепинской «Обителью», например. С одной стороны, в «Авиаторе» очевидны приметы классической жанровой модели исторического романа: его герои – фигуры второго плана, маленькие люди, вовлеченные в большие исторические события и воплощающие в себе типы эпохи. Великие исторические события сопоставлены маленьким людям, события раскрывают характеры, характеры отражаются в событиях. Роман очевидно преследует цель показать эпоху через характеры и мотивировать характеры эпохой. Но специфика жанра, созданного Водозазкиным, заключается в особой «деисторизации» и пространственного сдвига исторических событий путем параллельного развертывания сюжета в пределах двух исторических эпох: сталинизма и постсоветского времени, обнаруживающих таким образом свое известное сходство. Кроме того, само действие, неожиданная идентичность персонажей, принадлежащих разным историческим эпохам, а также двойничество-параллелизм нарративных моделей в структуре действия ставят под сомнение представление о линейности исторического времени, дополнительно подрываемое пространственным сосуществованием разных эпох¹. Таким образом, историческая динамика превращается в статику, почти повтор однотипных ситуаций, и это и есть концепция национальной истории: Россия, она такая.

Водозазкин очень последовательно и явно придерживается этой нарративной стратегии. Однако каков смысл подобного явного смыкания ее со следующим из постоянных параллелей сомнением в непререкаемости нравственных оппозиций добра и зла и сквозной рефлексией о справедливости?

И, значит, кто есть Зарецкий – преступник или инструмент справедливости? И кто в этом случае сам Иннокентий? И как он сможет объяснить все это своей будущей дочери? «Он – злодей или инструмент справедливости? Или – и то и другое? Как все это объяснить Анне?» – эти вопросы в финале романа еще раз возникают

¹ Здесь Водозазкин использует тот же прием, который ранее был разработан в его псевдоисторическом романе «Лавр» (2012–2016).

перед Иннокентием открытым текстом [7. С. 343]. И он косвенно отвечает на них в ключе абсолютного релятивизма: относительно добро и зло, относительна ответственность человека за его поступки, относительно великое и малое, относительна линейность истории. И здесь герой отказывается как от большой истории, обращаясь к своим частным детству и юности, так и от рассказывания: вместо того, чтобы повествовать о великом, он сосредоточивается на описании малого. Того самого малого, которое подчиняется не столько линейно-временному, сколько пространственно-линейному порядку. И выстраиваемый им повествовательный мост ведет поверх описанной в романе страшной эпохи ГУЛага, закапсулированной в оцепеневшей аллегории «Робинзона Крузо», прямиком в идеализированное дореволюционное детство, в котором Фемида держала в руках еще не расколовшиеся весы справедливости:

<...> сказав, например, «мое детство», я не объясню будущей дочери ровно ничего. Чтобы дать ей хоть какое-то представление об этом, я должен буду описать тысячу разных подробностей, иначе ей не понять, в чем состояло тогдашнее мое счастье.

Что в таком случае ждет описания? Ну, конечно же, обои над кроватью – я до сих пор помню их цветочный узор. По нему за минуту до сна вечерами скользит мой палец. Звон крышки ночного горшка, пронзительный, как оркестровые тарелки. Из звуков памяти еще – при каждом моем движении – скрип кровати. Рука гладит ее блестящие холодные трубки, сплетается с ними, даря им свое тепло. Съезжает вниз, ощупывает складки простыни и упирается в колено сидящей у кровати бабушки. Я рассматриваю люстру и ее паучьи тени. В центре потолка светло, а по углам мрак. На шкафу, излучая справедливость, держит весы Фемида. Бабушка читает «Робинзона Крузо» [Там же. С. 410–411].

Вот и все, о чем должна узнать Анна, будущая дочь Иннокентия, дитя сталинской и постсоветской эпох, единственный оплот надежды и воплощение светлой перспективы в будущем – не более и не менее.

Финал романа демонстрирует это событие и эти возможные только в его результате перспективы как специфически русские: фраза «все возможно в России» – это изреченная в нем истина о России, истина, которая, как должно свидетельствовать действие романа, является одновременно проклятием (поскольку Россия постоянно разбивается о свою безграничность) и благословением (ка-

ковым становится второй шанс Иннокентия, видящего в своей еще не родившейся дочери Анне надежду на будущее).

Что ж, в России все возможно... Распространенная, должно быть, фраза, если сохранилась даже в моей разрушенной памяти. Есть в ней свой ритм. Не знаю, что за этим стоит, а *фразу* вот помню. <...> В России все возможно, м-да. Есть в этом осуждение, что ли, даже приговор. Чувствуется, что это какая-то нехорошая безграничность, что все направится известно в какую сторону. В какой мере эта фраза касается меня? [7. С. 23].

У нас с Анастасией *должен* был быть ребенок, но у нас уже *не могло* быть ребенка. Настя несет в себе плоть Анастасии, значит, наш с ней будущий ребенок – это отчасти и ребенок Анастасии. Если бы русская история не была так кромешна, то сейчас Настя была бы нашей общей с Анастасией внучкой. Впрочем, только ли в истории дело? И стоит ли так уж валить все на нее?

Вот сейчас, я заметил, в России полюбили фразу об отсутствии в истории сослагательного наклонения. Как и в мое время, нынче тоже возникают *фразы*, и их повторяют к месту и не к месту. История, видите ли, не имеет... Может, и не имеет, только бывают случаи, когда она предоставляет словно бы вторую попытку. Это – повторение и одновременно неповторение того, что было.

Как же иначе объяснить, что мне был дан еще один шанс для жизни? Что я – если называть вещи своими именами – воскрес? Что Анастасия дожила до поздней своей встречи со мной? Что мне встретила Настя, которую я люблю и которая любит меня? Неужели все это – просто отдельные случаи или, более того, – случайности? Конечно же, нет. Я и Настя (и Анастасия!) имеем дело с кусочками одной мозаики, потому что, когда множество случайностей складывается в общую картину, это – закономерность [Там же. С. 227].

История, как она интерпретирована в романе Водолазкина, в конечном счете направляется высшими законами (хотя и в этом тоже сомневается автор романа), и эти законы имеют национальный характер. Здесь, в пространстве России, исторические эпохи, вместо того чтобы линейно следовать друг за другом, обнаруживают свою способность сосуществовать, а прошлое не может пройти – и, значит, оно непреодолимо.

Название романа, так же как и сквозной мотив полета, оформляет авторскую рефлексия о возможности панорамного взгляда сверху на историю и исторические события. Название «Авиатор» тесно

соотнесено с образом героя, Иннокентия Платонова, который постоянно вспоминает о своей юношеской мечте стать летчиком и о том, что именно авиаторы были кумирами времен его юности, авангардом советской мечты о покорении космоса. Он вспоминает и о том, как он в предреволюционные годы своего детства восхищался бипланом «Фарман-4» и знаменитым пилотом Фроловым (вымышленный образ), и эта ретроспекция приводит Иннокентия к вопросу: а может быть, лучше было бы не взлетать?

Авиатор видит, как под его ботинками трава, цветы, листья какие-то – все сливается в темно-зеленую массу. Может, и лучше было бы, если бы не взлетел-то... Ехал бы себе и ехал – чем плохо? [7. С. 327].

Этот романтический мотив, как и само название, содержит в себе косвенную отсылку к одноименному стихотворению Александра Блока, написанному именно в те годы, к которым отнесено детство Иннокентия: 1910–1912. Интертекстуальная ассоциация, равно как и эпиграф, предваряющий текст романа, выявляет второе, фигуративное значение мотива авиатора и переводит его в метапоэтический план:

Моей дочери

- *Что вы все пишете?*
- *Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.*
- *Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.*
- *Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, часть этого мира... Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.*
- *Например?*
- *Например, авиатор.*

Разговор в самолете

В финале романа Иннокентий именно словами эпиграфа, в которых «авиатор» оказывается метафорой панорамной перспективы на историю, мотивирует свое писательство [Там же. С. 409]. Так будущее героя-протагониста и метапоэтическая перспектива замыкают в кольцо действие романа. Скепсис по поводу притязания на всеохватный взгляд соединяет эти разноуровневые перспективы точно так

же, как вера в возможность такой точки зрения, которая позволила бы видеть больше других, и стремление к ней.

В разговоре с Гейгером и в своем дневнике Иннокентий размышляет о необходимости веры, позволяющей найти ответы на главные, последние вопросы бытия, на которые не может дать ответов наука. В этом диалоге, наряду с важным допущением существования бога, без которого ничто не может случиться, обсуждается возможность комбинации точек зрения, дающих фрагментарное представление о реальности, с точкой зрения, открывающей возможность необозримой перспективы, символом которой становится божья коровка¹. Так образ божьей коровки – трогательно прекрасный и лишенный даже тени комического элемента – становится эквивалентом образа героического авиатора: оба имеют почти божественную возможность всеохватного взгляда – и это актуально для всех, кто способен буквально или фигурально подняться в воздух.

Теперь зададимся вопросом о функции образа Соловков в романе Водолазкина, в котором историческое время проецировано на

¹ Ср.: «Вы – атеист? – спросил меня Иннокентий. – Нет, так я себя не определяю. Скорее, я человек, который доверяет научному знанию. Если наука докажет мне, что Бог есть, что ж... – Не обольщайтесь. На самые важные вопросы наука ответить не смогла. И не сможет – ни на один. – Например? – Как *все* возникло из *ничего*? Как появляется и куда уходит душа? Вопросов море – и все лежат за пределами науки. – Возможно. И все же мне трудно переступить через эти пределы. Хотя иногда и переступаю.

Сейчас переступаю, когда дело касается Иннокентия.

Он мне прочел фразу из церковного песнопения. Смысл ее в том, что, когда Бог захочет, побеждается естественный порядок вещей. Рамки науки в нашем с Иннокентием случае тесны как никогда. Просто впиваются в ребра. Вдавливают в меня религиозную мысль, что помочь здесь может только Он.

Разговаривали с Гейгером о Боге. Он Бога не отрицает как возможность, но прежде всего верит в факты, предоставляемые наукой. А в факты не надо верить, их достаточно знать. Этих фактов много, тьма тьмущая, только все они касаются неосновного. Мне даже иногда кажется, что эти факты от основного отвлекают. Из миллионов мелких объяснений не складывается одного всеобъемлющего. И не сложится – потому что то и другое находятся в разных измерениях. Так что напрасно Гейгер ждет здесь перехода количества в качество. А объясняет *Б*, *Б* объясняет *В*, и так до бесконечности, но где то, что объясняет всю эту бесконечность в целом?

Обилие открытий затуманило головы еще моим бывшим современникам, сделавшим атеизм модой. Уже тогда они напоминали божью коровку на шоссе. Она проползла десяток метров и очарована своим движением. Ей кажется, что она все изучила и поняла. Но она никогда не узнает, где начинается шоссе и куда ведет. Я поделился сравнением с Гейгером. Он прищурился: – А коровка-то, несмотря на ее самонадеянность, – Божья. Так что Богом разные взгляды допускаются. – Хитрый тевтонец, голыми руками не возьмешь. – Коровка, конечно же, Божья, почему ей и даны крылья. Чтобы увидеть всю дорогу, насекомому нужно лишь взлететь на небо, понимаете? Была такая детская песенка. – Почему была? – смеется. – Есть» [7. С. 356–358].

пространство и остров символизирует временную капсулу. В отличие от других произведений, конституирующих соловецкий текст последних десятилетий XX – первых десятилетий XXI в., Водолазкин не делает содержанием своего романа более раннюю историю Соловков, историю монастыря: его интересует только история СЛОН. Однако его, как и других писателей, обращавшихся к этому сюжету, волнуют закономерности национально-исторического развития, в данном случае это взаимосвязь сталинской и постсоветской эпох, и в первую очередь – проблема отношения к травмам, оставленным эпохой ГУЛага в национальном сознании и бытии: что с ней нужно и вообще можно сделать?

Изображая условия жизни в соловецком лагере, Водолазкин создает наглядную картину масштабов этой травмы. В нескольких главах [7. С. 130–131, 148–149, 187] воспоминания персонифицированного повествователя, свидетеля-очевидца, о том, что он видел, и о том, что с ним случилось (слова Иннокентия «Я это видел» являются отсылкой к знаменитому стихотворению Эренбурга 1942 г., посвященного жертвам холокоста). Нечеловеческие условия, жестокие наказания, пытки, убийства – и все это в древнем и знаменитом монастыре. Чтобы акцентировать масштабы озверения людей и границы возможного в изображении этих событий, Водолазкин устами своего героя Шаламова призывает к размышлению о последствиях ГУЛага и о возможности писать об этом времени.

В то же время, в соответствии с восходящим к Солженицыну утверждением, что ГУЛаг – это универсальная модель Советского Союза сталинской эпохи, Соловки показаны как локус, в котором советская наука достигла своих самых впечатляющих высот. Там и только там она имела возможность осуществить свои самые смелые и самые рискованные эксперименты на людях, во имя победы над смертью – эта цель была поставлена тем самым космическим утопизмом, который очевиден уже в мечтах Николая Федорова [Там же. С. 207, 212]. И единство этих аспектов делает образ Соловков в романе «Авиатор» своего рода идеальным воплощением и ключевой составляющей самого понятия «советский».

Но и последующая история лагеря – хотя бы в виде биографий людей из числа лагерного начальства – тоже представлена в романе «Авиатор». И здесь имеет значение не только образ истязателя Воронина: упоминание других деятелей СЛОН маркирует идею длящегося умолчания и отсутствия юридической кары [Там же. С. 310].

Сверх того, образ Соловков как острова, корреспондирующего на метафорическом уровне с островом Робинзона, предлагает очень своеобразный символический ответ на вопрос о возможности интегрирования ГУЛАГа в память национальной истории: капсулирование, самоизоляция в пространстве символического острова. Соловки, тоpos ужаса, место рождения СЛОН, откуда система ГУЛага распространилась на всю Россию, символизируют, подобно островку прошлого в современности, на котором обитает герой романа, такой компромиссный выход, который не дает возможности преодоления, но дает возможность приятия: параллельное сосуществование современности и помнящегося, но нестерпимого прошедшего, заключенного в капсулах временных островов.

Это решение проблемы поддержано с флангов универсальным нравственным релятивизмом, который оставляет окончательный суд высшей, божественной инстанции, но в сфере земного человеческого существования придерживается представлений об относительности нравственных оценок. Исторические события и факты ужасны, но между преступником и жертвой невозможно установить четкие границы – во всяком случае, в условиях сосуществования исторических эпох.

Здесь – точка пересечения романа Водолазкина с интегративно-символическими стратегиями других типов соловецкого текста. И то, что его история о Соловках предстает как сугубо специфическое и, следовательно, сугубо национальное проявление русской культуры, тоже согласуется с соловецкими концептами его предшественников. С романом Прилепина «Авиатор» перекликается еще и в том, что в нем – вопреки общему пессимизму – присутствует открытая перспектива, у Водолазкина еще более конкретная, поскольку она воплощена в залоге надежды – в образе будущей дочери героя.

IV. Перспективы сопоставления и заключение

Интересно сравнить русский «Соловецкий текст» последних десятилетий с иноментальным концептом Соловков, который предложен в широко известном в России эссе польского журналиста-русиста Мариуша Вилька. В своем эссе под названием «Wilczy notes» (в немецком переводе: «Schwarzes Eis» – «Черный лед», в русском – «Волчий блокнот»); оба перевода не передают каламбурное обыгрывание имени автора в названии текста) Вильк тоже зада-

ется универсальным вопросом об исторической эволюции символического потенциала Соловков как значимого топоса на карте духовной жизни России. Разумеется, интерес поляка Вилька к Соловкам иной, чем у русских авторов. Интерес Вилька, как об этом свидетельствуют его высказывания, направлен не столько на Соловки как значимый топос той страны, соответственно, империи, от экспансионистских устремлений и карательных мероприятий которой Польша сильно пострадала. Вилька в большей мере интересуют, с одной стороны, универсальная семантика и функции Соловков, могущие быть спроецированными на все исторические эпохи и на любое государство, а с другой – специфика опытов символической концептуализации топоса на протяжении русской истории.

Для Вилька Соловки – это история Русского Севера. Польский журналист тоже не изолирует семантику разных исторических фаз жизни Соловков; он видит существующую на протяжении столетий континуальность универсальной функции Соловков как места заключения и изоляции от общества [8. С. 107]. Метонимическая интерпретация топоса как *pars pro toto* всей России очевидна и у Вилька в метафоре зеркала, в котором отражается вся страна:

Мотив зеркала и лабиринта лежит в основе соловецкой фабулы с самого начала истории Островов и неразрывно связан с темой смерти. Потому что самые древние следы человека на Соловках, каменные лабиринты (II–I тысячелетие до нашей эры) – не что иное, как остатки тропы на тот свет, который – по саамским верованиям – есть отражение нашего мира, словно картинка в зеркале, где правое становится левым. А Острова, лежавшие к западу от материка, находились, согласно мифологии саамов, на полпути к загробной жизни – остановка после могилы. Поэтому они хоронили здесь своих умерших, в первую очередь шаманов и вождей, и строили лабиринты из камня, чтоб не дать душам мертвых вернуться в мир живых... Православные монахи называли саамские постройки «вавилонами», трактуя их как символ затерянности человека в закоулках греха, а позже сами принялись воздвигать огромные каменные стены, чтобы, укрывшись за ними, перебирать собственные прегрешения. Оставленный мир виделся им источником духовной смерти, а смерть тела, о которой они призывали помнить неотступно, должна была явиться началом вечной жизни. Другими словами, они умирали еще на земле, чтобы ожить на небесах... Затем – СЛОН, лабиринт из колючей проволоки. Совет-

ская реальность строила рожи из соловецкого зеркала, на пограничье земного и загробного мира... [8. С. 149].

В то же время Вильк, подобно Бродскому, видит в Соловках топос альтернативного мышления и противостояния принятому порядку. Он подчеркивает, что Соловки развивались и как центр старообрядства, и как питомник многочисленных сект, в том числе и польских – хлыстов, скопцов и т.д. В качестве примера Вильк приводит проект Сергия Радонежского, который, как полагает Вильк, в качестве меры противостояния татаро-монгольскому игу хотел основать целую сеть монастырей на Русском Севере: они должны были стать государствами в государстве, убежищами духовной аристократии: Белоозеро – Валаам – Соловки...

Мысль Вилька интересна постольку, поскольку проект сети монастырей в его интерпретации выступает как позитивная альтернатива опричнине и позитивный аналог позднейшей сети лагерей ГУЛага: таким образом, Соловки у него получаются не столько репрезентативной моделью официальной власти, сколько центром противостоящей ей власти альтернативной!

Вильк тоже видит в Соловках лиминальный топос соответственно положению теории обряда (Гернер на основе ван Геннепа), топос, в котором затемняются и размываются противоположность всех ценностей и все параметры жизни, например время¹, равно как и граница между посю- и потусторонним мирами (рассказы о Соловках неизменно затрагивают тему смерти)².

Несмотря на общность исходной точки зрения на символическую семантику Соловков как континуальную, проходящую через многие исторические эпохи без изменения своих денотатов, все же интерпретации этой семантики русскими авторами по обоим пунктам значительно отличаются от предложенного Вильком концепта. Именно в сравнении с концепцией Вилька становится особенно очевидной специфика русской концептуализации Соловков: во-первых, у русских более подчеркнута лиминальность Соловков, а во-вторых,

¹ Ср.: «Соловки ведь не имеют ни начала, ни конца» [8. С. 47].

² Вопрос о том, является ли амбивалентная оценка личности директора СЛОН Эйхманис симптомом лиминальности, является дискуссионным. Однозначно негативную находим в гл. IV [8. С. 44], однако далее читаем, что Эйхманис в 1925 г. дал разрешение на службу по католическому обряду, но служба не состоялась из-за того, что воспротивились монахи. Точно так же обстоит дело и сейчас: в 1993 г. соловецкие монахи не разрешили варшавскому профессору прочесть католическую мессу по католикам – жертвам СЛОН.

их символическая семантика имеет более обобщенный характер. Русские приписывают этому топосу общечеловеческое, но при этом очень определенное символическое значение, которое является чем-то большим, нежели просто структурное определение лиминальности: русский «соловецкий текст» пользуется универсальным антропологическим кодом описания и одновременно форсирует национальное начало в семантике этого текста.

Не потому ли, что Соловки оказались позиционированы в универсальном этическом измерении как топос открытого противоборства добра и зла, острова и заняли такое недвусмысленно очевидное место на символической карте России? И не могут ли Соловки по этому признаку сравниться с другими русскими топосами, тоже в известном смысле лиминальными и отмеченными на ментальной карте всей России столь же интенсивным символическим смыслом – такими, как Петербург или Сибирь?

По сравнению с «петербургским текстом», который со времен Пушкина складывается в космогоническом нарративе со свойственной ему амбивалентной символикой и принципиальной открытостью, а также по сравнению с национальным «сибирским текстом», формирующимся от Достоевского до Солженицына в нарративе пересечения границы, столь же непредсказуемом в своем исходе нарративе инициации, «соловецкий текст» конституирован и создан нарративом борьбы, конфронтации добра и зла, которая разворачивается или в пространстве противостояния центра и периферийных Соловков как равновесного противника этого центра, или во внутреннем пространстве самих Соловков, однако в обоих пространствах исход этой борьбы столь же непредсказуем.

*Перевод О.Б. Лебедевой
(Томский государственный университет)*

Литература

1. Нагибин Ю. Куличок-игумен // Дружба народов. 1985. № 12. С. 109–131.
2. Нагибин Ю. Поездка на острова // Нева. 1986. № 1. С. 80–114.
3. Нагибин Ю. Встань и иди. М.: Худож. лит., 1989. 703 с.
4. Лихачев Д.С. Избранное. Воспоминания. СПб.: Logos, 1997. 559 с.
5. Бродский Ю. Соловецкие парадоксы // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. 2002. № 1. С. 115–123.
6. Прилепин З. Обитель. М.: АСТ, 2014. 746 с.
7. Водозакин Е. Авиатор. М.: АСТ, 2016. 416 с.
8. Вильк М. Волчий блокнот. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 212 с.

THE SOLOVKI TEXT. PART 2

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 158–189. DOI: 10.17223/24099554/8/9

Susanne K. Frank, Humboldt University of Berlin (Berlin, Germany). E-mail: susanne.frank@staff.hu-berlin.de

Keywords: Solovki, Solovetsky monastery, Solovetsky Special Purpose Camp (SSPC), “Solovki text”, symbolic continuity, evolution of local text, Yu. Nagibin, *Journey to the Islands*, Yu. Brodsky, *The Paradoxes of Solovki*, Z. Prilepin, *Abode*, E. Vodolazkin, *The Aviator*.

The article is an attempt to describe the “Solovki text” of Russian literature. Its second part is devoted to the modern version of the “Solovki text”, which can be called the experience of national historical typification. Yuri Nagibin’s *Journey to the Islands* (1986), Yuri Brodsky’s *The Paradoxes of Solovki* (1998), Zakhar Prilepin’s *Resident* (2014) and Evgeny Vodolazkin’s *The Aviator* (2016) are analyzed.

The authors, each in their own way, adhere to an anthropological description code. However, they deviate from the description of Solzhenitsyn, focusing not on the general history of the Gulag system, but specifically on the history of Solovki, proceeding from the desire to show the continuity of this history, a recurring return to the same situation-constellation. At the same time, the authors emphasise the national significance of Solovki that are not only a source, a starting point and a synecdoche of the Gulag network that stretches all over the country, but also a symbolic topos, important for the history of the whole country.

Nagibin, Brodsky, Prilepin and Vodolazkin show the historical continuity of Solovki, originating in the Middle Ages and actual to this day: the ambivalence of the symbolic connotations of the topos, the vibration of its meanings between the poles of the many-valued holy place, the secluded abode of spirituality and faith, on the one hand, and the topos of violent rejection from society, a topos, in which the power of the centre is asserted in the most cruel way, on the other. A conclusion is drawn about the modelling semantics of Solovki, which is a symbol of traumatic historical memory. The options for reconciliation and acceptance of the national past determine the contemporary dynamics of the “Solovki text”.

References

1. Nagibin, Yu. (1985) Kulichok-igumen [The sandpiper-like hegumen]. *Druzhba narodov*. 12. pp. 109–131.
2. Nagibin, Yu. (1986) Poezdka na ostrova [Journey to the islands]. *Neva*. 1. pp. 80–114.
3. Nagibin, Yu. (1989) *Vstan' i idi* [Rise and go]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
4. Likhachev, D.S. (1997) *Izbrannoe. Vospominaniya* [Selected works. Memories]. St. Petersburg: Logos.
5. Brodsky, Yu. (2002) Solovetskie paradoksy [The paradoxes of Solovki] *Solovetskoe more. Istoriko-literaturnyy al'manakh*. 1. pp. 115–123.
6. Prilepin, Z. (2014) *Obitel'* [Abode]. Moscow: AST.
7. Vodolazkin, E. (2016) *Aviator* [The Aviator]. Moscow: AST.
8. Wilk, M. (2006) *Volchii bloknot* [Wolf notes]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

УДК 882 (09)

DOI: 10.17223/24099554/8/10

Е.К. Чхаидзе

СОВЕТСКИЕ ОСКОЛКИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС И ЕГО РОЛЬ В ПОСТСОВЕТСКОЙ «ДЕКОЛОНИЗАЦИИ»

Советское культурно-политическое пространство представляло собой мозаику, скрепленную идеологией «дружбы народов». В период гласности мозаика разбилась о свободу слова. На поверхность всплыли двойные идеологические стандарты, прикрытые маской дружбы. Начиная с середины 1980-х гг. в русской литературе появились тексты, отражающие расколотившуюся «гармонию». В статье автор обращается к двум полям рефлексии: первому, в котором продолжилась тема дружба, и второму, в котором проявилось стремление к «деколонизации»/высвобождению от старой формы межнациональных отношений, навязанной советской идеологией.

Ключевые слова: русская литература постсоветского периода, национальный вопрос, тема Других, А. Битов, В. Астафьев, Н. Бойко, Ю. Хабибулин, Е. Одинокова, В. Морозов, В. Передельский, О. Ларин, Н. Пчелин.

Советское культурно-политическое пространство представляло собой мозаику, скрепленную идеологией «дружбы народов». Но за маской дружбы скрывался клубок неразрешенных национальных вопросов, вылившихся впоследствии в межнациональные / межэтнические конфликты позднего и постсоветского периодов. Вопрос о роли и месте разных наций в Российской империи и в СССР интересовал многих исследователей, и споры до сих пор не утихают. О национальной политике и определении СССР как особой империи писали западные и российские ученые [1–8]. Обращусь к самым популярным из них.

Андреас Каппелер в книге «Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung – Geschichte – Zerfall / Россия как многонациональная империя. Возникновение. История. Распад» (1992, на русский язык переведена в 1997 г.) рассматривал СССР как наследника Российской империи в рамках единого поля – «советской полиэтнической

империи». Он обратил внимание на то, что история России зачастую неверно воспринималась исключительно как национальная история русских¹.

Терри Мартин в книге «The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939 / Империя "положительной деятельности". Нации и национализм в СССР, 1923–1939» (2001, в русском переводе вышла в 2011 г.), сфокусировав внимание на сталинском периоде, точнее на анализе мероприятий центральной власти по поддержке и развитию культур национальных меньшинств, продемонстрировал, вразрез с распространенным, особенно в постсоветский период, мнением, неверность представлений о подавлении малых народов «титულიной» нацией². В более ранней статье на эту же тему «Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма?» (2001, переведена и опубликована в 2002 г.) он пишет о том, что большевики проводили политику имперской деколонизации. Она сводилась к культивированию отдельной национальной идентичности и национального самосознания нерусского населения, целью которой было сохранение территорий Российской империи для формирования нового централизованного социалистического государства [10. С. 56]. Ступенями в деколонизации были образование национальных территорий, на которых говорили на собственных языках, открытие культурных учреждений, восстановление исторической памяти и издание классических произведений национальной литературы [Там же. С. 72]. Мартин приводит факты, когда представители национальных меньшинств обладали большими привилегиями, например, в продвижении по карьерной политической лестнице:

<...> всем нерусским было гарантировано покровительство, русские одни несли на себе тяжесть позитивной дискриминации. <...>

¹ «До недавнего времени в западных странах все жители СССР обозначались как русские, и ничего не было известно о литовцах, казахах и грузинах, не говоря уже об осетинах, месхетинцах или гагаузах». И далее: «Авторитарная система при помощи широкой информационной монополии и репрессий десятилетиями скрывала существование национальных проблем. Основная часть западных наблюдателей принимала такое положение вещей: некоторые представляли себе государство лишь как гомогенную этническую общность. <...> И только распад СССР показал широкой общественности, что Советский Союз был полиэтнической империей» [8. С. 16–17].

² «Советская политика была оригинальной в том отношении, что она поддерживала проявление национальных форм меньшинств в ущерб титульным нациям. Она решительно отвергла модель национального государства, заменив ее множеством национальных по типу республик» [9. С. 75].

Советская политика действительно предусматривала самопожертвование русских в национальной сфере <...> [10. С. 78–79].

Одновременно с работами Мартина вышла статья Дэвида Ч. Мюра «Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique / Есть ли пост- в постколониальном и пост- в постсоветском?» (2001), в которой автор стремился дать определение Советскому Союзу как особому типу империи, употребляя термин «reverse-cultural colonization (обратно-культурная колонизация)» [11]. В статье также рассматривался национальный вопрос. Мур приходит к выводу, что в СССР проводилась политика упразднения привилегий для русских на юге и востоке бывшей Российской империи, и советская власть прикладывала большие усилия с целью развития индустрии, образовательной и медицинской сфер на «периферии»: строительство заводов, фабрик, школ, больниц, освобождение женщин из гаремов [Там же. С. 123]. Д.Ч. Мур подчеркивал антиколониальный характер советской политики, целью которой было построение государства новой формации.

В то же время российская исследовательница Мадина Тлостанова в книге «Жить никогда, писать ниоткуда. Постсоветская культура и эстетика транскulturации» (2004), определяя СССР как «трансимперское, транскulturное и транснациональное» пространство, говорит о чувстве «второсортности всех остальных этносов и народов – как живших внутри СССР, так и его полуколоний – социалистических стран» [12. С. 50].

Разновекторность недовольств как со стороны «титульной нации», так и со стороны «малых народов» формировала доманифестные формы межэтнического напряжения. Их причинами могли быть бытовой и неофициальный национализм, несправедливые, с точки зрения различных этносов, административные границы; факт проживания части этноса за границей СССР (как это имеет место в Азербайджане или на Западной Украине); ошибки регионального планирования; просчеты в культурной и языковой политике; нарушение пропорций представленности различных этносов в науке, культуре, административных органах; засекречивание информации, касающейся недавней истории; наконец, наследие сталинизма в виде различного государственно-правового статуса различных народов [13].

Свобода слова, провозглашенная в период перестройки и гласности, стала катализатором перерастания доманифестных форм межэтнического напряжения в манифестные. На поверхность всплыла

ранее непозволительная советской политкорректностью агрессивная национальная и «псевдопатриотическая» риторика. Недовольства, обсуждавшиеся на бытовом уровне, при первой же возможности, предоставленной политической ситуацией, проявились в рамках официальной политики. В статье «Переписка из углов Империи» Константин Азадовский констатировал:

<...> камнем преткновения для советской Империи оказался именно национальный вопрос. Под ритуальные заклинания о «братской дружбе» и «добрососедских отношениях» национальное звено неуклонно слабело в цепи социализма. Взрывы национальной ненависти, потрясшие СССР в конце 1980-х годов (и продолжающиеся поныне), не приснились бы советскому человеку и в кошмарном сне. <...> Первые попытки либерализации в СССР вызвали, с другой стороны, и всплеск националистических, «прорусских» настроений [14. С. 11].

Прецедент

Итак, во второй половине 1980-х гг. мозаика «дружбы народов» разбилась о свободу слова, что получило свое отражение в литературе. Этот период, а именно 1985 г., оказался переломным. Тогда наметились две тенденции обращения центра к периферии и, наоборот, периферии к центру: первая – в контексте «дружбы народов», т.е. романтически-утопический подход как к Своим, вторая – в контексте выстраивания образа врага, суть которой сводилась к изображению Других как чуждых и виновных в неурядицах Своих. Первым наглядным прецедентом и примером новых тенденций явились два произведения, которые были опубликованы практически одновременно: «Грузинский альбом» (1985) Андрея Битова [15] и «Ловля пескарей в Грузии» (повесть датирована 1984 г., вышла в свет в 1986 г.) Виктора Астафьева [16]. Оба текста касаются грузинской тематики, которая стала традиционной для русской литературы на протяжении последних двух веков, и она же первой явилась полем моделирования нового подхода к уже устоявшемуся представлению.

Для автора-рассказчика Битова Грузия – это *своя* страна, которая является частью русской культуры, и путешественник видит ее только сквозь русскую литературу [17]. Прогуливаясь по Тбилиси, он обращает внимание на то, что «буквы были хотя и грузинские,

но даты – мои». Путешественнику воображается, что через него проходят три человека, и, по описанию силуэтов, они схожи с Пушкиным, Лермонтовым и Толстым. Грузия Битова – это перекресток времен и культур.

Для астафьевского повествователя – это не страна, связанная с русской культурой, а чужая, восточная страна с неприемлемой для «цивилизованного» человека моделью поведения и отношений в социуме. В повести «Ловля пескарей в Грузии» Астафьев «удивительным образом собрал все сложившиеся в истории и в массовом историческом сознании антикавказские предубеждения и негативные стереотипы. Грузины были показаны как тупые, жадные, невежественные торговцы и жулики, думающие только о деньгах и обманывающие простодушных славян на просторах страны» [18. С. 107]. В повести все мотивы, ранее принятые для изображения Кавказа и Грузии, оказываются перевернуты: не богатая, а бедная природа; не щедрый, а жадный и деспотичный грузин. «Ловля пескарей в Грузии» стала причиной обвинений писателя в национализме [14. С. 5–7].

Национальный вопрос, особо остро поднятый в период перестройки, подтолкнул к перемоделированию подхода к литературным темам и образам¹. Этому явлению, на мой взгляд, есть свое объяснение. Если основываться на литературном поле, а не на политическом, то становится понятно, что ближе к официальной дате распада СССР Россия, как и другие советские республики, уже начала выстраивать свой «новый» суверен вне связей с «колониями». Целенаправленное проявление негативного отношения и якобы недопонимания эмоционально-поведенческих моделей других этнических сообществ ставило своей целью оттолкнуть эти сообщества от представителя того народа, чьему перу принадлежали критические замечания. Всплеск национализма, вспоминая «Империю» Майкла Хардта и Антонио Негри (2000), был закономерностью и, более того, служил «деколонизации» в ментально-социальном смысле. Рассматривая современные произведения, важно обратить внимание на то, что не только «периферия» стремилась к независимости и само-

¹ Например, смешение старого и нового взглядов на вроде бы уже утвердившееся за долгие годы культурно-исторических связей отразилось в ряде произведений, о которых я уже писала: «Империя в четырёх измерениях» Битова [17], роман Наталии Соколовской «Литературная рабыня: будни и праздники» [19], роман «Тбилисσιμο» и сборники притч Василия Димова [20, 21].

стоятельности от «центра», но и «центр» также стремился освободиться от связей с «периферией», что наглядно продемонстрировала астафьевская повесть. Итак, за «деколонизацией» стоял «национализм угнетенной нации»: «оказавшись в руках доминирующих групп, понятие нации поддерживает застой и реставрацию, а в руках угнетенных групп – это оружие перемен и революции» [22. С. 107].

В русской литературе постсоветского периода¹ существует целый пласт малоисследованных произведений, которые дают материал для анализа способов «деколонизации». В этой группе текстов представлены различные ракурсы проявления отношений друг к другу, мотивированные установками на политическом уровне и стереотипами, существовавшими на бытовом уровне: взгляд русских жителей «центра» на народы бывших советских республик, а также на русских, проживающих на периферии; и взгляд жителей «периферии», т.е. бывших советских республик, на русских жителей «центра» и на русских в республиках; кроме того и взгляд друг на друга жителей разных национальностей на периферии. Произведения, к которым я обращусь ниже, и тексты, которые остались за рамками этой работы, позволили выделить несколько способов «деколонизации»: предъявление претензий, связанных с разными историческими событиями (например, завоевательная политика России, начиная с имперских времен), обвинения в недооцененности вкладов в индустриальную / образовательную / медицинскую сферы (например, эмиграция русских специалистов в советские республики), указания на отличия во внешности и на языковые отличия (например, акцент).

«Декolonизация» является оборотной стороной нациестроительства. Бенедикт Андерсон понимает под нацией «воображаемое сообщество», идентифицирующее себя как единство, исходя из общности языка, территории, внешне-физиологического типа [23]. Бернд Эстель в книге «Nation und Nationale identität / Нация и национальная идентичность» (2002) писал о том, что нация ассоциирует себя с отдельной закрытой территорией как традиционной родиной или колыбелью народа, а также акцентирует существование собст-

¹ Несмотря на различные мнения, постсоветский период в литературе я связываю с 1985–2014 гг. О 2014 г. как конце постсоветскости писали: Кобрин К. Конец и постскрипtum // Настоящее время, 25.08.2016. <http://www.currenttime.tv/a/27945804.html?posache=1>; Аюпов П. Возвращение // Взгляд. Деловая газета. 02.03.2014. <http://www.vz.ru/politics/2014/3/2/675068.print.html>

венной духовной культуры и связанной с ней гражданской идеологии (под ней понимается существование общих исторических воспоминаний, воплощенных в мифах или в общих символах и традициях) [24].

Анализ процесса «деколонизации», отразившегося в русской литературе, я выстрою по принципу группирования текстов соответственно вышеуказанным мотивам: тема оккупантов, тема недооцененности, тема языковых и внешних отличий. Практически все писатели, о произведениях которых пойдет речь, отталкивались от реальных событий, свидетелями которых они оказались. Автобиографичность является ведущей характеристикой текстов, связанных с темой постсоветских социально-политических изменений.

«Оккупанты» или «миссионеры»?

Соединение тем оккупации и недооцененности присутствует в повести Нины Бойко¹ «Прощай, Сакартвело! Записки обывателя» (2005). Писательница обратилась не просто к теме русских в Грузии, а к теме перекрещивания двух «национализмов угнетенных групп» (Хардт, Негри): самих грузин и русских жителей Грузии. Повесть дает возможность выявить, как доманифестное межэтническое напряжение, существовавшее в обществе в основном на бытовом уровне и связанное с исторической несправедливостью и разницей культур, при первой же возможности огласки в середине 1980-х гг. переродилось в манифестное и проявилось на политическом уровне в виде антироссийских лозунгов и акций. Со стороны грузин открыто звучали упреки в оккупации и советизации Грузии, а со стороны русских – относительно робкие возражения по поводу недооцененности их индустриальной / цивилизаторской миссии.

Обратившись к впечатлениям переселившейся с Урала русской женщины Нины, прототипом которой явилась сама писательница, Бойко помогает читателю понять изменение восприятия Грузии. Автор поместила свою героиню в гущу событий позднесоветского и постсоветского периодов на периферии. Благодаря Нине, ее беседам с жителями южной страны (русскими и грузинами) читатель знако-

¹ Нина Бойко (1950 г. рожд.) – малоизвестная русская писательница из маленького города Губаха Пермской области, на счету которой несколько повестей, романов, исторических исследований. См.: <http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1805340226> (последнее посещение: 29.09.2016).

мится с особенностями отношения к Грузии: сначала как к раю, где нет хамства и торжествует благополучие,¹ затем, после погружения героини в бытовую среду, как к незнакомому миру, скрывавшемуся за «дружбой народов», в котором сложность отношения грузин к русским и русских к грузинам вскоре выльется в националистические лозунги.

Итак, героиня Нины Бойко вспоминает историю своей семьи, приехавшей в 1968 г. с Урала в Грузию по распределению и оказавшуюся свидетельницей постсоветских столкновений в республике (грузино-абхазский, грузино-южноосетинский конфликты) и всех перипетий (9 апреля 1989 г., Гражданская война в Грузии), предшествовавших обретению независимости². Семья была типичной для советской индустриальной миграции, или, как пишет С. Беляков, «нормальной "экономической" миграции» [26], официальным поводом которой являлось стремление помочь в развитии края. Супруг главной героини строил Худоги-ГЭС, а сама Нина вкладывала свои силы в образование, работая учительницей русского языка и литературы в школе.

Но вскоре на смену старому советскому образу Грузии-рая пришло новое государство, в котором русским не находилось места. Для вскрытия причин межнациональной напряженности, переросшей в вооруженный конфликт, писательница выбрала прием диалога, в котором слова учительницы Нины передают распространенное мнение русского населения, а слова грузина соседа-скрипача Эмзари – точку зрения грузинского населения времен Гамсахурдия. В восприятии Нины из дружеского народа русские превратились для грузин в захватчиков, стремящихся их уничтожить. Это слышно и в словах Эмзари: «Мы не хотим, понимаешь, не хотим больше быть русскими!» [25. С. 123]. Культивируемая в советской памяти спасительная роль Российской империи в истории Грузии для грузин становится объектом забвения. Образ врага стал ассоциироваться с русскими. С ними же население связывало межнациональные конфликты: «Национальная рознь – последняя ставка имперской России!» [Там же. С. 135]. Информация, которая выливалась с гру-

¹ «На взгляд издерганного талоном и очередями человека, здесь есть все, и ни очередей, ни ограничений. <...> Мне приятна неторопливость грузин, готовность объяснить тебе все подробно; нравится, что обращаются ко мне не “гражданочка” или “жэнщина”, а “калбатано”, т.е. “уважаемая”» [25. С. 111–113].

² В основу повести легли личные воспоминания писательницы о Грузии конца 1980 – начала 1990-х гг. (времена Гамсахурдия и времена Шеварднадзе).

зинских телеэкранов, сводилась к оскорблениям и определениям «русские агрессоры и оккупанты», а в быту – «бродяги и маймуни» (с груз. «обезьяна»). Особо агрессивную роль в проявлении антирусских настроений, по мнению автора, проявляли женщины:

Женский национализм еще гаже мужского, женская подлость еще ниже! Они сделали большую работу, они сорвали с места сотни русских людей, заставили уехать неведомо куда, они не жалели ни детей, ни стариков, не жалели могил. Они кричали: «Кто останется – будут батраками!» И они молились Богу, жгли свечи на митингах. Они и с Богом играли. И он не простил [25. С. 140].

«Национализм угнетенной нации» в Грузии проявлялся не только по отношению к русским, но и по отношению к самим грузинам. Это отражалось не на официально-политическом уровне, а на бытовом. Грузины в глазах русских жителей выглядели отсталым народом, который был «оцивилизован» после прихода Российской империи на их землю. Русские жены грузин по закоулкам говорили следующее: «Подлецы грузинские! Всю кровь выпили! Жили в дощатых поросятниках и продолжали бы жить, если бы не русские!» [Там же. С. 134]. В конце текста писательница стремится смягчить острые споры и сводит обвинения своей героини к критике политики (Гамсахурдия, Шеварднадзе, Горбачёва¹), а затем приводит нейтральную точку зрения. На вопрос Нины, о том, действительно ли русские сильно ущемляли достоинство грузин, получает ответ от другого своего знакомого грузина:

– Никто нас не ущемлял, – отмахнулся. – Если наш нейрохирург Датиашвили спас литовскую девочку, то о нем весь мир узнал, хоть он не в Тбилиси, а в Москве. А если наши мешочники таскаются по Союзу, то и стоят, чего стоят. Роланд дал мне веру. Что нам делить? Зачем делить? Зачем обязательно, чтобы свои и чтобы не свои? [Там же. С. 140].

Новые лозунги и настроения стали для рассказчицы неожиданными: произошла «трансформация» советского в русское, «дружба народов» оказалась маской. Нине непонятно, почему советская армия стала для грузин – русской, как будто другие народы в ней не служили, почему раньше грузины стремились получить образование

¹ Для Бойко М.С. Горбачев – не меньший преступник, чем Гитлер, потому что он создал в стране самую «благоприятную почву для нацизма» [25. С. 158].

в России, а сейчас говорят, что это было лишь модой. Советская установка на дружбу народов, в которой сформировалась писательница, сдерживает ее в изображении полного разрыва. Антирусские настроения она смягчает сюжетами о взаимопомощи грузин и русских¹ и отрывками текста, в которых отражаются сожаления по поводу проявления национализма. «Как же это произошло?» – является сквозным вопросом в тексте. Но все же «деколонизация» состоялась. В 1990-е гг. Грузию покинуло большое число русских и русскоязычных жителей. Заканчивается повесть отъездом семьи Нины. И несмотря на фразу «Не уехать отсюда – приросли» [25. С. 155], звучит обида² и произносятся слова: «Прощай, Сакартвело!»³ [25. С. 165]⁴.

Темы исторической несправедливости и недооцененности становятся сквозными и у других авторов: у Вячеслава Морозова в повести «Цхинвал» (2007) и у Юрия Хабибулина «Фуршет на летном поле» (2012).

Вячеслав Морозов (1954–2010)⁵, будучи журналистом и писателем, побывавшим в разных «горячих точках» советского и постсоветского пространства, создает произведение, основанное на собственных воспоминаниях. Повествование ведется от лица рассказчика, а в центре повести стоит главный герой, русский десантник, ставший позже журналистом, – Николай Горячев. В тексте воспоминания рассказчика переплетаются с его советами и умозаключениями, сделанными на основании путешествий по постсоветскому пространству. Если у Бойко мы знакомимся со взглядом русской «эмигрантки», т.е. взглядом изнутри, то у Морозова – со взглядом бывшего русского военного, для которого советские республики – это территория службы, на которой он должен выжить:

¹ Например, во время болезни и Эмзари помогал Нине, и Нина помогала Эмзари.

² «Оплевав и обгадив русских, Грузия уже не дожидется специалистов из России: никто не поедет туда, где тебя эксплуатируют и тебя же обзывают оккупантом. А русские специалисты – самые дешевые, немецких не купишь за триста пятьдесят рублей в месяц» [25. С. 142].

³ Сакартвело – Грузия.

⁴ Забегая вперед, скажу, что следующий шаг, связанный с возвращением в Россию, оказался также нелегким, потому что, как и, например, герой Дениса Гуцко в романе «Русскоговорящий» [20], возвращающиеся русские ощущали себя «второсортными» в России [25. С. 144].

⁵ Вячеслав Валентинович Морозов родился в селе Сидоровка Романовского района Алтайского края. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал журналистом. В «Нашем современнике» в 2004 г. был опубликован его документальный роман «Адмирал ФСБ».

<...> находясь у армян, ты должен говорить, что прилетел сюда именно потому, что сочувствуешь армянам; будешь у азербайджанцев – говоришь то же самое про азербайджанцев. Но воздержись при этом от проклятий в адрес враждующей стороны – когда-нибудь может аукнуться! Грязи друг на друга они и сами выльют немало, когда начнут тебе рассказывать про свои несчастья. Личные эмоции – на самое доньшко, под крышку люка, и – на большой амбарный замок! Запомни: там у каждого своя правда, за эту свою правду они и воюют, и не тебе вмешиваться в процесс и быть судьей. Россию и русских будут проклинать и те, и эти, и пятые, и десятые – это уже внедренная извне мода: русские виноваты во всем [27. С. 92].

Рассказчик не верит в естественное формирование межнациональной напряженности: упреки или обвинения в адрес России он считает навязанными.

В любой бывшей республике Горячев видел перевертыш: «дружба народов» превратилась в конфронтацию между Россией и советскими республиками. Его путешествие – это география национализмов. Например, будучи на Украине с целью сделать репортаж об историческом событии – сносе памятника Ленину, главный герой первым делом интересуется, как сегодня следует отвечать на приветствия украинцев («Здоровеньки булы?»), чтобы избежать агрессии:

– Щас по-другому, – кивнул шофер. – Ты кажешь: «Слава Вкраини!», а тобі кажуть: «Героям слава!» У Ивано-Франькивски одын хлопець-москаль нэ знав, що трэба отвитьты, дак його вбылы, – спокойно добавил он [Там же. С. 93].

«Деколонизация» для украинцев, впрочем, как и для других народов СССР, была связана с уничтожением символики, связывающей с прошлым: свержение памятника Ленину, сжигание партбилетов. Таким образом происходило, казалось, обретение независимости и восстановление исторической справедливости. На бытовом уровне «деколонизация» происходила путем исключения контактов с русскими, например, в такую ситуацию Горячев попал, пытаясь снять квартиру во Львове:

Мыкола заколотил в дверь и стал громко объяснять, что гость хоть и из Москвы, но работает на американское телевидение. Повторил фразу еще пару раз. Дверь открылась. Хозяин теперь уже улыбался и так же жестом попросил пройти в комнату [Там же. С. 94].

Изменение настроений по отношению к «титальной» нации подтверждает начало деконструкции позднесоветского периода, когда культивировавшийся советской властью образ врага в лице США перерождается в образ друга, а образ России – наоборот, в образ врага.

После Львова автор отправляет своего героя в Вильнюс, где происходило схожее: удостоверение сотрудника американской телекомпании стало служить русскому журналисту гарантом безопасности. Для жителей Литвы указанием на историческую несправедливость была дата «1939 год» – намек на пакт Молотова – Риббентропа, после которого в 1940 г. Литва вошла в состав СССР. Как и на Украине, в Литве на улицах появлялись лозунги «Оккупанты, вон из Литвы!» [27. С. 121]. Процесс деколонизации происходил теми же способами, как на Украине и в Грузии: претензии по поводу оккупации территорий и отказа от русского языка.

– Ромас, прости, но ты вроде как издеваешься. Сам же знаешь, что сегодня в Вильнюсе поесть или что-то купить нелитовцу невозможно. В магазине спрашивают и отвечают только по-литовски [27. С. 101].

После Украины и Литвы Горячев прилетает в Грузию и, как оказывается, уже не в первый раз. Морозов, как в свое время и Андрей Битов [17], описывает приезд своего героя в южную страну как возвращение «домой», где его всегда ждут. В разговоре со своим грузинским другом Зурабом Горячев узнает об антирусских настроениях в Грузии, хотя надеялся, что народ не поддастся националистическим лозунгам «Грузия для грузин!» времен президента Гамсахурдия. Герой оказывается в схожей ситуации, как и на Украине или в Прибалтике. Здесь также звучат обвинения в адрес России как страны, оккупировавшей и русифицировавшей Грузию, и умалчивается помощь в развитии края (индустриализация, образование и медицина).

Тема русских как оккупантов и обида на грузин из-за недооценки вклада в развитие республики звучит в повестях и в разных главах романа «Патриоты и негодяи» Юрия Хабибулина¹.

¹ Юрий Далилевич Хабибулин (1953 г. рожд.) родился в Красноярском крае, но его детство и юношество прошли в Грузии, куда он приехал с родителями геологами. В Тбилиси он окончил Политехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика». Проработал инженером, служил в Советской армии. Спустя 40 лет проживания в

В центре всего творчества автора находится судьба 30-летнего русского мужчины с многозначительным для русско-грузинских отношений именем и фамилией – Сергей Есенин. Прототипом героя отчасти является сам писатель. Хабибулин дополняет галерею образов, представленную в ранее приведенных текстах: его герой не русский «эмигрант», как у Бойко, и не приезжий журналист, как у Морозова, а «грузинский» русский, т.е. русский парень, выросший и живущий в Грузии, уважающий устои страны и знающий грузинский язык. Хабибулин в его лице рисует образ некоего Робин Гуда, совершающего героические поступки и защищающего несправедливо обиженных¹. В романе «Патриоты и негодяи» в главе «Апрель 89-го» (2007) Хабибулин констатирует изменения в обществе и обвиняет в этом асоциальные слои (уголовников, мошенников), почувствовавших ослабление власти из Москвы [29]. Криминальные элементы повлекли за собой массы. Самыми удобными для них лозунгами, объединившими население, стали: «Оккупационная армия – вон из Грузии!», «Русский Иван – убирайся домой!», «Грузия – для грузин!» Как и героиня Нины Бойко, Сергей, пережив все перипетии переломного времени, покидает Грузию, что становится главной темой рассказа «Фуршет на летном поле» (2012). И в тексте также звучит тема недооцененности вклада русских в развитие Грузии.

Все негрузины вдруг стали изгоями – оккупантами, гостями, нахлебниками, несмотря на то, что десятки лет работали на этой земле, отдавая ей все свои силы, знания и умения [28. С. 234].

Прибегая к приему диалога «русского» и «грузина», как сделала и Бойко, Хабибулин вводит в текст сцену разговора, завязавшегося на летном поле [Там же. С. 238–239]. Здесь сталкиваются грузинский и русский взгляд на роль в совместной истории: бандиты-грузины обвиняли в оккупации Грузии, а русский вспоминал об оказанной помощи в защите от мусульман и свободе, которую, по его словам, Грузии дал Ельцин.

- Ты же русский?
- Русский.
- Вот и должен отвечать за то, что ваш Ельцин надделал.

Грузии, в 1993 г., на волне отъезда русскоязычных жителей из Грузии, он возвращается в Россию и живет в Белгороде.

¹ Например, в ниже анализируемой повести он героически спас грузина от хулиганов.

– За то, что Ельцин сделал Грузию независимой? – Сергей стался говорить спокойно.

Парень в кедах, наоборот, пытался себя распалить и нес первое, что приходило на ум.

– Нэт, за то, что русские захватили Грузию и командовали тут [28. С. 235]¹.

Разговор бандитов и русской жертвы можно охарактеризовать как разговор «заложников времени», в котором каждый пытался выжить: обвинения «малых» народов связаны с приходом русских на их землю, на что сами русские смотрели как на благородный труд и помощь.

Национальный язык как индикатор

Другой путь «деколонизации» связан с языком. В процессе выстраивания «нового» суверена язык является едва ли не основной определяющей чертой национального государства. Владение или невладение языком определяет причисление к своим или к чужим и, кроме того, объясняет претензии в адрес не знающих его жителей новообразовавшегося государства. Например, у того же Морозова можно прочесть:

Но почему я знаю русский язык, а ты не знаешь грузинский? Ну, ладно, не ты, а те, кто много лет прожил в Грузии, они почему не знают? Что, ниже собственного достоинства?... «Старший» брат не должен знать языка «младшего», да? [27. С. 109].

В период «дружбы народов» непозволительно было концентрировать внимание на акценте как на разделяющем и раздражающем факторе, идентифицирующем разные нации, а после развала СССР нерусская речь или нерусский акцент стали объектами агрессии и причиной проявления национализма. Хотя следует учитывать сложную языковую ситуацию в СССР, где человек, идентифицирующий себя как украинец, мог жить в России и не владеть украинским, так же могло быть с русским, проживающим в Азербайджане и не владеющим русским языком или говорящим с сильным акцентом.

Произведения русской литературы постсоветского периода, к которым я обращаюсь ниже, демонстрируют три тенденции имита-

¹ Абсолютно схожий диалог звучит и у В. Морозова в «Цхинвали».

ции акцента в тексте: первая – это введение акцента как знак подчеркивания национальной принадлежности (например, как в вышеприведенном диалоге у Хабибулина), вторая – как указание на недалекость и чуждость, а третья связана со стремлением развенчать стереотип о том, что люди, говорящие с акцентом, являются необразованными, дикими и принадлежат к криминалу. Тем самым, с одной стороны происходило отталкивание, а с другой – наоборот, стремление удержать в своем поле тех, кого широкие массы, основываясь на стереотипах, идентифицировали как чужих. Например, подтверждением сказанному служат «кавказский» акцент или особый стиль «кавказской» речи, которые использовались авторами в двух случаях: для сближения – поиска подхода к чужим, чтобы быть услышанными, донести до них информацию, или для отталкивания – констатации унижительного пренебрежения и закрепления образов как Других (Саид). Первый случай можно встретить в тексте Юрия Хабибулина. Главный персонаж его произведений Сергей Есенин имитирует грузинскую интонацию языка, прибегая к грузинским словам и апеллируя к местному этосу:

– Батонебо (уважаемые), это раненый. Даже если он в чем-то виноват, его надо сначала вылечить. Потом разбираться. Может, вы ошиблись и это совсем не тот человек, о котором вы подумали. Кроме того, он еще совсем мальчишка, а вы все вашкацы (витязи), взрослые мужчины. Не годится взрослым мужчинам убивать детей. Неправильно это. Я тоже, как мужчина, не могу отойти [31. С. 147].

Целью выбора такого приема является желание Сергея защитить раненного 16–17-летнего грузинского парня от нападок своих же, у которых были иные политические взгляды.

Акцент как повод агрессии нашел место в рассказе Николая Пчелина «Вечный жид» (2001). В нем автор пытается развенчать стереотипы, сложившиеся в российском обществе, о том, что для всех бывших народов СССР Москва – главный «обожеествляемый» объект стремления и что кавказцы дики, а русские цивилизованны. В центре внимания находится история армянина-мигранта, родившегося в Спитаке и, как многие жители разных национальностей бывшего СССР, из-за политических и экономических проблем отправившегося в Россию в поиске заработка. Для рассказчика Москва была «русским Вавилоном», и он ощущал себя кроликом, прыгающим в пасть удаву. Приехав в Россию, чтобы избежать соучастия в армяно-азербайджанском конфликте, рассказчик сам становится

объектом межэтнической неприязни. Он подвергается агрессии со стороны русского офицера в поезде Астрахань – Москва. Образованный дипломатичный кавказец, собирающийся почитать книгу, выдерживает нападки грубого недалекого пьяного русского прапорщика, который кичится военной мощью своей страны:

На вторую ночь пути с полки, противоположной моей верхней, сорвался пьяный русский прапорщик, весь вечер накануне пристававший ко мне: «Куда едешь, хачык?». «Хачиками» русские шовинисты презрительно называют нас, армян, грузин, аджарцев, – всех кавказцев. Ничего бы обидного в этом не было, если бы не интонация, не акцент, которым они обязательно сопровождают свое «хачык». Хотя я по-русски говорю чище и правильнее этого вонючего толстозадого «куска» (так, я слышал, зовут их в армии за неугасимую и неутолимую страсть красть все, что ни попадя), ответить ему: «В Москву, кусок, в Москву!» – я не осмелился. Его налитые водкой свиные глазки были лишены мысли [32. С. 100].

Писатель так поворачивает сюжет, что пьяный русский прапорщик, считающий себя представителем «титульной» нации, не может быть сравнен даже с преступником, вором в законе, потому что тот находится над национальными различиями и определяет добропорядочность людей не по нации, а по поступкам. Пчелин вводит в текст сюжет о воре в законе Батоне (скорее всего, по национальности он грузин, потому что в России было несколько грузинских криминальных группировок, к тому же кличка Батон может происходить от грузинского «батано» – господин), который разбил о голову человека бутылку, за то что тот обозвал «жидом» его адвоката Раскина.

Акцент как знак принадлежности к чужим, но порядочным людям использован в романе Вячеслава Передельского «Перцев дом». Здесь фигурирует образ кавказца – грузина, что становится понятно по указанию на главного героя поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»:

Потомок «витязя» не заставил себя «долго» ждать. Их развелось в туманном городе как тараканов на кухне. Конечно, был он не в тигровой шкуре, добротном черном клифте, в традиционной кепке-аэродроме. <...>

– Понимаешь, ара...

– Нэ ара я, – перебил витязь. – Нэ называй мэнэ так.

– Кацо? – спросил Лева. – Значит, Ладо.

– Шалва я. Тэбе чего? [33. С. 11].

Передельский, несмотря на ироничное повествование, в одном из сюжетов книги обращает внимание читателя на унижительное отношение к кавказцу. Писатель, как и предыдущие авторы, пользуясь приемом противопоставления, рисует образ жуликов, говорящих без акцента, и образ порядочного человека, говорящего с акцентом. Русские воры-аферисты обманным путем продают грузину не золотое, а медное кольцо. Здесь также автор стремится развеять стереотип о говорящих с акцентом как о дикарях и преступниках, тем самым желая удержать людей иных национальностей в многонациональном поле, создававшемся на протяжении многих лет.

Внешность

Третьим способом, который служит «деколонизации», кроме языка и обращения к истории, является концентрация внимания на особенностях внешности и стиля поведения. Национализм проявлялся к тем, кто не соответствует устоявшимся типажам какой-либо нации. Иногда проявление агрессии заканчивается плачевно. Юрий Хабибулин в повести «Небоевые потери» (2014) передал читателю одну из трагических историй. В ней рассказывается о благородном грузине, преданном своей стране и дружбе с русским Сан Санычем (капитаном Александром Александровичем Шабановым). Они вместе воевали в Афганистане. Здесь герои противопоставляются не просто по национальному признаку, но и по поколениям: старшее – советское и младшее – постсоветское. Молодое поколение видится автору аморальным, а старшее – воспитанным в высокогуманных ценностях. Оптимист Сан Саныч приютил и помогал из жалости спивавшемуся, обиженному на весь мир за безденежье и отсутствие счастья Лёнчику. Из-за бесчеловечности, ограниченности и распушенности жертвой Лёнчика стал друг Шабанова – грузин Дато Гвенетадзе, спасший Сан Саныча в Афгане. И здесь акцент становится приметой образованности человека: Дато был военным переводчиком и журналистом, побывавшим после Афгана во многих горячих точках мира. Долгожданная встреча в кафе с дочкой Этери закончилась для Гвенетадзе смертью. Герой, спасшийся на многих войнах, умер от удара в голову пьяного неудачника Лёнчика, который, увидев кавказца в девушкой, не подумал о встрече отца с дочерью, а решил, что это «черножопый клеит их баб» [34]. Главной причиной случившегося стала неславянская внешность кавказца:

Те, кто Дато не знал, легко могли принять его и за кавказца, и за араба, и даже за итальянца, настолько в нем переплелись характерные черты и признаки разных народов, среди которых другу приходилось подолгу жить и не выделяться [34].

Осуждая и обвиняя старшее поколение в появлении таких, как Лёнчик, писатель создает многозначный конец повести. Шабанов, не успевший защитить друга, взял вину на себя. Смена поколений в России повлекла за собой и разное отношение к Другим.

Бытовой национализм, основанный на идентификации лишь по внешним признакам, нашел отражение и у Олега Ларина в сборнике сцен «Пятиречье» (2001). Писатель, как и Пчелин, противопоставляет кавказцам пьяного русского, с которыми ассоциируется образ врага, виновного в коррупции и худшем образе жизни. Кавказцы кажутся маленькими ростом, но коррупцией наносящими большой вред России:

– Кавказские чурки вонючие! Ваши абреки сколько воруют? А мне нельзя? Ишь вы, азерблюды грузиноподобные! – услышал я хрипатый голос одноглазого. И через паузу – звуки схватки... сопение... собачий лай. – Вас надо в ошейник с намордником – и на цепь!.. Сами такие маленькие, а жрут... едрит твою навыворот» [35. С. 132].

Кажущаяся внешняя отсталость становится причиной нападков в рассказе «Жених» (2010) Елены Одиноквой. Здесь речь идет о жизни таджиков, мигрирующих в России. В восприятии русского таджики являются интеллектуально неразвитыми перевозчиками наркотиков и наркоманами: «Хуршед тупой». В сознании русских героев азиаты настолько незначительны, что служат фоном самоутверждения даже для представителей низшей прослойки общества:

Единственная заслуга таджиков – в том, что они дешевле азевов. Они дешевле всех и не пьют. <...> Они помогают любому русскому ваньке чувствовать себя хозяином большой страны. Даже русские бомжи считают, что они круче таджиков [36. С. 133].

Образ чужих связан не только с азиатами, но и с другими народами бывшего СССР. Кульминацией национализма, основанного на претензиях на историческую справедливость, служат обвинения в отношении каждой нации. Автор выстроил сборный образ врага. И с каждым отдельным народом связана своя «вина» перед русскими. Обвинения в адрес Других являются оборонитель-

ной тактикой воображаемого рассказчика, за которой скрывается накопившийся за десятилетия страх быть «уничтоженными»:

Татары дрючили – теперь у них от национальности остались одни фамилии. Грузины и евреи дрючили. Конкретно так. Полстраны отправили в лагеря, а потом еще полстраны продали. Почему-то никто даже не вспоминает, что страной руководил грузин – мол, русские сами себя истребляли, потому что это нация рабов и стукачей. Нет больше грузин и армян, нет татар и евреев, нет чукчей и немцев, есть только русские [36. С. 133].

Итак, вспоминая книгу Эдварда Саида «Ориентализм» (1978), в которой он писал, что Восток способствовал выстраиванию идентичности Запада, следует сказать, что и для новых суверенов, в частности для постсоветской России, образ Других помогал обрести «новую» постсоветскую идентичность. За перемоделированием геополитического пространства последовало и перемоделирование тем в литературе: риторика «дружбы народов» превратилась в риторику национализма, за которым скрывалось желание обрести свое лицо, частично утерянное за период формирования советского человека в позднесоветский период. Во времена гласности зазвучали темы, отразившие расколовшуюся «гармонию» совместного многонационального существования, и начался процесс высвобождения из навязанных советской национальной политикой клише. Зачастую «деколонизация» происходила путем прикрепления унижительных и оскорбительных ярлыков, выдвижения несправедливых обвинений. Все это происходило из-за чувства «второсортности», скопившегося за годы советской власти. Оно было свойственно и русским, и нерусским. Осколками мозаики, теряющими связи с другими народами бывшего СССР, явились упреки в исторической несправедливости, в невладении языком нового национального государства или в иной внешности. Процесс «деколонизации» являлся не единственным вектором выстраивания отношений. Также присутствовало и желание писателей сдерживать националистические тенденции, почему они и прибегали, например, к приему имитации нерусского акцента как индикатора порядочности. Русская литература 1990–2000-х гг. пронизана двумя темами: темой национализма как ступени к «деколонизации» и обретению «новой» национальной идентичности и темой растерянности, курсирующей между воспоминаниями о прежней дружбе и реальностью нового времени.

Литература

1. *Carey H., Raciborski R.* Postcolonialism: A Valid Paradigm for the Former Sovietized States and Yugoslavia? // *East European Politics & Societies*. 2004. Vol. 18, №. 2. P. 191–235.
2. *Chari S., Verdery K.* Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War // *Comparative Studies in Society and History*. 2009. Vol. 51, №. 1. P. 6–34.
3. *Korek J.* Central and Eastern Europe from a Postcolonial Perspective // *Korek J.* (ed.). *From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective*. Stockholm: Södertörns högskola, 2007. P. 5–22.
4. *Kuhiwczak P.* How postcolonial is post-communist translation? URL: http://wrap.warwick.ac.uk/121/1/WRAP_Kuhiwczak_9070972-140808-Postcommunist_tr_final.pdf
5. *Stefanescu B.* Postcommunism/Postcolonialism: Siblings of Subalternity. Bucharest: University of Bucharest Publishing House, 2013. 249 p.
6. *Tlostanova M., Mignolo W.* Global Coloniality and the Decolonial Option // *Kult*. 2009. №. 6. P. 130–147.
7. *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung – Geschichte – Zerfall. München: Verlag C.H. Beck, 1992. 395 s.
8. *Kannелер А.* «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // *Ab Imperio*. 2000. № 1. С. 15–32.
9. *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001. 528 p.
10. *Мартин Т.* Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // *Ab Imperio*. 2002. № 2. С. 55–87.
11. *Moore D. Ch.* Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // *PMLA*. 2001. Vol. 116. 1. P. 111–128.
12. *Гюстанова М.* Жить никогда, писать ниготкуда: Постсоветская культура и эстетика транскulturации. М.: УРСС, 2004. 416 с.
13. *Гусейнов Г., Драгунский Д.* Новый взгляд на старые истины // *Ожог родного очага*. М., 1990. С. 7–28.
14. *Азадовский К.* Переписка из двух углов Империи // *Вопросы литературы*. 2003. № 5. С. 3–33.
15. *Битов А.* Грузинский альбом. Тбилиси: Мерани, 1985. 222 с.
16. *Астафьев В.* Ловля пескарей в Грузии // *Наш современник*. 1986. № 5. С. 123–141.
17. *Чхаидзе Е.* «Русский имперский человек» в «провинции»: Дискурс «Россия – Грузия» в книге Андрея Битова «Империя в четырех измерениях» // *Дружба народов*. 2014. № 10. С. 214–236.
18. *Мамедов М.* Массовые стереотипы и предрассудки в национальных историях и представлениях о прошлом (На примере «лица кавказской национальности») // *Национальные истории в советском и постсоветских государствах / под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., АИРО-XX, 2003. С. 103–113.*
19. *Чхаидзе Е.* Память о «Стране»: роман Н.Е. Соколовской «Литературная рабыня: будни и праздники» // *Вопросы литературы*. 2016. № 3. С. 160–174.
20. *Чхаидзе Е.* Грузинская тематика в русской литературе постсоветского периода // *Борис Пастернак и Тициан Табидзе: дружба поэтов как диалог культур: сб. по*

материалам конференции / сост. Н.А. Громова, Г.В. Лютикова; отв. ред. Г.В. Лютикова. М., 2016. С. 178–193.

21. Чхайдзе Е. «Homo cartvelicus» Василия Димова // *Literary Researches*. 2016. № 36. С. 255–268.

22. Хардт М. Негри А. Империя. М.: Практикс, 2004. 440 с.

23. Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983. 224 p.

24. Estel B. *Nation und Nationale identität*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. European Commission, 2002. 516 s.

25. Бойко Н. Прощай, Сакартвело!: Записки обывателя // *Наш современник*. 2005. № 4. С. 110–165.

26. Беляков С. Журнальная полка Сергея Белякова // *Урал*. 2005. № 7. URL: <http://magazines.russ.ru/ural/2005/7/tt13.html>

27. Морозов В. Цхинвал // *Наш современник*. 2007. № 1. С. 87–117.

28. Хабibuлин Ю. Фуршет на летном поле // *Молодая гвардия*. 2012. № 4. С. 233–249.

29. Хабibuлин Ю. Апрель 89-го. URL: <https://proza.ru/2014/07/18/926>

30. Хабibuлин Ю. Патриоты и негодяи. URL: http://samlib.ru/h/habibulin_j_d/

31. Хабibuлин Ю. Брат // *Наш современник*. 2008. № 4. С. 142–147.

32. Пчелин Н. Вечный жид // *Знамя*. 2001. № 6. С. 98–109. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/2001/6/pchel.html>

33. Передельский В. Перцев дом // *Нева*. 1992. № 5. С. 8–116.

34. Хабibuлин Ю. Небоевые потери. URL: http://zhurnal.lib.ru/h/habibulin_j_d/indexdate.shtml

35. Ларин О. Пятиречие. Сцены из захолустной жизни // *Новый мир*. 2001. № 2. С. 107–133. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/2/larin.html

36. Одинокова Е. Жених // *Дружба народов*. 2010. № 8. С. 129–138. URL: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/8/od11-pr.html>

SOVIET SPLINTERS: NATIONAL DISCOURSE AND ITS ROLE IN POST-SOVIET “DECOLONIZATION”

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 190–213. DOI: 10.17223/24099554/8/10

Elena K. Chkhaidze, Ruhr University (Bochum, Germany). E-mail: elena.chkhaidze@ruhr-uni-bochum.de

Keywords: Russian postsoviet literature, national question, topic of Others, A. Bitov, V. Astaf'ev, N. Boyko, Yu. Khabibulin, E. Odinkova, V. Morozov, V. Peredelskiy, O. Larin, N. Pchelin.

Soviet cultural and political space was represented as a mosaic fastened with ideology of “friendship of peoples”. In the period of Glasnost’ the mosaic broke against the freedom of speech. The double ideological standards existing in the Soviet time and covered with a mask of “friendship of peoples” were opened. In the last years of the Soviet Union there appeared texts that were a clear demonstration of the broken-up “harmony”. During the first post-Soviet decade national discourse became main in the Russian literature.

The most discussed were questions which had not been discussed earlier, or reflections in books had other forms, for example: the national question or the topic of Others (A. Bitov, V. Astaf'ev, N. Boyko, Yu. Khabibulin, E. Odinkova, V. Morozov, V. Peredelskiy, O. Larin, N. Pchelin). In the article the author researches two fields of reflection in con-

temporary Russian literature: (1) reflection on the friendly relations between the peoples of the former USSR and (2) the tendency of release / “decolonization” from the models of international relations imposed by the Soviet ideology of “friendship of peoples”. Reflection of a negative attitude towards people of other nationalities served as the release and formation of a new sovereign. It is important that not only the “periphery” aspired to independence, but the “metropolis” also wanted to be freed from its past roles. The Russian writers describe post-Soviet wars and anti-Russian demonstrations in Ukraine, Georgia and in the Baltic states. Conversely, they describe cases of aggressive attitude to non-Russians in Russia. Thus is formed the new image of the enemy: for Russians it is the former peoples of the USSR, and for non-Russians it is Russians. The author has identified some ways of “decolonization” / release from the old relations: criticism because of historical injustice, criticism of not knowing the language, criticism because of external differences. Examples of texts are given for each of the ways. The analysis of the new texts has helped to track two post-Soviet tendencies in Russian literature: the theme of nationalism and the theme of confusion between the memories of old friendship and the reality of the new time.

References

1. Carey, H. & Raciborski, R. (2004) Postcolonialism: A Valid Paradigm for the Former Sovietized States and Yugoslavia? *East European Politics & Societies*. 18:2. pp. 191–235.
2. Chari, S. & Verdery, K. (2009) Thinking between the Posts: Postcolonialism, Post-socialism, and Ethnography after the Cold War. *Comparative Studies in Society and History*. 51:1. pp. 6–34.
3. Korek, J. (2007) Central and Eastern Europe from a Postcolonial Perspective. In: Korek, J. (ed.). *From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective*. Stockholm: Södertörns högskola.
4. Kuhiwczak, P. (n.d.) *How postcolonial is post-communist translation?* [Online] Available from: http://wrap.warwick.ac.uk/121/1/WRAP_Kuhiwczak_9070972-140808-Postcommunist_tr_final.pdf.
5. Stefanescu, B. (2013) *Postcommunism/Postcolonialism: Siblings of Subalternity*. Bucharest: University of Bucharest Publishing House.
6. Tlostanova, M. & Mignolo, W. (2009) Global Coloniality and the Decolonial Option. *Kult.* 6. pp. 130–147.
7. Kappeler, A. (1992) *Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung – Geschichte – Zerfall* [Russia as a multi-ethnic empire. Genesis - History - Decay]. Munich: Verlag C.H. Beck.
8. Kappeler, A. (2000) “Rossiya – mnogonatsional’naya imperiya”: nekotorye razmyshleniya vosem’ let spustya posle publikatsii knigi [“Russia as a multinational empire”: some reflections eight years after the publication of the book]. Translated from German. *Ab Imperio*. 1. pp. 15–32.
9. Martin, T. (2001) *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the So-viet Union, 1923–1939*. Ithaca: Cornell University Press.
10. Martin, T. (2002) Imperiya pozitivnogo deystviya: Sovetskiy Soyuz kak vysshaya forma imperializma? [The Empire of Positive Action: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism?]. Translated from English. *Ab Imperio*. 2. pp. 55–87.
11. Moore, D. Ch. (2001) Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. *PMLA*. 116:1. pp. 111–128.

12. Tlostanova, M. (2004) *Zhit' nikogda, pisat' niotkuda. Postsovetskaya kul'tura i estetika transkul'turatsii* [To live never, to write from nowhere. Post-Soviet culture and aesthetics of transculturation]. Moscow: URSS.
13. Guseynov, G. & Dragunskiy, D. (1990) Novyy vzglyad na starye istiny [A new view of the old truths]. In: Kobo, H. & Shungite, M. (eds) *Ozhog rodnogo ochaga* [Burn of the native hearth]. Moscow: Progress.
14. Azadovskiy, K. (2003) Perepiska iz dvukh uglov Imperii [Correspondence from two corners of the Empire]. *Voprosy literatury*. 5. pp. 3–33.
15. Bitov, A. (1985) *Gruzinskiy al'bom* [The Georgian album]. Tbilisi: Merani.
16. Astaf'ev, V. (1986) Lovlya peskarey v Gruzii [Catching minnows in Georgia]. *Nash sovremennik*. 5. pp. 123–141.
17. Chkhaidze, E. (2014) “Russkiy imperskiy chelovek” v “provintsii”. Diskurs “Rossiya – Gruzii” v knige Andrey Bitova “Imperiya v chetyrekh izmereniyakh” [“Russian Imperial Man” in the “province”. Discourse “Russia – Georgia” in Andrei Bitov’s book “The Empire in Four Dimensions”]. *Druzhba narodov*. 10. pp. 214–236.
18. Mamedov, M. (2003) Massovye stereotipy i predrassudki v natsional'nykh istoriyakh i predstavleniyakh o proshlom. (Na primere “litsa kavkazskoy natsional'no-sti”) [Mass stereotypes and prejudices in national histories and representations about the past. (On the example of “a person of a Caucasian nationality”). In: Aymermakher, K. & Boryugov, G. (eds). *Natsional'nye istorii v sovetskom i postsovetskikh gosudarstvakh* [National histories in the Soviet and post-Soviet states]. Moscow: Fond Fridrikha Naumanna, AIRO-XX.
19. Chkhaidze, E. (2016) Pamyat' o “Strane”: roman N. E. Sokolovskoy “Literaturnaya rabynya: budni i prazdniki” [Memory of “The Country”: N. Sokolovskaya’s novel “The Literary Slave: Everyday Life and Holidays”]. *Voprosy literatury*. 3. pp. 160–174.
20. Chkhaidze, E. (2016) Gruzinskaya tematika v russkoy literature postsovetskogo perioda [Georgian subjects in Russian literature of the post-Soviet period]. In: Lyutikova, G.V. (ed.) *Boris Pasternak i Titsian Tabidze: druzhba poetov kak dialog kul'tur: Sbornik po materialam konferentsii* [Boris Pasternak and Titian Tabidze: friendship of poets as a dialogue of cultures: A collection of materials on the conference]. Moscow: Izdatel'stvo “Literaturnyy muzey”.
21. Chkhaidze, E. (2016) “Homo cartvelicus” Vasiliya Dimova [“Homo cartvelicus” by Vasily Dimov]. *Literary Researches*. 36. pp. 255–268.
22. Hardt, M. & Negri, A. (2004) *Imperiya* [Empire]. Moscow: Praksis.
23. Anderson, B. (1983) *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
24. Estel, B. (2002) *Nation und Nationale identität*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. European Commission.
25. Boyko, N. (2005) Proshchay, Sakartvelo! Zapiski obyvatelya [Farewell, Sakartvelo! Notes of a common man]. *Nash sovremennik*. 4. pp. 110–165.
26. Belyakov, S. (2005) Zhurnal'naya polka Sergeya Belyakova [The magazine shelf of Sergei Belyakov]. *Ural*. 7. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/ural/2005/7/tt13.html>.
27. Morozov, V. (2007) Tskhinval [Tskhinval]. *Nash sovremennik*. 1. pp. 87–117.
28. Khabibulin, Yu. (2012) Furshtet na letnom pole [Cocktail party on the airfield]. *Molodaya gvardiya*. 4. pp. 233–249.
29. Khabibulin, Yu. (2007) *Aprel' 89-go* [The April of '89]. [Online] Available from: <http://proza.ru/2014/07/18/926>.

30. Khabibulin, Yu. (2007) *Patrioty i negodyai* [Patriots and Scoundrels]. [Online] Available from: http://samlib.ru/h/habibulin_j_d/
31. Khabibulin, Yu. (2008) Brat [Brother]. *Nash sovremennik*. 4. pp. 142–147.
32. Pchelin, N. (2001) Vechnyy zhid [The Eternal Jew]. *Znamya*. 6. pp. 98–109. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/znamia/2001/6/pchel.html>.
33. Peredel'skiy, V. (1992) Pertsev dom [Pertsev House]. *Neva*. 5. pp. 8–116.
34. Khabibulin, Yu. (n.d.) *Neboevye poteri* [Non-combat losses]. [Online] Available from: http://zhurnal.lib.ru/h/habibulin_j_d/indexdate.shtml
35. Larin, O. (2001) Pyatirechie. Stseny iz zakhlostnoy zhizni [The Pentateuch. Scenes from the Provincial Life]. *Novyy mir*. 2. pp. 107–133. [Online] Available from: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/2/larin.html.
36. Odinkova, E. (2010) Zhenikh [The Bridegroom]. *Druzhba narodov*. 8. pp. 129–138. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/8/od11-pr.html>.

РЕЦЕНЗИИ

УДК 821.161.1.09

DOI: 10.17223/24099554/8/11

Т.А. Васильева

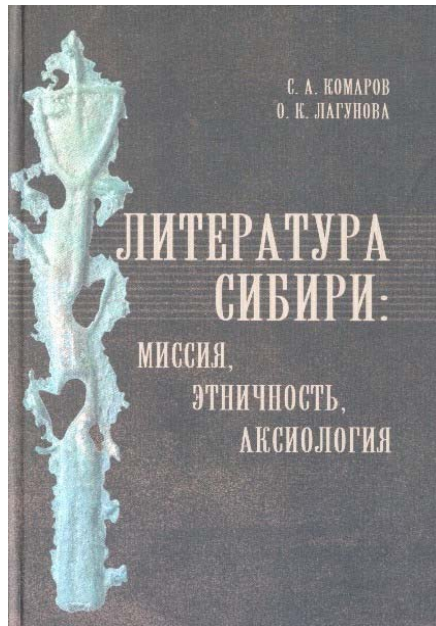
В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНСТАНТ

(Рецензия на книгу: Комаров С.А., Лагунова О.К. Литература Сибири: миссия, этничность, аксиология. Тюмень, 2016. 200 с.)

Статья посвящена исследовательской концепции монографии С.А. Комарова и О.К. Лагуновой «Литература Сибири: миссия, этничность, аксиология» (2016). Акцентируется внимание на оригинальных методологических подходах к своеобразию региональной словесности, отмеченных стремлением выявить ее субстанциональное ядро в ценностно-мировоззренческом плане и в плане поэтики.

Ключевые слова: русская литература, литературы народов Сибири, литературный регионализм, эссенциализм, аксиологический подход.

Современное российское сибиреведение разнообразно в исследовательских подходах. В нем соседствуют работы, опирающиеся на концепции «локального текста», геопозитики, «областных гнезд», на методологии мультикультурного и постколониального анализа. Монография С.А. Комарова и О.К. Лагуновой «Литература Сибири: миссия, эт-



ничность, аксиология» (Тюмень, 2016)¹ стоит в этом ряду особняком. В большинстве своем, что отражает общие векторы развития литературной регионалистики, сибиреведение, с теми или иными вариантами, склоняется к конструктивистскому видению, к контекстно-историческому рассмотрению локальной идентичности и ее вызреванию во взаимодействии различных мировоззренческих и художественных программ.

С.А. Комаров и О.К. Лагунова исходят из иной, эссенциалистской посылки, подразумевающей наличие у литературы Сибири собственной миссии, чьей основой является специфика ценностных ориентиров. Будучи постулирован в кратком введении, этот подход реализуется в первых трех главах книги в анализе ряда конкретных произведений сибирских писателей. Концептуальные экскурсы вынесены авторами в завершающую часть, прежде всего в параграф «Научные версии феномена литературного творчества коренных малочисленных народов» (С. 145–156).

Обозревая позднесоветские концепции «ускоренного развития» младописьменных сибирских литератур и их постсоветские модификации, концепцию «мифоутопической компенсации» Д. Самсона, возможности постколониального рассмотрения и концепции «колониального вызова» и «колониальной адаптации», утверждающие взгляд на «творчество русскоязычных писателей ненцев, манси и хантов как голос обреченного мира», как «выбор языка победившей культуры» (С. 148), С.А. Комаров и О.К. Лагунова настаивают на приоритетности иного взгляда:

<...> не проблема погибающего и обреченного народа, не идея проигравшей культуры руководит сегодня писателем из малочисленных народов Севера, а ощущение своей миссии по отношению к человечеству и всей громадной России. России предлагается опыт созидательного выживания в экстремальных условиях как опыт проверенный, перспективный, необходимый (С. 151).

Истоком подобного миссионерства авторы видят советский этос, когда писатель ощущает себя представителем и органом своего народа, что соединяется с наследием «прогностической, магической, защитной и адаптивной функции шаманства языческих народов» (С. 153).

В ценностном плане подобная идентичность предполагает доминанту онтологического, надличностного начала, видение реальности

¹ Далее при ссылках на это издание страницы указываются в тексте.

сквозь призму космических законов, родовой судьбы, этических универсалий. В плане эстетическом «письменное художественное творчество создало широкие возможности и действенные механизмы встраивания бытийных оснований традиционных культур ненцев и хантов в интенсифицирующуюся письменно-знаковую среду современного человечества» (С. 153). Их воплощением в поэтике являются мифологические структуры, насыщенные религиозным символизмом.

Эти ретроспективно, по композиции книги, сформулированные посылки в начальных главах растворены в очерках эстетики и поэтики русских и русскоязычных авторов Сибири второй половины XX в. Писателем, представляющим истоки подобного онтологически-мессианского сознания, выступает П.П. Ершов с его знаменитой сказкой «Конек-горбунок», обращение к которой закольцовывает первый и последний параграфы монографии.

Глубинные интенции замечательно тонкого историко-литературного и поэтологического анализа «Конька-горбунка» («Русская сказка П.П. Ершова “Конек-горбунок”») (С. 7–29) в полной мере раскрываются только в контексте всей книги. Феномен сказки, созданной девятнадцатилетним студентом, определяется авторами прежде всего мощной космическо-исторической мифологией, основанной на «библейском мирочувствовании» (С. 28). В сюжетном построении «Конька-горбунка» выявляется аллегорическая основа взаимодействия «Духа Человеческого и Природы», проходящего фазы соперничества, покорения и искупления и сопровождаемого национально-историческими приметами разных эпох. Новые аспекты религиозного смысла сказки открывают акцентированные С.А. Комаровым и О.К. Лагуновой библейские проекции на Книгу Захарии, Книгу Иова, Откровение Иоанна Богослова, Книгу Ионы.

Закономерно, что подобный потенциал «Конька-горбунка» подвигает на активное его использование, и здесь авторы отказываются от эссенциалистского подхода в пользу конструктивистского, вступая на путь «изобретения традиции» и превращая сказку в одно из слагаемых «символического капитала» Тюмени («Тюмень и символический капитал: проблемы культурной геостратегии» (С. 180–182). Одна из возможных технологий этого превращения – методико-педагогическая – показывается в концепции школьного урока, посвященного творчеству Ершова («Наследие писателя и современный урок (навстречу Петру Ершову)» (183–188).

Важная посылка книги состоит в постулировании глубинной аксиологической близости сибирских писателей, будь то представители литератур северных народов А.П. Неркаги, Е.Д. Айпин, Ю.К. Вэлла или А.В. Вампилов, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин. Концептуально она обосновывается в сопоставлении творчества А.П. Неркаги и В.Г. Распутина («В.Г. Распутин и А.П. Неркаги: национальная идентичность и проблемы типологии» (С. 80–94), где «обнаруживается системное совпадение параметров»: «выражение родового сознания», выход к «бытийным проблемам», воплощение народной космогонии как «модели должного человеческого бытия», «позитивно-созидательный пафос творчества» (С. 81–82). Причем если русские авторы в перестроечный и постсоветский период испытывают кризис онтологического сознания, то «русскоязычные писатели первого послевоенного поколения ненецкой и хантыйской литератур закрепили и развили в 1980–2000-е гг. опыт именно онтологических исканий российской культуры, доказали его художественную плодотворность» (С. 82).

Анализ повести А.П. Неркаги «Молчащий» на фоне мифопоэтики распутинского «Прощания с Матерой» демонстрирует близость писателей в понимании природы, родовой преемственности, отношения к жизни и смерти, феномена избранничества, при том что поэтика А.П. Неркаги гораздо более активно ориентирована на ненецко-хантыйскую языческую космогонию, ее циклические возвращения, перетекание физических состояний, творящую роль культурного героя.

Важной составляющей подобной поэтики и стоящего за ней авторского мировоззрения является неоднократно акцентированный в монографии момент сознательного конструирования. Для А.П. Неркаги ненецкая мифология и народная культура – объект не столько наследования, сколько реконструкции и даже «изобретения», в том числе за счет синтеза с христианскими символами и мифологемами и модернистскими эзотерическими концепциями (Д. Андреев). Думается, более внимательное разделение в «Молчащем» и творчестве А.П. Неркаги в целом традиционалистского и «изобретенного» – предмет дальнейших интересных разысканий.

Сопоставительный анализ позволил С.А. Комарову и О.К. Лагуновой выделить две линии сибирского онтологического письма, в случае русских писателей возводимого к постхристианскому сознанию, испытывавшему влияние современной культуры, а в случае рус-

скоязычных писателей коренных народов – к сознанию мифологическому, обращенному напрямую к космическим силам:

Опыт русской литературы национальные русскоязычные литературы рассматривали (в силу законов эйдетической поэтики – каноничность, риторичность, определенность пафоса, тематический принцип жанрообразования) как общий фонд принятых читателем официальных литературных форм, пригодных для использования в собственно национальных целях. Русскоязычность выступала гарантом их освященности для вовлечения в разговор не с русским читателем, а с высшими силами мироздания (С. 94).

Чрезвычайно показательный материал для демонстрации внутренних различий этих двух линий авторы предлагают в параграфе «Взаимодействие этнокультурных сознаний: опыт исследования» (С. 156–164), где обращаются к пометам известного прозаика, секретаря Тюменского отделения Союза писателей К.А. Лагунова на издании романа Е.Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» (М., 1990). Их совокупность позволяет сделать вывод о непонимании представителем русского литературного сознания художественной системы нефигуративного, лишённого сюжетной динамики и устремленного к родовой памяти типа романа. Симметричную реакцию, подчеркнем, отмечают С.А. Комаров и О.К. Лагунова в рецепции распутинского «Прощания с Матерой» А.П. Неркаги, которой кажутся недостаточными христианский персонализм и опосредованная религиозная символика: «Я испытывала разочарование: неужели даже такой серьезный писатель, как Распутин, ничего выше Бога не чувствовал?» (С. 87).

Подобные сближения и удаления мотивируют дробную композицию монографии, где варианты «сибирского» художественного сознания раскрываются в аспекте универсализирующего замысла произведения (глава 1), феномена избранничества (глава 2), репрезентации национального мира в художественном целом текста (глава 3), социальном функционировании словесности (глава 4).

Имплицитным сюжетом в осмыслении творчества русских писателей выступает у С.А. Комарова и О.К. Лагуновой поиск онтологической почвы, способной преодолеть кризисные духовные явления и вернуть единство национальному миру. В случае драматургии А.В. Вампилова («Пьесы А.В. Вампилова “Провинциальные анекдоты” и “Утиная охота”») (С. 29–56) это воплощается в поиске жанровой модели, способной соединять экзистенциальную достоверность,

социальную аналитичность и оперирование культурными символами. Тонко проведенный анализ мотивного состава и творческой истории пьес показывает движение драматурга к обобщающему замыслу, который передает «хоровую», коллективную национальную жизнь и связь поколений. Для В.Г. Распутина авторы акцентируют важность экологической, в широком смысле, установки, нацеленной на гармонизацию человеческого мира в его отношениях с миром природным («В.Г. Распутин как экограф» (С. 95–101). В творчестве В.М. Шукшина («Киноповесть В.М. Шукшина “Калина красная” и повесть для театра “Энергичные люди”» (С. 102–111] С.А. Комаров и О.К. Лагунова прослеживают динамику образов национальной воплощенности, связанной с крестьянскими традиционными ценностями (Егор Прокудин), и национальной развоплощенности, погруженности в антиценностный мир (Губошлеп, герои «Энергичных людей»). Всех трех писателей в концепции монографии сближает прямая обращенность к народной жизни, органом выражения которой они ощущают себя.

У авторов коренных народов Сибири эта тенденция достигает высочайшей степени, превращая писательскую личность в посредника между космическими силами и миром людей. В системе образов это воплощается в виде избранничества героя, которым может выступать как человек, так и животное – специфическое наследие языческого анимизма («Феномен избранности культурного героя (Е. Айпин, Ч. Айтматов, А. Неркаги)» (С. 57–67) и «Изображение животного как избранного (Е. Айпин, Ч. Айтматов, А. Неркаги)» (С. 67–80). Причем мифологические проекции Ч. Айтматова значительно отличаются от прямого мифологизма Е.Д. Айпина и А.П. Неркаги, где герой является не заложником искаженного мира, обреченным на трагическую гибель, а подлинным демиургом, открывающим путь онтологического восстановления.

Ряд экскурсов третьей главы («Рассказ Е.Д. Айпина “Русский Лекарь”», «Книга рассказов Е.Д. Айпина “Река-в-Январе”» и «Малые формы поэтов народов Западной Сибири» (С. 111–144) раскрывают своеобразие мифологического письма авторов коренных народов. Эпическая обобщенность, поглощение исторического легендарным, универсальность времени и пространства, синкретичность субъектной организации нарратива, стихия личностных превращений, насыщенная символика, преодолевающая границы человеческого и космического, – все это, по мнению

ученых, восходит к подлинно мифологическому пониманию Слова как органа самого бытия.

Представленная в монографии концепция базируется в первую очередь на имманентном рассмотрении художественных миров, лишь в отдельных эпизодах выходя в плоскость их биографического генезиса и культурного функционирования, что вполне органично для эссенциалистской установки. Самотождественность ценностных констант, выводимых преимущественно из религиозных оснований, как христианских, так и языческих (иногда в их синтезе), позволяет увидеть литературу Сибири как своеобразный «заповедник» исконных культурных начал и пространство реализации сюжета «воскресения», столь крепко сросшегося с восприятием Сибири в национальном культурном сознании.

IN SEARCH FOR NATIONAL CONSTANTS (BOOK REVIEW: KOMAROV, S.A. & LAGUNOVA, O.K. (2016) *LITERATURA SIBIRI: MISSIYA, ETNICHNOST', AKSIOLOGIYA* [LITERATURE OF SIBERIA: MISSION, ETHNICITY, AXIOLOGY])

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 214–220. DOI: 10.17223/24099554/8/11

Tatyana A. Vasilyeva, Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: tatiana_w_1988@mail.ru

Keywords: Russian literature, literature of the peoples of Siberia, literary regionalism, essentialism, axiological approach.

The article discusses the research concept of the monograph *Literatura Sibiri: missiya, etnichnost', aksiologiya* [Literature of Siberia: Mission, Ethnicity, Axiology] (2016) by S.A. Komarov and O.K. Lagunova. Attention is focused on original methodological approaches to the features of regional literature marked by the desire to identify its substantial core in terms of axiology, world outlook and poetics.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 39+82.091

DOI: 10.17223/24099554/8/12

П.В. Алексеев

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛЛОКВИУМ «СИБИРЬ КАК ПОЛЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: ЛИТЕРАТУРА, АНТРОПОЛОГИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ЭТНОЛОГИЯ» («LA SIBÉRIE COMME CHAMP DE TRANSFERTS CULTURELS: LITTÉRATURE, ANTHROPOLOGIE, HISTORIOGRAPHIE, ETHNOLOGIE»)

Статья обзореваает проблематику и содержание докладов научного русско-французского коллоквиума «Сибирь как поле межкультурных взаимодействий: литература, антропология, историография, этнология / La Sibérie comme champ de transferts culturels: Littérature, anthropologie, historiographie, ethnologie», состоявшегося в Горно-Алтайске на Телецком озере 12–17 июня 2017 г. Главной целью коллоквиума явился анализ феноменов реинтерпретации и ресемантизации объектов сибирской, в особенности алтайской, культуры, перемещающихся из одного культурного и национального контекста в другой. Работа коллоквиума проходила в рамках четырех секций: «Сибирь как исследовательский конструкт: антропология и историография», «Сибирь и духовные практики», «Сибирские языки и этносы», «Литературное освоение Сибири и сибирский миф в русской и европейской культуре».

Ключевые слова: русско-французский коллоквиум, межкультурные взаимодействия, Сибирь, литература, антропология, историография, этнология.

С 12 по 17 июня 2017 г. на Телецком озере прошел междисциплинарный русско-французский коллоквиум, посвященный проблемам культурного трансфера в Сибири, и в частности на Алтае. Организаторами выступили: Мишель Эспань, глава Labex Transfers

(Лаборатория «Культурный трансфер» Национального центра научных исследований Франции, *École normale supérieure*), Екатерина Дмитриева (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН), Ольга Лебедева (Национальный исследовательский Томский государственный университет) и Павел Алексеев (Горно-Алтайский государственный университет). В ходе коллоквиума на языковом, литературном, антропологическом, этнографическом и историческом материале были обсуждены вопросы, составляющие проблематику межкультурного взаимодействия и межкультурной диффузии. насыщенная работа коллоквиума проходила в рамках четырех секций: «Сибирь как исследовательский конструкт: антропология и историография», «Сибирь и духовные практики», «Сибирские языки и этносы», «Литературное освоение Сибири и сибирский миф в русской и европейской культуре». Для участия в коллоквиуме были приглашены известные российские и французские специалисты, имеющие большой научный опыт изучения в области теории и истории межкультурных взаимодействий, исследования сибирского шаманизма и сибирской антропологии.

В своем вступительном слове М. Эспань, один из авторов концепции культурных трансферов и идейный вдохновитель сибирского коллоквиума, отметил, что главной целью мероприятия является анализ феноменов реинтерпретации и ресемантизации объектов культуры, перемещающихся из одного культурного и национально-го контекста в другой: «Совершенно очевидно, что Алтай и – шире – Сибирь представляют особый интерес для исследователей культурного трансфера. Располагаясь между русским миром, частью которого она является, и миром китайским и монгольским, с которым она граничит, Сибирь являет собой соединительное звено между Европой и Азией, будучи поистине хранилищем языков, религий, этносов, отношения между которыми, являя собой часть местной истории, но также и истории евразийской, содержат еще очень много неизученного». Приведем обзор наиболее значимых докладов, послуживших основой оживленной дискуссии.

Первая секция «Сибирь как исследовательский конструкт: антропология и историография» была открыта докладом Мишеля Эспаня «Германия эпохи Просвещения и немецкие исследователи Сибири», в котором подчеркивается важность сибирской темы для таких немецких ученых, как Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, Г.В. Стеллер, К.Г. Мерк и П.С. Паллас. По мысли М. Эспаня, кропотливое

изучение этой новой для немецкой науки XVIII в. темы позволило выйти на новый уровень понимания этнических, философских и религиозных вопросов ориентальных пространств Российской империи. Именно в этот период возникает понимание того, что в основе национальной идентичности народов лежат язык и мифология.

Константин Банников (Антропологический исследовательский центр ARC, г. Хельсинки) представил доклад «Плато Укок: перекресток эпох и культур», в котором сообщил о результатах своей антропологической экспедиции на плато Укок (высокогорное плато на юге Республики Алтай). В ходе наблюдения кочевой жизни укокских казахов К. Банников обнаружил многочисленные особенности стратегии кочевой миграции, основанные на использовании зимних пастбищ. В частности, докладчик пояснил, что для кочевника миграция – это своего рода праздник, предполагающий поведение, ориентированное на презентацию престижа, главным показателем которого является принцип естественного отбора среди животных, символически подчеркиваемый их хозяевами как культурная стратегия. Фактор естественного отбора сознательно воспринимается укокскими казахами как семиотический очаг культурной идеологии.

Клодин Коэн (Национальный центр научных исследований Франции, Париж) в докладе «Денисова пещера: перекресток палеолитического периода и палеоантропологических исследований» сообщила о современном состоянии междисциплинарных исследований находок в Денисовой пещере на Алтае, свидетельствующих о доисторическом разнообразии поздних плейстоценовых гомининов, об их эволюции и маршрутах, о том, что от них унаследовал вид *Homo sapiens*. Алтай сегодня, по мысли К. Коэн, важный кросс-пункт не только для истории рода *Homo*, но и для формулирования современных теорий палеоантропологии, доисторической археологии и палеомолекулярной биологии, которые теснейшим образом связаны между собой.

В докладе Никиты Константинова (Горно-Алтайский государственный университет) «Изобразительное искусство населения Центральной Азии эпохи раннего Средневековья» прозвучала мысль о том, что огромные пространства, объединенные под властью тюркских народов от Кореи на Востоке и до Черного моря на Западе, стали единым пространством, на котором распространились общие культурные элементы, объединяющие различные формы искусства (наскальные рисунки, каменные скульптуры, предметы прикладного

искусства). Одна из самых важных общих тем – прославление военных и охотничьих подвигов.

Анка Дан (Национальный центр научных исследований Франции, Париж) выступила с докладом «В стране аримаспов и грифонов, хранителей золота», в котором подробно рассказала о мифологических и палеонтологических гипотезах происхождения образа грифона, попутно проведя сравнение греческой мифологии и сибирского шаманизма.

Секция «Сибирь и духовные практики» открылась докладом Майи Чочкиной (Горно-Алтайский государственный университет) «Традиции и современное состояние алтайского шаманизма», в котором она отметила, что у коренного населения, проживающего в районах Республики Алтай, в связи с длительной трансформацией шаманских представлений под влиянием христианства современные религиозные представления размыты и не составляют единства ни в ритуальных практиках, ни в атрибутике.

Дани Савелли (Университет Тулузы, журнал «*Slavica Occitania*», Тулуза) в докладе «Шамбала и Беловодье в интерпретации Н. Рериха. Судьба одной гипотезы» сообщила о древнейшем представлении об Алтае как «земле обетованной», о восприятии Агни-Йоги советской интеллигенцией начиная с хрущевских времен и о вкладе рериховского образа Алтая в современную мифологизацию этого региона, имеющего большое значение для развития туристических маршрутов.

В докладе Клемана Жакму (Практическая школа высших исследований, Париж) «Иисус Христос, эпический герой Алтая? Евангелическое христианство и фольклор южной Сибири» была поставлена проблема специфики обращения автохтонных жителей Алтая в протестантство евангелического толка в позднесоветский и современный период. По мысли К. Жакму, элементы местных традиций при этом были реактуализированы, наполнились новым содержанием, отвечающим мирозерцанию неофитов. Практики культурной реинтерпретации свидетельствуют о стремлении к инновациям и активному мифотворчеству, стимулом которого становятся различные формы межкультурного взаимодействия неофитов.

Ольга Христофорова (РГГУ, Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, Москва) в докладе «Почему исчезли шаманы у нганасан? Герменевтические возможности мифо-ритуальных систем народов Сибири и вызовы времени» проследила внутренние

и внешние причины исчезновения шаманской традиции нганасан после смерти двух последних шаманов Демнине (1913–1980) и Тубяку (1921–1989). По мысли О. Христофоровой, главным фактором является изменение типа хозяйствования и, соответственно, образа жизни нганасан в 1960–1970-х гг., когда советское правительство массово переселяло полукочевых охотников в деревни.

Методологическую тему исследований сибирского шаманизма продолжила Изабель Калиновски (Национальный центр научных исследований Франции, Париж), выступив с докладом «Шаманизм как объект социологических исследований во Франции». Она отметила, что это одно из самых перспективных исследовательских направлений в социологии и антропологии. В докладе Джинг Ван (Национальный центр научных исследований Франции, Париж) «Ритуальные практики и духовное наследие» была поднята проблема сохранения духовного наследия Сибири в контексте работы институтов ЮНЕСКО: как концепция «участия общины» локализуется в местной практике и какая связь между антропологическими исследованиями и кандидатом в объекты ЮНЕСКО.

Секцию «Сибирские языки и этносы» открыл доклад Сурны Сарбашевой (Горно-Алтайский государственный университет) «Тюркские языки и этносы Северного Алтая», в котором был сделан обзор результатов современных исследований тубаларов, челканцев и кумандинцев. Отдельно С. Сарбашева остановилась на проблеме самоедского языкового и культурного слоя тюркских этнических групп, проживающих в северной части Горного Алтая.

Антрополог Кароль Ферре (Высшая школа гуманитарных исследований, Лаборатория социальной антропологии, Париж) в докладе «Лексемы лошади в алтайских языках (по материалам словаря Пеккарского)» презентовала сравнительный анализ лексем алтайских языков, имеющих отношение к наименованию лошади (масть, пол, возраст и т.д.), обозначая важность концепта лошади в языковом сознании алтайских этносов.

В докладе «Как изменяется семантика монгольских и бурятских ритуалов: рефлексия носителей традиции над фольклорным текстом» Юлия Ляхова (Институт высших гуманитарных исследований им. Е.А. Мелетинского, Москва) сообщила об асемантических ритуалах и ритуалах с нестабильной семантикой, рассуждая о том, почему семантика ритуалов не всегда стабильна и почему происходят некоторые сдвиги и преобразования смысла. Главная причина в том,

что семантика и интерпретации ритуальных практик монголов и бурят зависят от мифологического контекста и аналогичных ритуалов, существующих в традиции: когда интерпретации становятся менее стабильными в контексте повседневной жизни, они могут быть полностью потеряны.

Семен Макаров (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, Москва) представил доклад «For External Use Only: к прагматике якутского эпоса на современном этапе». На материале устных текстов «Олонхо» и его рецепции современными якутами он проследил изменение функций жанра якутского эпоса в этнической общине и обнаружил, что в современной якутской традиции эпос воспринимается как элемент этнической идентичности для стороннего наблюдателя, включаясь в круг культурных текстов, которые являются его символическими представителями.

Дмитрий Доронин (Российский государственный гуманитарный университет, Москва) представил доклад «Огонь, потоп и война с Востока: культурный трансфер в современных эсхатологических ожиданиях на Алтае», ставший результатом его полевых исследований в Горном Алтае. По его убеждению, вопреки ряду современных исследований алтайской эсхатологии эсхатологическая традиция на Алтае переживает своеобразный ренессанс, что находит отражение в различных устных и письменных жанрах (стихотворные силлабические тексты-пророчества, прозаические эсхатологические рассказы, тексты визионеров, короткие рассказы-предсказания к случаю и ритуализованные вечерние «беседы у огня»).

Секция «Литературное освоение Сибири и сибирский миф в русской и европейской культуре» была открыта докладом Екатерины Дмитриевой (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва) «Миф о Сибирском Эльдорадо, опоньское царство староверов-бегунов и духовный подвиг Гоголя». Исследуя главы второго тома «Мертвых душ» Н.В. Гоголя, его интерес к Сибири и радикальной старообрядческой секте бегунов, исследовательница формулирует тезис об образе Сибири в сознании писателя как важном топосе спасения.

Павел Алексеев (Горно-Алтайский государственный университет) представил доклад «Алтай и Китай в имперской географии Ф.М. Достоевского», в котором отметил, что имперская география Достоевского сосредоточена на крупных, символических пространствах, в которые Алтай входит составной, но не самостоятельной

частью – пространством, обращенным вовне (в Китай). Однако даже будучи кросс-пространством, Алтай включен в важнейшие нравственные, социальные и философские построения Достоевского.

Александр Дубровский (Институт русской литературы РАН, Санкт-Петербург) представил доклад «Дик и чуден Алтай (по материалам архива Г.А. Вяткина в ИРЛИ РАН)» о специфике образа Алтая в неопубликованных материалах из архива Г.А. Вяткина, оригинального, незаслуженно забытого сибирского поэта, литературного критика и журналиста. В докладе Марины Ариас-Вихиль Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва) «Письмо Ромена Роллана Первому съезду сибирских писателей» был представлен идеологический, литературный и общественно-политический контекст письма Роллана, написанного по просьбе А.М. Горького и адресованного В.Я. Зазубрину.

Два следующих доклада были посвящены имагологическому исследованию травелогов английских путешественников на Алтае в XIX в. – Томаса Аткинсона и его жены Люси. Валерий Мароши (Новосибирский государственный педагогический университет) в докладе «Романтическая готика Алтая в травелогах Т. Аткинсона» представлен тезис о том, что автор при описании пространства и народов Алтая основывался на эстетике и нарративных стратегиях английского готического романа, в котором фигурируют грабители, дикари (калмыки Алтая), пустыня, мрачные руины, страшные бури. В докладе Татьяны Шастиной и Марии Останиной (Горно-Алтайский государственный университет) «Английская леди в «wildspace» Сибири (по книге Mrs.L. Atkinson «Recollections of Tartarsteppes and their inhabitants»)» утверждается, что Люси Аткинсон актуализировала восточные особенности травелога, связав понятия terra incognita с образом варварской Сибири («Тартарией»).

В перерывах между заседаниями участники colloquium посмотрели и обсудили малодоступные этнографические фильмы: «Времена сновидений» (1998, режиссер А. Слапиныш) – своеобразная киноэнциклопедия шаманских обрядов Сибири, и «Шаман» (1997, режиссер Л. Мери) – уникальные записи нганасанского шамана Демнине Нгамтусуо. Научные статьи участников конференции будут опубликованы на русском и французском языках – в изданиях ИМЛИ РАН в Москве и Labex Transfers в Париже.

RUSSIAN-FRENCH COLLOQUIUM “LA SIBÉRIE COMME CHAMP DE TRANSFERTS CULTURELS: LITTÉRATURE, ANTHROPOLOGIE, HISTORIOGRAPHIE, ETHNOLOGIE” [SIBERIA AS A FIELD OF INTERCULTURAL INTERACTIONS: LITERATURE, ANTHROPOLOGY, HISTORIOGRAPHY, ETHNOLOGY]

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 221–228. DOI: 10.17223/24099554/8/12

Pavel V. Alekseev, Gorno-Altai State University (Gorno-Altai, Russian Federation). E-mail: conceptia@mail.ru

Keywords: Russian-French colloquium, intercultural interactions, Siberia, literature, anthropology, historiography, ethnology.

The article gives an overview of the problems and content of reports of the Russian-French colloquium “La Sibérie comme champ de transferts culturels: Littérature, anthropologie, historiographie, ethnologie” [Siberia as a field of intercultural interactions: literature, anthropology, historiography, ethnology] held in Gorno-Altai at the Teletskoye Lake on June 12–17, 2017. The colloquium aimed to analyse the phenomena of reinterpretation and resemantisation of objects of Siberian, particularly the Altai culture that turned from one cultural and national context to another. The colloquium had four sections: (1) Siberia as a Research Construct: Anthropology and Historiography, (2) Siberia and Spiritual Practices, (3) Siberian Languages and Ethnoses, (3) Literary Development of Siberia and the Siberian Myth in Russian and European Culture”.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Алексеев Павел Викторович – д-р филол. наук, доцент кафедры русского языка и литературы Горно-Алтайского государственного университета.

E-mail: conceptia@mail.ru

Васильева Татьяна Александровна – канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры латинского языка и медицинской терминологии Сибирского государственного медицинского университета (Томск).

E-mail: tatiana_w_1988@mail.ru

Гузаиров Тимур – PhD, научный сотрудник кафедры русской литературы отделения славянской филологии Тартуского университета (Эстония).

E-mail: tguzaиров@gmail.com

Ди Филиппо Марина – PhD, доцент кафедры литературы, языка и компаративистики Неаполитанского университета Л'Ориентале (Италия).

E-mail: mdifilippo@unior.it

Жилякова Эмма Михайловна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: emmaluk@yandex.ru

Киселев Виталий Сергеевич – д-р филол. наук, доцент, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: kv-uliss@mail.ru

Клюшенкова Татьяна Андреевна – магистрант Института филологии Петрозаводского государственного университета.

E-mail: tatyanaklush@gmail.com

Козлов Алексей Евгеньевич – канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета.

E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru.

Поплавская Ирина Анатольевна – д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: poplavskaj@rambler.ru

Сарбаш Людмила Николаевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и литературы Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

E-mail: sarbash.lu@yandex.ru

Франк Сузанне – PhD, профессор, директор отдела восточнославянских литератур и культур Института славистики Берлинского университета им. Гумбольдта (Германия).

E-mail: susanne.frank@staff.hu-berlin.de

Чхаидзе Елена Константиновна – ведущий научный сотрудник кафедры славянских литератур Института русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета (Бохум, Германия).

E-mail: elena.chkhaidze@ruhr-uni-bochum.de

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИМАГОЛОГИЯ И КОМПАРАТИВИСТИКА»

Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе Word. Статьи должны быть представлены в электронном и в распечатанном виде (формат А4). Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в авторскую электронную папку.

Все рисунки выполняются только в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации не допускаются.

В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), приводятся (каждый раз с новой строки):

- инициалы и фамилия автора;
- название статьи (строчными буквами, например: Идеологический контекст «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году»);
- её краткая аннотация (500 знаков), которая выделяется курсивом и отделяется от текста статьи пропуском строки;
- ключевые слова (3–5).

Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 14 кеглей, межстрочный интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный отступ – 0,5 см.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие шрифты должны быть представлены в редакцию в авторской электронной папке.

Нумерация страниц сплошная, с 1-й страницы, внизу по центру. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, на-

пример: [1. Т. 2. С. 25]. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо приводить только один источник. Обязательно указание количества страниц в используемых источниках.

Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в примечаниях присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в списке литературы должен быть соотнесён с нумерацией источников в основном тексте статьи, после которых (перед которыми) вставлено примечание со ссылкой на источник. Примеры оформления можно посмотреть на сайте журнала (<http://journals.tsu.ru/imago/>) в разделе «Архив».

Двумя отдельными файлами (а также в виде распечаток) обязательно предоставляются

Англоязычный блок:

- английский вариант инициалов и фамилии автора;
- перевод названия своей организации;
- перевод названия статьи (например: Ideological context of "Collection of Poems Relating to the Unforgettable 1812");
- автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных знаков, включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;
- перевод ключевых слов на английский язык.

Сведения об авторе по форме:

- фамилия, имя, отчество (полностью);
- учёная степень, учёное звание;
- должность и место работы / учёбы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет / институт, вуз / НИИ и т.д.) без сокращений, например: **КИСЕЛЕВ Виталий Сергеевич** – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

– E-mail: kv-uliss@mail.ru

Кроме того, отдельно в том же файле указываются:

– Ф.И.О., должность и место работы научного руководителя (для студентов, аспирантов и соискателей);

– специальность (название и номер по классификации ВАК);

– телефоны (рабочий, сотовый).

Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора (и научного руководителя – в случае, если автор не имеет учёной степени).

Всего оформляются и подаются три электронных и бумажных документа:

– текст статьи с аннотацией на русском языке;

– английский вариант имени и фамилии автора, названия своей организации; перевод названия статьи и ключевых слов; автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных знаков; включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;

– сведения об авторе.

Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора в латинской графике (например, Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, Ivanov3.doc) и вложены в папку, названную аналогично (например, Ivanov). При передаче электронной папки обязательно использование архиваторов WinZip или WinRar (например, Ivanov.zip или Ivanov.rar).

Авторы должны представить в редакцию заполненный бланк, в котором указывается согласие автора на публикацию статьи и размещение её в Интернете. Письмо должно быть подписано автором и заверено в организации, в которой работает или обучается автор. В случае соавторства каждый из авторов подписывает и заверяет отдельное письмо.

Статьи принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет (ТГУ),

филологический факультет, редакция журнала «Имагология и компаративистика», Хомуку Николаю Владимировичу¹.

Электронные версии материалов обязательно размещаются в «личном кабинете» автора на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/imago/>

После регистрации и прикрепления статьи авторы имеют возможность отслеживать изменение её состояния (получение бумажного варианта, результат рецензирования и т.д.).

¹ По желанию автора бумажные варианты могут быть заменены сканированными PDF-файлами и представлены в редакцию в отдельной заархивированной папке посредством прикрепления на сайте параллельно с электронными вариантами материалов.

Научно-практический журнал

ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

2017. № 8

Редактор Т.В. Зелева
Компьютерная верстка Т.В. Дьяковой

Подписано в печать 25 2017.

Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Печ. л. 14,75; усл. печ. л. 13,7; уч.-изд. л. 13,5. Тираж 500 экз. Заказ № 2912

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4

Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru